А. ШТЕЙНБЕРГ

ДРУЗЬЯ

МОИХ РАННИХ ЛЕТ

(1911-1928)

«СИНТАКСИС»
ПАРИЖ
1991

А.ШТЕЙНБЕРГ

ДРУЗЬЯ МОИХ РАННИХ ЛЕТ

(1911-1928)

Подготовка текста,
послесловие,
и примечания
Ж.Нива

«СИНТАКСИС»
Париж
1991

**Этой книги не было бы
без труда и постоянной заботы
Анны Григорьевны Клаузнер,
ближайшей сотрудницы А.З.Штейнберга
в Лондоне.**

«Syntaxis»
8, rue Boris Vildé
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

I. В.Я.БРЮСОВ

В 1910 году я был уже третий год студентом философского факультета Гейдельбергского университета в Германии. В это же время я начал увлекаться русской поэзией, и меня стал одолевать порыв самому писать стихи. Увлечение поэзией мешало занятиям в университете. Иногда бьешься-бьешься над каким-нибудь философским вопросом, кажется, никогда не постигнешь того, что хотел сказать Кант своей трансцендентальной дедукцией категорий, а тут промелькнет вдруг облачко на закатном небе – напишешь строчку-другую, и кажется тебе, что никаких проблем и не существовало, что они расплывутся, вот так же, как это облачко над долиной Неккара, впадающего в Рейн. Одно мешало другому. И я решил: если какой-нибудь уважаемый и признанный мастер русского стихосложения скажет мне откровенно, что в моих стихотворных упражнениях есть какой-то смысл, я начну заниматься поэзией, а если он посоветует мне заниматься чем угодно, но не стихами, я и тут послушаюсь его.

В это время я не меньше двух раз в год ездил в Москву из Гейдельберга. Из московских поэтов я особенно любил и признавал тогда Валерия Яковлевича Брюсова. Многие его стихи я знал наизусть:

Быть может все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов,

И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.

или:

Непоколебимой истине
Не верю я давно,
Все гавани, все пристани
Люблю, люблю равно.

И я подумал, а почему бы мне не попробовать попросить совета и мнения Валерия Яковлевича Брюсова о моих собственных стихах:

Небо звездною страницею
Вновь открылось предо мной,
Взвились думы вереницею
Над задумчивой душой.

О, как прост узор созвездия,
Незатейлив как и строг!
Нет! На небе нет возмездия,
С неба нет к земле дорог.

Когда ранней осенью 1910-го года я очутился в Москве, я стал справляться, где можно найти адрес Брюсова. Я знал, что он является директором Литературно-художественного кружка на Большой Дмитровке. И вот я отправился туда в одно прекрасное утро, никому не рассказав о своем намерении. У очень добродушного швейцара я справился об адресе Валерия Яковлевича Брюсова: "Ну, как же не знать, – сказал он мне, – в доме профессора Цветаева, на Рождественской". Я поблагодарил его и в тот же день написал Валерию Яковлевичу письмо, в котором изложил свои затруднения и надежду, что он поможет мне найти решение моего внутреннего конфликта. И тут же прибавил, чтобы сделать это не слишком трудным для него: "Если бы вы решили отказать мне в нескольких минутах, нужных для того, чтобы выслушать мои стихи, я бы заключил о Вашем отказе по отсутствию ответа". Я подписался не только своей фамилией, но и своим библейским именем, которое в России давали только евреям и донским казакам, – "Аарон".

Не прошло и нескодьких дней, как я получил от Валерия Яковлевича ответ: "Если Вам удобно, приходите в Ваганьковский переулок в редакцию "Русской мысли" в ближайший вторник, между 2-мя и 4-мя". Я, конечно, явился с тетрадкой, в которую выписал 20, как мне казалось, лучших своих стихотворений. Я не ожидал, что Валерий Яковлевич примет меня в редакции "Русской мысли", и даже не знал, что в это время он состоял одним из двух редакторов этого очень уважаемого ежемесячника, одного из самых лучших наших тогдашних толстых журналов, наряду с Петром Бернгардовичем Струве. Но Струве жил в Петербурге, а Брюсов в Москве. В Ваганьковском переулке помещалось московское отделение редакции "Русская мысль". В приемной небольшой квартиры, в которой помещалась редакция, ждать мне пришлось недолго. Меня позвали к редактору Брюсову. Валерий Яковлевич пригласил меня сесть в кресло, стоявшее сбоку у стола. К моему удивлению, он оказался на вид гораздо моложе, чем я себе представлял его. Теперь я знаю, что в то время ему было не больше 35 лет, но из-за бородки он показался мне человеком очень солидного возраста. Бросалась в глаза его прическа "ежиком", не гармонировавшая как-то с бородкой. Но все это отошло в глубокую тень, когда я посмотрел ему в глаза. Он как бы старался поймать взгляд собеседника. Мысль, что я сижу лицом к лицу с этим великим мэтром, отозвалась в моем сознании четверостишием Брюсова:

Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром?
Слышу ваш топот чугунный
По еще не открытым Памирам.

Оно продолжало звенеть, покуда Брюсов не обратился ко мне с полуласковой, полусерьезной улыбкой: "Я прочел Ваше письмо, это очень интересно. Надеюсь, что стихи ваши будут не менее интересными. Почитайте мне что-нибудь". Я прочел то, что казалось мне особенно убедительным, правильным, по крайней мере, по форме. А он меня прервал: "Скажите, пожалуйста, вы давно занимаетесь философией?", и когда я ответил, Валерий Яковлевич сказал: "Видно. В ваших стихах это отразилось. И вы все время учитесь заграницей?" – "Нет, – ответил я, – начал я еще дома, в России, и немало философских книг перечитал тут, в Румянцев-

ском музее". – "Можно сказать, – пошутил Брюсов немножко для меня непонятно, – что вы московский философ". – "О нет, я совсем не философ, я учусь философии". – "Это и значит, что вы философ". Этим он меня очень ободрил. Я тоже улыбнулся ему в ответ и сказал: "Видите ли, Валерий Яковлевич, может быть, в области философии я и гожусь на что-то, хотя бы понимаю то, что мудрецы говорили, но никакой уверенности, никакого спокойствия духа у меня нет, когда я начинаю писать стихи". Он протянул руку, взял у меня тетрадку, развернул, посмотрел и сказал: "Да, видите, вот это – хорошая строчка: "Небо хочет равнодушия". А мне казалось, что в этом ничего выразительного нет. "Вы знаете, – продолжал он, – вы человек молодой, вам это может пригодиться, в ваши годы, ведь вам всего 19 лет, вы не можете быть настоящим поэтом. Настоящим поэтом может быть только тот, кто есть уже сложившаяся личность. Если бы, например, Бальмонт, да что Бальмонт, даже и Гете, умерли бы в вашем возрасте, мы не знали бы, что мы потеряли. Чтобы быть большим, настоящим, своеобразным поэтом, надо быть большой, настоящей, своеобразной личностью. А для этого нужны годы. Ну, покуда я оставляю вопрос открытым. Если бы вы могли зайти недели через две снова и оставили бы мне вашу тетрадь, я постараюсь за это время вчитаться в то, что вы написали, тогда я смогу с вами разговаривать по-настоящему". Не дожидаясь моего ответа, он взял тетрадь, выдвинул нижний ящик и положил ее туда. Мне ничего не оставалось делать, как согласиться снова прийти в редакцию через две недели. Я поднялся. "Подождите, я хотел бы вам еще кое-что сказать. В наше время культурный человек вообще не может писать совершенно бездарно. Мы все слишком хорошо знаем, что требуется как минимум для правильного стихосложения, и поэтому не думаю, что найду что-то решительно противоречащее хорошему вкусу. Но ведь этого еще совсем не достаточно. Впрочем, мы еще успеем с вами поговорить". Не успел еще я поблагодарить его и уйти, как он добавил: "Может быть, вы еще что-нибудь почитаете мне?" Не знаю почему, но я прочел юмористическую басню под названием "Портной и поэт". Суть ее была в том, что поэт не желает платить портному за его работу, а хочет внушить ему, что по сравнению с поэтом портной есть только элемент служивый, что он, портной, должен быть горд уже тем, что служит поэту. Портной отвечает, что поэты не лучше портных, так как они тоже шьют, кроят и сшивают, и размер подгоняют. "Я не думаю, чтобы юмор был

вашей сильной стороной, – сказал Брюсов, – вы слишком серьезны для этого. Но ничего, это тоже интересно". Он снова отложил тетрадку и прибавил: "Так, значит, мы еще поговорим". Так закончилось мое первое свидание с Валерием Яковлевичем Брюсовым.

Но когда через две недели я снова оказался в Ваганьковском переулке, Валерий Яковлевич немедленно принял меня и, держа мою визитную карточку между пальцами, сказал: "Садитесь, пожалуйста, у меня для вас есть новости". Он был по-прежнему вежлив. Янтарные глаза его ласково и прямо смотрели на меня: "Видите ли, как я уже говорил вам, я не совсем уверен, что вы можете пригодиться нам в отделе стихотворений". На это я сразу же предложил: "А может быть, в литературной критике?" – "Ах нет, литературная критика у нас уже заполнена. О стихах пишу я сам, а о прозе – Зинаида Николаевна Гиппиус под псевдонимом Антон Крайний". Я считал нескромным высказать Брюсову свою давнишнюю идею написать статью "Брюсов и Бальмонт". Они казались мне прямо противоположными один другому. В то время как Брюсов чеканил свои стихи как бы из меди, Бальмонт давал волю свободному потоку речи:

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
И синий кругозор.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
И выси гор.

или:

Я – изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты – предтечи,
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны.

Мне казалось, что это были два полюса поэзии и что было бы интересно это выяснить и подтвердить. Но распространяться на эту тему я не стал, неловко было сказать Брюсову, что я хочу писать критическую статью о нем самом, и поэтому я сказал только, что мои занятия философией и особенно эстетикой могли бы помочь мне в литературной работе; я хотел бы писать нечто вроде того, что пишет Лев Шестов. Брюсов очень добродушно улыб-

нулся во все лицо, сел в свое кресло, пригласив и меня сесть, и сказал: "Писать, как Шестов, может только Шестов". Я понял, конечно, что это было наивно с моей стороны. Я имел в виду осмыслить и углубить критику, основываясь на знаниях философии. "Вы на правильном пути, – заметил Брюсов, – уже после нашей первой встречи мне показалось, что самой сильной вашей стороной является интерес к философии, который даже сказывается на ваших стихах. Я уже написал Петру Бернгардовичу в Питер, что Вы могли бы пригодиться для нашего нового отдела "Философское движение". И вот как раз сегодня получил ответ. Он очень рад, что я встретил подходящего сотрудника. Так как же вы думаете, смогли бы вы давать нам что-нибудь для этого отдела нашего журнала?" Я ответил, что никогда не думал о сотрудничестве в "Русской мысли", но я мог бы дать обзор новейших течений в немецкой эстетике, которой я много занимался последнее время и даже читал доклад на эту тему. "А о каких авторах вы хотите написать?" Брюсов протянул мне листок бумаги, на котором я написал два-три имени немецких авторов, интересовавших меня. "Очень хорошо! Я думаю это подойдет, а потом видно будет. Что же касается гонорара, то ничего по этому поводу сказать не могу. У нас имеются две ставки – 75 рублей и 100 рублей. И от Петра Бернгардовича зависит, какую кому дать, думаю, что за философские статьи он согласится дать высшую". Меня это совсем не интересовало, мне казалось, что я попал на чужую свадьбу. Я и не думал о сотрудничестве в журнале или об использовании моих философских знаний в литературе. Я ждал его отзыва о моих стихах. И когда я спросил его об этом, он ответил: "Да, простите, ведь я хотел вам более подробно сказать о ваших стихах, но представьте себе, они так и лежат у меня в ящике, и я до сих пор не собрался их прочитать. Могли бы вы через недельку еще раз зайти ко мне?" Я согласился. Выйдя из редакции, я подумал, как трудно молодому писателю начинать карьеру, включиться в литературную среду. Я так много читал об этом. А тут, достаточно было написать письмо, и вдруг ты – литератор! Хотя я еще ничего не написал и в редакцию не посылал, мне казалось, что я легко с этим справлюсь. Мне пришла в голову мысль, что Россия – это совершенно особая страна. Вот приходит мальчишка, без всяких претензий, а такой великий, известный поэт, как Брюсов, с распростертыми объятиями принимает его! Я вспомнил свою неудачную попытку познакомить немецкого читателя с Шестовым. Вез-

де я натыкался на непреодолимые преграды. Одно из издательств, правда, ответило мне, что они окончательно решили сосредоточиться на учении Бергсона, и поэтому такой мыслитель, как Шестов, их не интересует. А "Русская мысль" включила в состав своих сотрудников молодого студента из Гейдельберга. С такими мыслями, не принимая окончательного решения, я отправился в Сокольники – как всегда, когда мне хотелось поразмыслить на свободе.

Через неделю, как было условлено, я снова пришел в редакцию. Молодая девушка, работавшая, видимо, бухгалтером, попросила от имени Брюсова извинить его, так как он может опоздать минут на 10-15, и подождать. Усевшись в ожидании его, я снова стал перебирать в сознании все, что произошло со мной за последние две недели. В особенности меня занимал вопрос, почему Валерий Яковлевич так заинтересовался моей философской работой? Вспоминая его нескладную фигуру, несколько выше среднего роста, его сутуловатость и какие-то некоординированные движения головы и рук, мне невольно пришли на ум его стихи:

У каждого свой тайный демон.
Влечет неумолимо он
Наполеона через Неман
И Цезаря чрез Рубикон.

Куда ж теперь, от скал Цусимы,
От ужаса декабрьских дней,
Ты нас влечешь, неодолимый?
Не видно вех*, и нет путей.

Тут появился Валерий Яковлевич. Вежливо и ласково, но с некоторым раздражением, не против меня, а кого-то другого, он сказал: "Пожалуйста, пожалуйста. Не дают покоя". А когда мы вошли в кабинет, и я сел на свое обычное место, он добавил: "А у меня для вас опять хорошие новости. Я уже получил ответ от Петра Бернгардовича, и как я и думал, ваша ставка – сто рублей". Мне не понятен был его интерес к материальной стороне дела и почему он придает этому такое значение. Поэтому я сказал: "По-моему, это совсем неважно". – "Нет, не говорите, когда будете постарше, то поймете, что это тоже важно". И он развернул све-

---

* Название сборника "Вехи" может быть внушено именно этим стихотворением Брюсова. (Примечание автора).

жий носовой платок. Вдруг я увидел его янтарный глаз, смотревший на меня через большую дырку в платке. Он улыбнулся: "Вот видите, это не так уж не важно, какие у вас платки, целые или рваные. Когда будете старше – поймете, – повторил Брюсов, – а теперь – очередь за вами. Петр Бернгардович ожидает пользы от вашего сотрудничества в нашем журнале. Когда вы снова едете за границу? Так вот, не откладывайте в долгий ящик, напишите ваш обзор немецкой эстетики и пошлите рукопись прямо в Петербург Струве. И в дальнейшем предлагайте ему интересные темы, если что-либо подвернется. А покуда я предложил бы вам две вещи, которые могут оказаться вам полезными: во-первых, вот вам билет на посещение Литературно-художественного кружка, а во-вторых, билет на заседание Религиозно-философского общества, у них на следующей неделе состоится торжественное заседание в память десятилетия со дня смерти Владимира Соловьева". Я взял билеты, поблагодарил, раскланялся и ушел.

Увидел я Брюсова снова, издалека, на заседании Религиозно-философского общества. Там же впервые я увидел Николая Александровича Бердяева, который сидел на эстраде, и я впервые заметил, к своему глубокому сожалению, каким тяжелым недугом он страдал – у него была пляска святого Вита. Почувствовал я и пределы искренности Федора Августовича Степуна, говорившего с трибуны о том, как Владимир Соловьев уже в наше время был распят во имя Христа. Степун, как актер на сцене, представлял распятие Христа. Одним словом, я узнал здесь не столько о Соловьеве, сколько о наших поклонниках Соловьева. Бердяев, конечно, был несомненно искренним и верным поклонником его, но были и другие, которые больше притворялись, чем следовали учению Владимира Соловьева. Когда в Петербурге, десять лет спустя, состоялось собрание в память двадцатилетия со дня смерти Владимира Соловьева, на котором выступали Блок и Эрнест Львович Радлов, друг Соловьева, я тоже имел случай тогда сказать несколько слов о нем. Десять лет спустя я смог уже гораздо лучше оценить тот факт, что Брюсов не сидел на эстраде тогда, десять лет тому назад в Москве, на заседании Религиозно-философского общества. Валерий Яковлевич не желал разыгрывать из себя соловьевца.

В результате моих бесед и встреч с Брюсовым я, с одной стороны, принял обязательство писать философские статьи, с другой, заглянул в Литературно-художественный кружок, которым

руководил Брюсов и который представлял собой учреждение гораздо более значительное, чем подсказывало его скромное название. Благодаря моему новому знакомству, я вошел в широкий круг русских интеллигентных семей, остававшихся как бы вне политики, но в то же время выражавших что-то новое, своеобразное в общественной жизни Москвы, отличаясь, однако, от питерской интеллигенции, с которой я тоже вскоре познакомился. Среди людей, с которыми я сошелся в Литературно-художественном кружке, должен особо упомянуть семью профессора Тарасевича. Профессор Лев Александрович Тарасевич был не только выдающимся эпидемиологом, учеником Мечникова в Пастеровском институте, но и мужем известной Анны Васильевны, урожденной Стенбок-Фермор, которая вместе со своей приятельницей Марией Алексеевной Олениной распространяла музыкальную культуру в России. Они основали, при активном участии мужа Олениной, бельгийского барона Д'Альгейма, кружок, названный ими "Мэзон дю Лид". Они старались познакомить глубже московский мир с настоящей культурой песни Шуберта, Шумана, Вольфа и др. Интересовались они и философией, и было естественно, что такие люди, как Борис Николаевич Бугаев, бывали своими в особняке Тарасевичей на Пречистенке. Судьба некоторых из них оказалась трагической. Например, судьба самого профессора Тарасевича, но об этом разговор особый. Сейчас я бы хотел только отметить, что, в связи с знакомством с Брюсовым, я оказался в международно-философской среде. Статью о немецкой эстетике я написал, Струве ее принял. В своем письме Струве Брюсов, между прочим, писал, что он очень рад, что "хоть одного человека направил на правый путь". Я это письмо прочел только через сорок лет в Лондоне и не мог не улыбнуться плохому его стилю: "направил на правый". Издание, в котором это письмо появилось, называется, между прочим, "Архив литературного наследства". Там в указателе имен имеется и моя фамилия. Письмо, о котором я упомянул, было третьим по счету, в котором Брюсов пишет обо мне. Значит, в литературном отделе Пушкинского дома в Петербурге должно быть еще два письма, в которых он делится своими первыми впечатлениями обо мне со Струве.

Ближайшей весной я снова приехал в Москву. Статья моя о немецкой эсетике была уже напечатана в "Русской мысли", и было вполне естественно, что у меня явилась охота поехать на международный философский конгресс в Болонье. Однако, мне не хо-

телось возлагать на родных расходы по поездке и пребывание там; я считал, что должен сам зарабатывать на жизнь. Так почему же мне не поехать на средства "Русской мысли" и еще какой-нибудь другой газеты? В Москве тогда было несколько хороших газет, и прежде всего "Русские ведомости", орган академических интеллигентских кругов. Была и совсем новая газета, издававшаяся Рябушинскими, меценатами передового искусства и живописи, – явление новое в русской жизни. Благодаря этой газете, новая поэзия, французские новаторы и символисты получили возможность появляться в печати. Газета Рябушинских называлась "Утро России". Между прочим, Брюсов тоже способствовал распространению французской культуры через журнал "Весы", редактором которого он был. Когда я стал, выражаясь деловым стилем, проводить в жизнь свой план поездки в Италию на философский конгресс, для меня было естественным обратиться в "Русские ведомости". Там меня хорошо приняли, но оказалось, что у них уже есть свой человек, который будет писать им о конгрессе непосредственно из Италии. Тогда мой ближайший выбор пал на "Утро России", газету Рябушинских. Я им сказал, что, вероятно, поеду на конгресс как представитель от "Русской мысли"; они сразу же согласились, чтобы я писал и для них. Однако, у меня возникло сомнение, имею ли я право говорить, что сотрудничаю в "Русской мысли" без ведома ее редактора? И я снова повидался с Брюсовым. Трудно даже сказать, с каким удовольствием он принял мою инициативу. "Теперь вы делаетесь настоящим сотрудником нашего отдела философского движения. Вы сами пришли в движение, хотите ехать так далеко – в Италию!" Одним словом, я имел полное право подтвердить в письме в "Утро России", что "Русская мысль" посылает меня на конгресс. И я поехал в Италию.

Должен сказать, что Брюсов действительно значительно и фактически повлиял на воспитание своего молодого сотрудника. Помимо того, что я попал на конгресс и увидел своими глазами многих замечательных философов, о которых знал только понаслышке, и прежде всего Анри Бергсона, я встретился там с рядом русских философов, которых до этого лично не знал. Тогда-то именно я и пришел к выводу, что для понимания философа нужно не только изучать его труды; не меньшее значение имеет посмотреть ему в глаза. Эта мысль высказана в моей статье, но по скромности от имени одного из участников конгресса. Но мысль эта – моя.

Было естественно, что произведения самого Брюсова не переставали занимать меня. Его интересы были многообразны. Не буду касаться его романа "Огненный ангел", его коротких рассказов, как "Южный крест", по-моему, замечательного утопического рассказа, его стихов, переводов и литературных статей, скажу только, что в самой России он содействовал включению национальных культур в состав как бы всеединой российской литературы.

В брюсовской деятельности были элементы, может быть, им самим и не вполне осознанные, которые предвосхитили дальнейшее развитие русской культуры. Невольно, когда я вспоминал его "Грядущие гунны", я не мог не обратить внимания на их пророческий дух. Говоря о "грядущих гуннах", он говорит о тех варварах, нашествие которых предвидел еще Герцен. Одновременно это звучит и как предчувствие событий, последовавших вскоре за этим. Одна из строф начинается так:

Сложите книги кострами,
Пляшите в их радостном свете,
Творите мерзость во храме,
Вы во всем неповинны, как дети!

А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры.

Иными словами, он предвидел духовное подполье, которое должно будет спасти культуру, когда "грядущие гунны" сложат старые "книги кострами".

Перед тем как я распрощался с Брюсовым после третьего своего посещения в конце 1910 года, я напомнил ему о своей тетрадке со стихами. С некоторым раздражением он сказал мне: "Я просматривал их, но мое мнение осталось неизменным. Смотрите, вот ваше стихотворение "Ладья" – это не что иное как перепев лермонтовского "Белеет парус одинокий". Конечно, вы не осознаете этого, у вас настроение это естественное, но вы явно ему подражаете. Михаил Юрьевич сто лет тому назад до вас выразил... Впрочем, со временем вы и сами это увидите". И он вернул мне тетрадку. Она до сих пор у меня. Там, в разных местах, заметки

его рукой, иногда восклицательные знаки и очень часто ”пусто”, как он называл перепевы старых мотивов, свойственные юношам моего возраста.

Разыгралась война. Брюсов, как это ни странно, стал очень подлаживаться к господствующему патриотическому настроению, которое выражалось, между прочим, в совершенно бесстыдном германофобстве. Помню как сейчас его корреспонденции в ”Русские ведомости” с польского театра войны. В одной из них была такая строчка: ”Их достославный Бисмарк – солдату русскому на высморк”. Эта грубость покоробила меня. Мне казалось, что тут что-то есть от органического ухудшения его состояния. Несмотря на его такое благосклонное внимание ко мне, я не менял своего взгляда на его личность, но когда появились сообщения о его явном юдофобстве, я возражал против этого обвинения. Я считал, что это какое-то поветрие, жертвой которого стал и он. Может ли человек, будучи предвзятым против евреев, выхватить одного и оказать ему такое большое дружеское внимание? Как бы там ни было, его корреспонденции в ”Русских ведомостях” не понравились, и он прекратил эту работу.

Между тем, судьба сложилась так, что я вернулся в Москву уже только после окончания войны, в 18-ом году. За это время в России произошли большие перемены. Повсюду был советский режим. Правительство из Петербурга переехало в Москву. Москва была перегружена. Поэтому, когда я вернулся туда, мне сказали, что для прописки необходимо иметь разрешение особой комиссии. И когда я обратился в эту комиссию, заведовавшая паспортным отделом советская служащая объявила мне: ”Положение ясное. Если вы занимаетесь общественно-полезным трудом, вы можете остаться в Москве, а если нет, то паспорта вам выписать не могу”. Я объяснил ей, что только что вернулся из-за границы и пока что ничем не занимаюсь. ”А чем вы собираетесь заниматься?” – ”До отъезда занимался писанием и печатанием философских работ”, – ответил я. – ”Так это общественно-полезный труд или нет?” Я ответил, что по-моему – полезный. – ”Как вы можете это доказать?” – На мое счастье была пятница, и, как сейчас помню, в ”Правде” – центральном органе – была помещена большая статья Луначарского о философии, где он критиковал философов-идеалистов. ”Вот, – говорю, – если товарищ наркомпроса считает нужным отдавать так много места и внимания философии, очевидно, и вопроса нет, что я собираюсь заниматься общественно-по-

лезным трудом". – "А как вы докажете, что будете писать по философии?" – "К сожалению, журналов, в которых я писал, нет, но я думаю, что их бывший редактор Валерий Яковлевич Брюсов засвидетельствует это". – "Товарищ Брюсов!" – воскликнула она. Тут впервые я узнал, что Брюсов стал членом коммунистической партии. Итти к нему, не признавшись, что я не разделяю его взглядов, я не хотел. Надо было как-то обойтись без него. Обошлось без него. Должен сказать, что эта моя непосредственная реакция – симптом враждебного отношения, которое к тому времени возникло среди прежних друзей Брюсова. И все, что о нем писали гораздо позже, после его кончины, в 23-ем или 24-ом годах, было окрашено фактом, что его бывшие приверженцы смотрели на него как на врага. Однако, нельзя не сказать, что в нем самом были элементы, которые отчасти оправдывали такое отрицательное к нему отношение.

В то время, когда Брюсов привлек меня к сотрудничеству в "Русской мысли", он отклонил печатание "Петербурга" Белого в ней, хотя они и были старыми друзьями. Впоследствии, уже после войны, когда я близко сошелся с Белым, я узнал от него, что Брюсов не только отклонил "Петербург", что, по-моему, независимо от его литературного направления, есть грубая ошибка редактора, но и что в этом было какое-то сведение личных счетов. Белый подробно рассказывал о том, какую роль играл Брюсов в его собственной жизни, как он проявлял замашки диктатора в литературе. Диктатура вообще, и как средство проведения политики, хотя бы и в литературе, не казалась Брюсову предосудительной, что давно приводило его к ошибкам. Когда я рассказывал моим новым приятелям, так называемому второму поколению символистов, о том, чем я был обязан Брюсову, они почти не верили мне, до такой степени образ его в их представлении потемнел. Все это заставляет меня считать общение мое с Брюсовым важным элементом в попытке восстановить истинный образ этой очень сложной и богато одаренной личности.

По поводу редакторских взаимоотношений Брюсова и Струве должен сказать, что из тех писем Брюсова к Струве, которые я читал, заключаю, что уже в то время, когда мне довелось лично встретиться с Валерием Яковлевичем, отношения их были странными. Из письма, напечатанного в "Литературном архиве", где Брюсов пишет обо мне, очевидно, что Струве не ясны отношения Брюсова ко мне. Между нами говоря, в то время я был еще на-

столько невинным младенцем, что мне даже в голову не могло прийти, что Струве мог намекать на какую-то эротику. В письме Брюсов говорит: "Вы назначили для февраля статью Штейнберга о немецкой эстетике. Я ее еще не читал, но буду очень рад, если она хороша. Этот Штейнберг принес в редакцию свои стихи, которые оказались весьма плохими. Поговорив с ним, я узнал, что он занимается философией. Тогда я посоветовал ему лучше писать статьи по своей специальности, чем никому не нужные стихи. Если опыт его окажется удачным, я буду гордиться тем, что хоть одного человека направил на правый путь. Пишу это, между прочим, и затем, чтобы вам были известны мои отношения к этому Штейнбергу". Это звучит как бы объяснением какого-то подозрения. Отчего он вдруг стал выдвигать какого-то неизвестного молодого человека, студента? Что бы там ни было, когда Струве получил мою статью, он, очевидно, удовлетворился. Я не знаю, что он писал обо мне Брюсову, да меня это и не трогает. Чем-то я понравился Брюсову! А Струве это истолковал в дурную сторону, что дает мне повод предположить, что между ними не было полного доверия.

Петр Бернгардович Струве был тем, что в рамках общепринятой морали считается самым порядочным человеком. Брюсов же был человеком неизвестной морали. Прославленным он был уже в 90-е годы, особенно после знаменитого стихотворения: "О, закрой свои бледные ноги". Брюсов считал его оригинальным, хотя многие этого не понимали. Например, Владимир Соловьев смеялся. Брюсов для него был примером смехотворности всей этой новой поэзии. Одно из ранних стихотворений Брюсова "Ходит месяц обнаженный при лазоревой луне" – бессмыслица! Не может быть месяца при луне. Но новейшие изыскания показали, что лазоревая луна – абажур на лампе в гостиной Брюсова, а месяц, конечно, на небе. И вот уж вовсе не так бессмысленно. Но ведь тогда и Малларме и чуть ли не Бодлера считали полной бессмыслицей. Соловьев не только высмеивал Брюсова, но и презирал. Это повело к тому, что те, которые продолжали традицию Соловьева в русском символизме, постепенно отреклись от Брюсова. Так, Блок его знать не хотел. С другой стороны, Брюсов не печатал Блока. Невероятно! Брюсов не мог не понимать значения новаторства Белого, однако ж отклонил роман "Петербург".

Не могу сказать, что Струве был более передовым, чем Брюсов, в литературе того времени. Это был человек совершенно дру-

гого калибра. Между прочим, я встретился в 1914-ом году перед войной со Струве в его квартире на Выборгской стороне. До этого я уже переписывался с ним по редакционным делам, начиная с 11-го года, следуя указаниям Брюсова. Он всегда немедленно отвечал и принимал все мои предложения. Только раз он отклонил мое предложение. Было это по той простой причине, что вышел сборник "Philosophie" по-немецки, в котором двадцать авторов определяли свое понимание философии. Я спросил, не желает ли он статью об этом сборнике, но он ответил, что об этом уже пишет Семен Людвигович Франк, философ и его ближайший единомышленник. А так он решительно все, что я посылал, принимал. В 11-ом году в "Русской мысли" должна быть моя рецензия на немецкую книгу по теории познания. Так вот, когда мы встретились, Струве необыкновенно хорошо отнесся ко мне. Конечно, имело значение то, что я хоть и был молод, но немножко, что называется, скороспел. Пришел я к нему с определенным предложением. У нас в России в то время не было официальных государственных факультетов по философии. Но зато были ограничения в праве на жительство для евреев. Я принадлежал к еврейской семье. И отец, и мать мои были евреями. А что же случалось с такими людьми в Москве? Москва была особенно строга в ограничениях. Общее правило было такое: дочери могли жить со своими родителями до замужества, сыновья же только до совершеннолетия, т.е. до двадцати одного года. Я засиделся в университете немножко – слишком многими вещами занимался. Чтобы получить право на жительство, я должен был сдать в русском университете государственные экзамены. По философии я не мог их сдать, так как такого факультета не существовало. Значит, нужно было перейти на какой-то другой факультет, для меня самый легкий – юридический. Поэтому в Гейдельберге я сразу же записался на оба факультета, в предвидении будущих событий. Из этих моих занятий юриспруденцией последовало то, что уже в 1912-ом году я стал печатать статьи на юридические темы ни больше ни меньше как в журнале Министерства юстиции. Это был ежемесячный толстый журнал. Его редактор Федор Федорович Дерюжинский был очень приличным и хорошим человеком. Министерство, во главе с Щегловитовым, тем самым, который был ответственным за дело Бейлиса, было очень реакционным. Оба они, Щегловитов и Дерюжинский, проповедовавший либеральные идеи, сидели в одном и том же помещении.

К моменту, когда я пришел к Струве, статьи мои уже были напечатаны в журнале Министерства юстиции, и Струве знал об этом. Мне надо было обеспечить себя каким-нибудь заработком. В Гейдельберге я уже сдал экзамены на докторат. Тема моя была "О русском конституционном праве", и я предложил Струве напечатать в "Русской мысли" юридическую статью о двухпалатной системе. Он отнесся благожелательно, а я обеспечил, таким образом, доход чуть ли не на год самостоятельной жизни. При встрече, между прочим, он заметил: "Очень рад познакомиться с вами. Должен признаться, что когда я в первый раз получил сообщение о вас из Москвы, я подумал, что вы величина дутая". Это еще раз подтверждает то, что, по его мнению, Брюсов "раздул" меня ни за что, ни про что, по каким-то личным, подозрительным мотивам; и доказывает, что между ними не было доверия.

Действительно, очень скоро Брюсов ушел из "Русской Мысли". Думаю, Струве заставил его уйти. Струве, впрочем, не признавал ни Блока, ни Белого. И вообще Петр Бернгардович и его окружение были недоброжелательны к тем поэтам, которые были вне церкви или отрицательно относились к ней.

II ФИЛОСОФСКОЕ СОДРУЖЕСТВО

Когда я встречался с Блоком в петроградские годы с 1918-го по 1921 год, мое внимание неизменно привлекала зыбкая улыбка на его лице. Я заметил ее уже в первую встречу с ним во второй половине октября 1918-го года, когда я увидел Александра Александровича Блока у окна большого зала дворца великого князя Владимира Александровича, где должно было состояться совещание о проекте устава ТЕО (Театральный отдел Народного Коммисариата Просвещения) под председательством Всеволода Эмильевича Мейерхольда. На это совещание был приглашен, в числе многих других театральных деятелей, артистов, драматургов и критиков, Разумник Васильевич Иванов-Разумник, который взял и меня с собой. Разумник Васильевич считал мой обзор новейших течений в немецкой эстетике, напечатанный еще перед войной в 1911-ом году в февральской книжке "Русской Мысли", достаточным основанием для привлечения меня к работе по теории художественной практики, затеянной хитроумным новатором Мейерхольдом. Еще задолго до заседания Разумник Васильевич предупредил меня, что ожидают также и Блока и что он хотел бы

познакомить меня с ним. С этим знакомством у нас связывались особые планы.

Когда мы вошли с Разумником Васильевичем из полутемного коридора в раскошно обставленный зал с видом на Неву и на Петропавловскую крепость, я, совершенный новичок здесь, на минуту смутился и растерялся. Зал был полон народа, шум разговоров слышался отовсюду, облака табачного дыма стелились поверх голов под высоким потолком, затемняя солнечный свет, проникавший в зал сквозь высокие окна. Мне казалось, что я очутился незваным гостем на каком-то неожиданном бенефисе. Но Разумник Васильевич не дал мне опомниться. Он взял меня за локоть и, указывая на противоположный угол у окна, сказал: "Вот Блок!". Мы обошли длиннейший стол, покрытый зеленым сукном, и группки людей, беседовавших вокруг него, и подошли поближе. Блок сразу же прервал разговор со своими собеседниками, двумя "театралами", одним из которых был композитор и большой знаток Чайковского Борис Владимирович Асафьев (Игорь Глебов), а другим – Владимир Николаевич Соловьев, специалист по истории театра, и с вежливым наклоном головы ступил шаг навстречу нам. Собеседники его отошли. Мы остались втроем.

Я хорошо помнил ранние фотографии поэта: кудрявая голова, пластически очерченный рот, чуть-чуть затуманенный взор и слегка высокомерное выражение на необычном лице. "Избалованный романтик! Да и наряжается как полагается поэтам" – заметил однажды при мне, с пренебрежительной гримасой на лице, один убежденный прозаик, марксист довоенной выправки. Но как непохож был Александр Блок, стоявший передо мною в полоборота к высокому окну, на свои изображения прежнего времени. Высокий, стройный, с аккуратно постриженными волосами, в куртке военного покроя, какие еще донашивали тогда бывшие "земгусары" (гражданские сотрудники "Союза земств и городов"), с робкой улыбкой и слегка прищуренным левым глазом, Александр Александрович Блок ни одной черточкой не обнаруживал своего истинного существа, а если и "рядился" во что-то, то скорее в заурядность, в подчеркнутую готовность быть со всеми и как все. Тем не менее, робко-застенчивая его улыбка останавливала внимание и поражала своей загадочностью: "Отчего бы это так?!". От давнишней юношеской надменности не осталось и следа. Было нечто грустное во всем его облике и, может быть, поэтому нечто очень-очень привлекательное.

Между тем, Разумник Васильевич успел представить меня Блоку, прибавив: "Это и есть товарищ, недавно вернувшийся из германского гражданского плена, о котором я уже говорил вам". Взгляд Блока встретился с моим. Бровь над прищуренным левым глазом его приподнялась будто бы от удивления, глаз раскрылся, но робкая, как бы сдвинутая вправо улыбка оставалась все той же. "Что же, будет у них ре-во-люция?" – с иронической запинкой в глуховато звучавшем голосе спросил Блок. Я отвечал как мог, закончив свой очень сжатый отчет замечанием, что хотя переворот после разгрома Германии союзниками крайне вероятен, это будет совсем не то, что у нас. "А вы уже успели присмотреться к тому, что у нас происходит? – заметил Блок, снова прищуривая уголок левого глаза, – Если они нас там, в Германии, не поддержат, то и у нас может произойти совсем не то, что мы воображаем".

Я сообразил, что тут явное недоразумение. Блок, вероятно, принимал меня в каком-то смысле за "своего", за единомышленника Иванова-Разумника – левого эсера. Тот, поняв ошибочное предположение Блока, поспешил его исправить. Он упомянул мою статью о настроениях германского народа, которую я написал для подготовляемого им сборника и в которой я утверждал, что все симпатии немцев к русской революции – лишь отражение общенародной надежды, что с революционной Россией удастся заключить сепаратный мир за счет берущих верх западных союзников. Для Разумника Васильевича такая оценка являлась отражением близорукого национализма и инстиктивного недоверия к вселенскому характеру русской революции. Он не преминул тут же заметить, что я вернулся из германского плена сугубым "патриотом своего отечества". Задетый за живое, я дал волю своему чувству горечи по поводу грозившей России гибели: "Ее рвут на части, и никто, по-видимому, не понимает, что она одинока и останется одинокой, даже если на Западе будут потрясения. Вот и сегодняшние новости о высадке в Архангельске..."

Улыбка на лице Блока на миг изгладилась, и, смотря на меня слегка удивленным взглядом, он тихо произнес: "Это ничего, что высадились. Посидят, посидят и снова уйдут". С какой непоколебимой уверенностью он это сказал! Я почувствовал неловкость. Вот что значит, подумалось мне, настоящая вера в будущее своей страны! И я отчетливо ощутил стихию, из которой родились пророческие "Скифы". Нет! сказал я себе тут же, в разговорах с Блоком нельзя отдаваться своим повседневным настроениям и тре-

вогам. ”Ну, мы еще побеседуем, – прибавил с успокаивающей ноткой в голосе Александр Александрович, – мы ведь еще должны встретиться, не так ли, Разумник Васильевич?”.

Загадочная улыбка опять не то осветила, не то омрачила лицо Блока. Подлетевший Всеволод Эмильевич Мейерхольд торопился открыть заседание, и на час-другой все мы стали театралами.

Сидя за длиннейшим столом, покрытым зеленым сукном, я оставался все это время под впечатлением немногих слов, сказанных Блоком. ”Что он, в сущности, делает здесь?” – спрашивал я самого себя невольно, как это случалось не раз и в последующие годы. Его спокойная, чуть ли не снисходительная уверенность перед лицом грядущего настолько отличала Блока с первого же взгляда от всех окружающих его, что сами собой напрашивались и сплетались воедино глубинные предания о высоком призвании поэзии и об избранности поэта.

Совещание затягивалось. Со всех сторон сыпались вопросы, замечания и поправки к обсуждавшемуся проекту устава ТЕО. Блок внимательно слушал, то и дело отмечая что-то на листке, лежавшем перед ним. Когда дошли до задач репертуарной секции, которая, как предполагалось, должна была произвести специальный отбор репертуара для нового ”революционного” театра, Блок нерешительно приподнял руку. Председатель, заметивший его полужест, громко провозгласил: ”Да, Александр Александрович, пожалуйста”.

Все смокло. Очевидно, всем было крайне интересно услышать, что скажет Блок. Слегка смущенный и даже, как мне показалось, покрасневший, Александр Александрович с полминуты искал подходящих выражений, а затем в нескольких коротких отрывистых фразах призвал совещание к порядку, вернее напомнил ему о господствующем беспорядке, о бурно разгоравшейся революции: ”Мы заседаем во дворце, – подчеркнул он, – потому что за окном бушует сейчас стихия. Не время теперь для широких, чисто академических начинаний. Для народа важны сейчас драматические произведения не прошлого, а настоящего и будущего. Важно обогатить революционный репертуар произведениями, вынесенными на поверхность с самого дна всенародной стихии. Иначе – неизбежна трата понапрасну”. И он как бы оборвал самого себя.

Наступило неловкое молчание. Большинство собравшихся

не то что забыло о том, что "за окном", а затем и пришло, чтобы хоть на время забыть об ужасах революционных дней, о безжалостном терроре, о голоде и опасностях, подстерегавших всех на каждом шагу, со слабой надеждой найти какой-то безопасный уголок, где было бы возможно продолжать в привычной, интеллигентской обстановке более или менее привычные занятия. И вот трехминутная речь Блока сорвала завесу, обнажила злободневную подоплеку собрания и всех "академических планов" его. Собрание загудело. Закипела злоба. Со всех сторон в Блока впились ядовитые взгляды: "Ишь, тоже нашелся – товарищ! Избалованный неженка, романтик, поэт! А хуже всего, что сам-то, очевидно, верит в то, что говорит! Гнуснее всякого Ленина с Троцким. Уж лучше бы оставаться наедине с Ольгой Давыдовной Каменевой!" (Каменева, сетра Троцкого, официально возглавляла Театральный отдел). Чем глубже было сознательное или бессознательное преклонение перед гением Блока, тем безудержнее было внезапное возмущение против него. Не хватало лишь только, чтобы кто-либо во всеуслышание отчетливо произнес: "Предатель!"

До этого, однако, не дошло. Пользовавшийся признанием правящей партии (хотя тогда еще не член ее), Мейерхольд живо и ловко схватился за руль. Он подчеркнул свое удовлетворение по поводу того, что "такие выдающиеся литераторы", как Блок, принимают так близко к сердцу судьбу революционного театра и выразил уверенность, что будущая репертуарная секция, к которой, конечно же, будет принадлежать Александр Александрович, найдет возможность устновить необходимое равновесие между противоположными точками зрения. "Да и как знать, – воскликнул под конец Всеволод Эмильевич, – может быть, самому Александру Александровичу еще суждено стать родоначальником новой академии".

Блок молчал и улыбался. Злобные волны собрания улеглись. Таинственный намек Мейерхольда на академическое призвание поэта имел, как скоро выяснилось, реальную почву. Мейерхольд пророчествовал, так сказать, в своем отечестве. Именно академия вскоре стала исходной точкой нашего постоянного общения с Блоком.

Когда мы расходились, Разумник Васильевич, уже в коридоре, шепнул мне: "Если вы согласны, встретимся в воскресенье около часа у Константина Александровича Сюнерберга (Эрберга). Мы сверим наши планы и все обговорим. Блок в принципе со-

гласен. Вы обратили внимание, что и Мейерхольд тоже осведомлен, и, очевидно, он тоже – "за". Мы все, одиночки, блуждающие в промежуточной, ничьей полосе между официальной, казенной революцией и казенной же контрреволюцией, искали родных по духу попутчиков, а покуда лишь невнятно перекликались. В воскресенье я пришел в назначенный час к Эрбергу и застал его и Иванова-Разумника, приехавшего уже до меня, в обширном кабинете. Блока не ждали. Разумник Васильевич успел в последние дни подробно ознакомить Блока с задачами нового общества, которое он и Эрберг собирались основать, и заручился его безоговорочным согласием стать одним из членов-учредителей. Оставалось выяснить, кого еще привлечь к участию в учредительном совещании и решить, как осуществить практически намеченный план. Почти сговорились о названии нового общества. Оно должно было стать "Вольной Академией", так чтобы самое его название напоминало бы старое, прославленное и все еще продолжавшее благополучно существовать "Вольное Экономическое Общество". Против такой академии и Блок ничего не имел. Из вводных замечаний Эрберга и Разумника я заключил, что план, привезенный мною из Москвы и зародившийся еще в германском плену, по существу совпадал с идеями петербуржцев. Они ставили целью осмыслить, в тесном содружестве одинаково настроенных людей, значение и судьбу русской революции. Ее значение и судьба толковались каждым по-своему, из своего угла, но все сходились на том, что эта революция – не бунт "рабов", не результат чьей-то случайной прихоти, а мировое событие огромного значения. Вместе с тем, общей для всех аксиомой было убеждение, что осмыслить революцию сообща, во вздыбленной ею стране возможно лишь в полной независимости от властей предержащих, разумом свободным, не отягощенным предвзятыми догматами. Поэтому-то в архитектуре созидаемого общества центральной идеей для всех нас являлась – вольность. С какой улыбкой, подумал я про себя, Блок выслушивал объяснения Разумника, с иронической, снисходительной или застенчивой?

Когда же слово было предоставлено мне, я сразу начал с внесения поправки в название общества. Не просто "Вольная Академия", а "Вольная Философская Академия". Немедленно начались прения о том, что такое философия, история, философия истории, что такое революция и даже вольность. Короче говоря, еще не родившаяся академия уже заседала. Заседание прервалось,

когда хозяйка дома Варвара Михайловна, печатавшая рассказы под псевдонимом В. Карачарова, внесла поднос с чаем и ржаными лепешками, уже тогда – большая роскошь, и, наклонившись с усмешкой, пригласила: "Товарищи академики, кушать подано". Морковный чай с лепешками дал мне возможность лучше освоиться с обстановкой. Обширный кабинет Эрберга производил впечатление чего-то усеченного, или, точнее, пересеченного вдоль и поперек. Книжные шкафы вдоль стен, редкие гравюры и медальоны над диванами, высокие этажерки с рукописями – все это напоминало скорее угол музея, нежели скромную мастерскую писателя. Вместе с тем, это была и гостиная. Если музей, при всей своей разбросанности, казался образцом строгой упорядоченности, то вкрапленная в него гостиная со старинной, разных стилей мебелью была воплощением поэтического беспорядка. Эрберг писал также стихи. Во всем этом как бы отражалась "несогласованность" характера самого Константина Александровича. Я знал его без года неделю. Он был лет на 20 старше меня, но умел и любил дружить с молодыми. Шведского происхождения по отцу и французского по матери, он, с худощавым, чисто выбритым лицом, в синих очках, всегда в белоснежном воротничке, шагал по расхлябанным петербургским тротуарам, как заблудившийся в революционной разрухе иностранец. Но сердцем и мыслью он ощущал себя россиянином и интернационалистом. Он был питомцем привилегированного Училища правоведения и состоял до революции юрисконсультом Министерства путей сообщения. В его недрах он приобрел облик высокопоставленного чиновника барской породы. Его коньком, говоря стилем низким, или путеводной звездой, говоря высоким стилем, – было творчество во имя свободы человеческого духа. Его эрудиция во всех областях художественного творчества, включая музыку и эстетику, была изумительной, о чем свидетельствует, между прочим, его трактат "Цель творчества". Революцию, со всеми ее ужасами, он принимал безоговорочно, видя в ней великолепное проявление народного творчества и стихийного стремления народа в России к свободе как самоцели. Это, он думал, сближало его с Блоком, хотя в восприятии самого Блока, называвшего его неизменно по-шведски – Сюнербергом, он был, прежде всего, иноземцем. Эрберг знал всех, и все знали его. Все – это, конечно, люди мира искусства, литературы и философии. В свое время Эрберг был своим человеком на "башне" Вячеслава Иванова, а также у Федора Сологуба. С Мсти-

славом Добужинским он был на ты и целовался при встречах. Был он дружен и с близким другом Владимира Соловьева Эрнестом Львовичем Радловым. С Разумником Васильевичем Эрберга связывал левый уклон в политике, с Мейерхольдом – знание театра и увлечение творческим его преобразованием. Молодые поэты и поэтессы были родными ему уже только потому, что были молоды и еще только начинали жизнь. Несмотря на все это, однако, общее отношение к Константину Эрбергу было ощутимо холодным. Мало кто видел его рассеченность, но всем бросалась в глаза его усеченность. "Константин Александрович, – говорили, – очень и очень порядочный человек". С этим соглашались все, но то, что за упорядоченностью его, за бюрократическим обликом скрывается истинно романтический беспорядок, первозданный хаос чувств и порывов, жертвенность и готовность отдать идее самое дорогое, например, старшего сына Сергея (вскоре ставшего красноармейским комиссаром), – это видели в шведе с русской душой лишь немногие. Естественным исключением в этом отношении была осанистая барыня Варвара Михайловна Карачарова, которая поведала о своем долголетнем союзе с тайным чудаком Костей в одном из своих всегда правдивых рассказов. Нечего и говорить, что сложность личности Константина Александровича, подмеченная мною при первом же моем посещении сквозь крайне причудливое продольное и поперечное пересечение его гостиной-кабинета-музея, открылась мне вполне лишь постепенно. Полагаю, однако, что тесному сближению и совместной работе с Эрбергом я в первую очередь обязан морковному чаю с ржаными лепешками за круглым столом в диванном углу обширного кабинета.

Когда мы в то упомянутое воскресенье заняли свои места за столиком с перламутровыми инкрустациями у окна, бразды правления твердо взял в свои руки Разумник Васильевич. По натуре он был – деятель, организатор, человек упорный, со стремительной волей; в нем таилось много сокровенного, оставшегося, пожалуй, неведомым для него самого. Внешностью своей, да и умственными достояниями он резко отличался от своего соратника по левизне – Эрберга. Он был сыном железнодорожника невысокого ранга, женившегося во время военной службы на Кавказе на армянке. Иванов-Разумник, как без инициалов он подписывал свои литературные произведения, казался литературной братии не иностранцем, а инородцем, а кое-кому и попом-расстригой и даже темной личностью. В.В. Розанов писал о нем, что это,

может быть, и не человек вовсе, а химера, призрак без имени и отчества. Имело значение, что по нужде он одевался кое-как и к тому же косил. То, что он косил, не нравилось даже Блоку, вполне уважавшему Разумника Васильевича. Между тем, вопреки оценке Розанова, Иванов-Разумник был не только реальной личностью, но и человеком исключительно одаренным и образованным. Было ему в то время под сорок. Имя он себе составил двухтомной "Историей русской общественной мысли". Мало кто знал, однако, что этот объемистый труд Иванов-Разумник писал будучи еще очень молодым студентом физико-математического факультета. В те ранние годы, на пороге двадцатого века, у него было три увлечения – астрономия, музыка и Пушкин. Для астрономии нужна была математика, для музыки – слух, а для Пушкина – вся человеческая история. Эти факты заимствованы мною не из его книг, а из его личных со мною бесед о его юности, о той классической эпохе, на которую он то и дело оглядывался, когда казалось, что революционная буря вот-вот сорвет все памятники с пьедесталов и вывернет наизнанку все его верования, без которых он не мог жить. В таком настроении я застал его, очутившись в конце сентября 1918 года в Петербурге.

Сблизило нас какое-то духовное созвучие, несмотря на то, что я был намного моложе и явился из совершенно другого мира, отдаленного от него астрономическим расстоянием. Именно это замечание насчет астрономического расстояния, отделяющего одного человека от другого, как звезду от звезды, вырвавшееся у меня при первой же встрече, очевидно, задело какую-то струнку в нем, которая продолжала вибрировать, как ритм поэмы, сквозь все годы нашей большой и все больше крепнувшей дружбы. С той самой минуты, крайне щепетильный, гордый и сдержанный, а когда дело шло о нем самом, аскетически целомудренный Разумник Васильевич ощутил потребность раскрывать при мне вслух историю своей собственной мысли или, иными словами, своей жизни, совпадавшую в его восприятии с развитием способности сознательно служить общему, общечеловеческому делу. Потому что, чем же иначе может быть оправдана жизнь человека? Антроподицея (оправдание человека), в противовес теодицее, была первым и последним его словом. Важно это потому, что где-то сохранилась рукопись его большого сочинения, которое называется "Антроподицея" и из которого он читал мне отдельные отрывки. Эта рукопись во время немецкой оккупации попала куда-то в

Германию. Я считаю своим долгом хотя бы упомянуть об этом.

Уже при первом нашем разговоре с Разумником Васильевичем у Эрберга о Философской академии я имел некоторое представление о духовных ценностях его, таившихся за неприглядной внешностью самого выдающегося из современных мне хранителей традиций Герцена, Лаврова и Михайловского. Но я еще не знал тогда, что пенсне на землистом лице с расползавшимися усами Разумника Васильевича вооружало его стеклами для двойного, я бы сказал, магического зрения. Лишь постепенно я разглядел, что он смотрит на вопросы и политического, и личного порядка одновременно широко и узко, одновременно сквозь увеличительное и уменьшительное стекло. Вначале я удивлялся этому, как необъяснимой слабости вообще-то сильного ума, но позднее проник постепенно вглубь его личности и, сравнивая магические стекла его зрения с двойным и тройным зрением вовсе не косившего Александра Блока, я стал соображать, что Блоку – поэту, так же как и Разумнику – прозаику, невозможно было обойтись без стекол, отшлифованных по индивидуальному рецепту. Как Блок, Разумник жил в мире как будто бы для него одного строившемся и так и оставшемся недостроенным. Разумнику Васильевичу, человеку хрупкого здоровья, в то время прихварывавшему, изголодавшемуся, так как каждый лишний ломтик хлеба или кусочек сахара он сохранял для семьи: жены своей Варвары Николаевны и детей Левы и Инны, окруженному в литературных кругах злорадным недоброжелательством, казалось бы, предопределено было самой историей всероссийской общественной мысли впасть в уныние и опустить руки. Но, нет! Несмотря на неприглядность повседневной жизни, Разумник Васильевич смотрел на вещи широко. Если верно, что "христианство не удалось", думал он, то разве отсюда следует, что мир обошелся бы без христианства? Если большевики заодно с черносотенцами делают все возможное и невозможное, чтобы социалистическая революция не удалась, то разве всемирная духовная революция не столь же нужна теперь, в 18-ом году, как накануне всемирной войны, когда первой ее жертвой пал философ-трибун Жан Жорес? Наоборот, именно теперь, когда заграницей и в России готовы продать право первородства – духовную революцию – за чечевичную похлебку материализма, как раз теперь пробил час нового восхода, нового провозглашения немеркнувшего начала: "Да будет свет!" Так воспринимал нашу непосредственную задачу в этот медленно угасавший предвечерний

час руководитель нашего скромного совещания. Его подспудный энтузиазм я стал ощущать исподволь, и когда он тут же предложил мне набросать к следующей встрече проект устава академии, я, как младший, не счел возможным отказаться от порученной мне черной работы. Мог ли я уже тогда постичь, что для Разумника все, касающееся академии, было не только почетным, но чуть ли не святым делом?

Не для него одного. После кончины Блока в 21-ом году обнаружилось, что приготовленный мною устав был переписан Блоком целиком в его дневник. Очевидно, подспудный энтузиазм Разумника действовал заразительно. Быть может, моя первая статья устава, по которой главной задачей академии должно было быть изучение революционной действительности в духе философии и социализма, не улеглась бы так непринужденно на бумагу с ее необычными сопоставлениями, если бы я к тому времени не успел освоить герценовское сопоставление утопического социализма с изначальным христианством. Проводником этих мыслей уже давно был Иванов-Разумник. Для него Герцен был тем, чем для меня были Парменид и Платон. Трудно было запретить философии то, что разрешалось богословию. Если социализм есть новая религия, а так полагал не только Иванов-Разумник, но даже марксист Луначарский, тогдашний наркомпрос, не только Герцен, но и Белинский, а вслед за Жорж Занд молодой Достоевский, то почему бы и мне, ученику учеников, видеть что-либо зазорное в обручении философии и социализма? Парус, с прикрепленным к нему красным флажком, был поставлен. Оставалось выйти в открытое море, запасаясь, конечно, веслами на всякий случай.

Об этом мы и стали говорить. "Видите ли, – заметил Эрберг, покуда Разумник набивал махоркой свою изгрызенную трубку, – надо еще сговориться о том, кто войдет в совет академии, а также о ее президиуме". Замелькали имена, большей частью известные мне, но и такие, которые мне привелось услышать впервые. Систематичный Эрберг зашагал по категориям. Историк Разумник больше оглядывался на то, откуда пришел тот или иной "Иванов-сын". "Нам в совете, – заявил Эрберг, – нельзя обойтись без, по крайней мере, одного музыканта и одного художника. Как музыканта, например, можно привлечь Арсения Авраамова".

Пожалуй стоит рассказать об этом единственном в своем роде характере. Арсений Авраамов появился в Петербурге в 17-ом году, в самый канун Октябрьского переворота, не то как дезер-

тир, не то как новоявленный Ломоносов, но из донской станицы. На нем был дырявый армейский тулуп, но не было ни денег, ни адреса, он без передышки обходил редакции и всех более или менее выдающихся музыкантов столицы. Чего же добивался в самый разгар бешеного революционного пожара этот молодой казак? Какой донос был зашит в его шапке? По единогласному свидетельству Эрберга и Разумника донской казак Авраамов добивался не более и не менее, как ниспровержения общепринятой музыкальной гаммы. Ум и слух Авраамова работали непрерывно, разбрасывая вокруг новоизобретенные теории музыкальной композиции, физиологии слуха и даже акустики, как дубы непроизвольно роняют недозревшие желуди. Редко кто не ощущал при первой же встрече с ним, что находится лицом к лицу с чудом природы. А для людей того круга, в котором родилась идея всеновейшей академии, Арсений Авраамов был воплощенным свидетельством веры в творческое призвание русского народа и зачатой им всемирной духовной революции. Для Разумника, в частности, Арсений Авраамов был во всех отношениях четою Сергею Есенину. В связи с этим он любил ссылаться на ветхозаветное правило: "Дело подтверждается двумя свидетелями"

Кандидатура Авраамова в члены совета Вольной Философской академии возражений не встретила. Но где же был сам кандидат? Тут-то и оказалось, что самой трудной задачей было разыскать его след. Околачиваясь по предоктябрьскому Петрограду с котомкой, набитой неслыханными теориями, Авраамов скоро стал своим человеком в кружках передовых эстетов и даже в некоторых еще не окоченевших музыкальных салонах. Вся совокупность фонологических гипотез Авраамова являлась, по-видимому, предвосхищением новейшей фазы в развитии теории музыки, связанной с именем Хиндемита и его школой. Но Авраамов стремился к большему. "Чтобы ниспровергнуть существующий музыкальный строй, – повторял он, – надо прежде всего перевернуть вверх дном концепцию звуковых волн". Две-три статьи, оставленные им в двух-трех редакциях, в том числе в "Нашем пути", редакции Разумника, как бы прихрамывали в отношении физики. "Совершенно согласен, – ничуть не смущаясь, говорил Авраамов, – физике мне еще надо поучиться, и я даже знаю одного профессора в Казани, который готов руководить мною". Одна из восторженных салонных барышень приютила его в опустевшей квартире своей матери, стала его женой, но вскоре заразилась от него

дурной болезнью; сам Авраамов пропал. Все ее лихорадочные поиски были напрасны. Музыкальные круги тоже были озадачены исчезновением Авраамова не менее, чем бедная, брошенная им без единого доброго слова на прощание Лида. "А не ушел ли он в Казань к своему профессору с немецкой фамилией разрушать акустику?" – приходило кое-кому в голову. Но от Питера до Казани в это время было не ближе, чем 50 лет спустя от Земли до Луны. И тем не менее, Константин Александрович Эрберг настаивал на том, чтобы в совете академии осталось свободное кресло для гениального Авраамова. Гений не объявился. Музыкальное кресло впоследствии занял молодой композитор не столь сверхъестественного размаха – Артур Сергеевич Лурье.

Биография донского самородка, вклинившаяся в наш академический уют так неожиданно для меня, толкнула мою мысль так же неожиданно в новом направлении: а должна ли наша академия отдавать предпочтение эстетическому началу перед этическим? Судьба бедной Лиды требовала нашей реакции. Если бы не Сальери отравил Моцарта, а наоборот, мог ли бы автор "Каменного гостя" стать членом совета Философской академии? Такой вопрос задал я учредителям нашей академии. "По Пушкину, – сразу же заметил Разумник, – гений никак не может быть злодеем". А что такое злодейство вообще? В связи с этим вопросом все больше росло ощущение, что намечается между нами глубокое разногласие. "Подождите, когда с нами будет Борис Николаевич, – старался ободрить меня Эрберг, – вашего полку, наверное, прибудет". Согласившись с Эрбергом, что кресло живописи вполне достоин занять Козьма Сергеевич Петров-Водкин, мы с Разумником вышли на улицу и пошли по направлению к Царскосельскому вокзалу. Едва мы очутились вдвоем на улице, как Разумник Васильевич тотчас заговорил о Белом.

Имя Бориса Николаевича Бугаева – Андрея Белого невидимо присутствовало с самого начала во всех разговорах Разумника Васильевича о новом философском содружестве. Сейчас же по приезде моем из Москвы, еще до того, как он познакомил меня с Блоком, Разумник упомянул, что если Вольная академия чем-либо наперед обеспечена, так это прежде всего своим президентом – Андрей Белый охотно согласится возглавлять ее. Белого я знал, главным образом, как автора "Серебряного голубя" и своеобразного теоретика символизма. Но я склонен был считать его, по сравнению, скажем, с Брюсовым, Сологубом и даже Бальмонтом,

одним из младших мастеров. Для Разумника Васильевича же Андрей Белый был чем-то совершенно исключительным: аксиомой, заветом и залогом. Залогом чего? На это подробно ответило последовавшее четырехлетие. Разумник Васильевич как будто торопился меня – новичка – поскорее чему-то научить, вразумить, правильно поставить мой внутренний голос. Были в его словах нотки опасения, какого-то сомнения – выдержу ли я экзамен. Чем больше он говорил, слегка выделяя чуть ли не каждое третье слово, тем чаще всплывали и мои собственные сомнения. А не говорит ли в нем смутное предчувствие какого-то соперничества, хотя бы даже с таким юным питомцем Гейдельбергской бурсы, как я. Замечание Эрберга о возможном согласии Белого с моим мнением о гениях и злодеях могло как-то особенно задеть Разумника, для которого Белый был залогом, заветом и аксиомой. Ведь что я услышал в завершение нашего разговора о "вернейшем рыцаре" прекраснейшей из литератур? В двух словах: не будь Белого – не нужна была бы и вся наша академия, не он для нее, а она для него. По Разумнику, в творчестве Белого сконцентрированы все заветы русской литературы, он залог того, что линия Пушкин – Толстой не оборвется. На мелкотравчатом пути современной литературы он нечто прочное и непоколебимое, нечто в то же время стихийное. В Белом сглаживаются все противоречия, в том числе и разлад между интеллигенцией и народом. Одним словом, говоря языком Эвклида, Андрей Белый – аксиома, предпосылка всех предпосылок. Разумник Васильевич даже стал волноваться. Ранний октябрьский вечер, по-петербургски слякотный, серый и сырой, повидимому, вызвал в нем, опять прибегая к тому же языку Эвклида, как бы от противного – болезненную, горячечную жажду прозрачного, чистого Белого, неразрывно связавшего все творчество свое с всеобъемлющей идеей белизны. Такое поэтическое толкование Белого утвердилось и во мне, месяца три спустя, когда я впервые увидел Бориса Николаевича, шагающего по кабинету Иванова-Разумника на Колпинской в Царском. Надо было подольше пожить среди этих людей, легко терявших физический вес, чтобы освоиться со своеобразием их взаимоотношений. Для материалистов все материально, и уж подавно – восторженное отношение человека к человеку. Но Иванов-Разумник, как и Белый, как и Блок, и даже аккуратнейший Эрберг, были не материалистами, а прирожденными ненавистниками материализма. Именно это их и сближало, хотя жили они и действовали каждый

по-своему. Вот почему сама материя была для них идеей, сверхопытной сущностью, а иногда даже поводом для поэтической экзальтации. На Западе, в особенности 50 лет спустя после революции, сказали бы, что замухрышка Иванов-Разумник был влюблен в светлоглазого, похожего на Аполлона Андрея Белого. На что они оба, каждый со свойственной ему интонацией, воскликнули бы: "Какая пошлость!" Пошлость для них и им близких была самым заклятым врагом. Пошлость и мещанство. Не случайно молодой Иванов-Разумник представил развитие русской общественной мысли как постепенное преодоление многочисленных разновидностей мещанства.

С приездом Белого в Петербург можно было приступить к делу и формально. Он остановился в Царском у Разумника, и первое учредительное собрание Вольной Философской академии состоялось в квартире у Разумника. Присутствовал и Блок, и Петров-Водкин, представитель пластических искусств в предполагаемом совете академии. По настоянию Константина Александровича Эрберга присутствовал и молодой литературный критик Борис Кушнер, главным отличием которого от всех нас было то, что он был членом коммунистической партии. В этом проявлялась широта натуры Эрберга, хотя некоторые и считали его как бы "человеком в футляре". Кушнер ничем не помешал, наоборот даже помог тем, что дал возможность Блоку объяснить свою непричастность к большевикам. "Беда не в том, что большевизм противоречит меньшевизму, беда в том, что он легко снижается в меньшевизм", – сказал Блок. Это отвлекло нас в сторону от главной темы – проект устава. Но все согласились, что проект устава, предложенный мною, приемлем, и сосредоточились на том, чтобы провести его в жизнь. А это значило – получить утверждение в Москве в Наркомпросе, т.е. у Луначарского. Конечно, деньги тоже были нужны. По существующим законам мы должны были быть на попечении Отдела высших учебных заведений и научных учреждений. Этим отделом в Петербурге заведовал личный большой друг Луначарского Михаил Осипович Кристи, который, кажется, даже и не был социалистом. Родом он был из бессарабских помещиков, типичный российский интеллигент, помогавший в годы эмиграции материально Луначарскому подготовиться к посту министра народного просвещения в будущем революционном правительстве. В отличие от других Луначарский далеко заглядывал вперед, представлял себе и твердо верил, что революция победит

и ему тогда придется занять пост министра просвещения. Он считал своим долгом заблаговременно готовиться к этому. Всеволод Эмильевич Мейерхольд, на этом собрании не присутствовавший, но всецело нас поддерживающий, предложил напечатать в "Вестнике театрального искусства", который он издавал, нашу записку о целях новой академии. Было это немножко притянуто не столько за волосы, сколько за театральный парик, но тем не менее времена были такие, что смотреть за порядком было некому, и мы воспользовались предложением Всеволода Эмильевича. Таким образом, в "Вестнике театрального искусства" есть заметка "Проект Вольной Философской академии", подписанная Блоком, Белым, Эрбергом и мною. Эрберг предложил, чтобы Разумник не подписывался, так как он был уж слишком запечатлен в умах правящей партии как эсер. Все прочие были честные и беспартийные. Заметка появилась, и в "Истории русского театра" существует страничка о Вольной Философской академии. Однако, важнее всего было получить утверждение из Наркомпроса. Это взялся сделать Мейерхольд, который явился к Луначарскому и по телефону сообщил нам, что академия утверждена. Луначарский любил новизну и в особенности все, что напоминало историю других революций. О нас он сказал: "Эти люди напоминают мне общество филантропов Великой Французской революции, которые не были ни жирондистами, ни монтаньярами, они были философами и любили человечество. Вот и у нас будет тоже такая группа. Пускай они по-своему проявляют свою любовь к человечеству – революции это не повредит".

Однако, в один прекрасный день, вернее, вечер, представители Чека обошли ряд квартир в Петербурге и арестовали многих известных интеллигентов. К нашему обществу это непосредственно не имело отношения, а было связано с демонстрацией, организованной левыми эсерами. Левым эсерам удалось убедить матросов выйти на улицу, пойти к Мариинскому театру, забрав оттуда оркестр, собрать народ и требовать восстановления свободных выборов в Советы. Демонстрацию разогнали, многие были арестованы. Не буду подробно говорить об том, замечу только, что это обстоятельство дало мне возможность обратиться лично к Горькому с просьбой о заступничестве. Одним из первых был арестован Иванов-Разумник, слывший левым эсером, хотя он отрицал это и не считал себя членом партии. У него забрали записную книжку, в которой нашли список всех членов нашего совета Воль-

ной Философской академии и других друзей Разумника, не имеющих никакого отношения к академии, и всех их арестовали. Когда я появился на Гороховой 2, в помещении петроградской Чрезвычайной комиссии по борьбе со спекуляцией и контрреволюцией, я застал там, в приемной следователя, Алексея Михайловича Ремизова, Петрова-Водкина, почему-то также Михаила Константиновича Лемке, известного издателя Герцена.

Меньше чем через 24 часа я столкнулся с Александром Александровичем Блоком. Следователь Лемешков, имя которого увековечено Блоком в его дневнике, предъявил ему, как и всем другим, обвинение в контрреволюционном заговоре. Другими словами, каким-то образом наше предварительное совещание об образовании Вольной Философской академии было истолковано как предлог для заговора, связанного с выступлением матросов и протестом против отмены советской демократии. К счастью, Белого уже не было в Петербурге к тому времени, он сразу же, после нашего заседания, вернулся в Москву, и там его не трогали. На допросах, между прочим, проявились литературные таланты некоторых из наших участников совещания. Я был свидетелем того, как допрашивали Ремизова и как он по-настоящему, по-ремизовски, своим неповторимым стилем давал показания. Когда следователь приказал ему: "Пишите! Я нижеподписавшийся Алексей Михайлович Реми́зов...", Алексей Михайлович его тут же прервал: "Ради Бога! Не Реми́зов, а Ре́мизов, Ре́мизов". – "Ну, Ре́мизов, – сказал следователь, – пишите дальше". – "Уж я только посвоему буду, не могу же я просто вот так взять и отменить свою фамилию". Он писал довольно много и, очевидно, все в своем стиле. Отмечаю это только потому, что если кому-либо вздумается искать новые, еще не известные рукописи Ремизова, то в архивах петроградской Чека их, вероятно, можно найти, если они не переданы в какой-нибудь литературный архив. Впрочем, об этом он писал позже в пражском ежемесячнике "Воля России". Там он, между прочим, упоминает о том, что я был в женской шубе, "но с чужого плеча". Отмечаю это потому, что шубе этой очень радовался Блок, когда мы с ним, подстелив ее под себя, улеглись на твердой койке в помещении Чека. Я не хотел бы останавливаться на внешних подробностях ареста Блока, как он держал себя на допросе, как к нему относились другие, друзья по лишению свободы, потому что это было напечатано сразу же после смерти Блока в особой книжке "Памяти Александра Блока", на которую уже

упомянутый приятель Луначарского Кристи отпустил бумагу. Замечу только вскользь, что 20 лет спустя, когда Разумник Васильевич был снова арестован, ему эту книжку предъявили как один из пунктов обвинения за то, что в ней было красочно описано, как выглядела тюрьма Чека в Петербурге на Гороховой 2.

Останавливаюсь же я на этом эпизоде потому, что когда Блок предложил мне, а я принял его предложение, провести ночь вместе на одной и той же койке, так как никто не знал точно, как долго придется нам здесь оставаться, я воспользовался своей шубой, подбитой белкой, "с чужого плеча", и нам было уютно и тепло. Александр Александрович чувствовал себя в этой обстановке как-то совсем необычно. Чувствовал как бы общность судьбы нашей. В это время никто не мог предсказать точно, что случится завтра. Он почувствовал какую-то особую свободу в выражении своих чувств и стал, в отличие от обычной своей манеры молчать, разговорчивее и, я бы сказал, менее замкнутым, более заинтересованным в том, чтобы понять самого себя. В своей речи, после кончины Блока, я упоминал, что он подробно мне рассказывал, до какой степени вырубовцы, или вернее распутинцы, были активнее и приятнее, чем царские бюрократы. Блок был один из секретарей комиссии по расследованию преступлений ниспровергнутого монархического режима и, таким образом, имел доступ в Петропавловскую крепость, где он познакомился с документами о главных деятелях этого режима. Блок разделял их на две категории, о которых он мне подробно тогда рассказывал. Ему бросилось в глаза, что общение с Распутиным, и значит с Вырубовой, посредницей между ним и императрицей, отражалось каким-то необъяснимым образом на личности того, кто общался с ним.

В отличие от них, люди, думавшие, и может быть, не напрасно, что неприязнь ко всей распутинской компании поднимет их в глазах Временного правительства, были, что называется, "клопиными шкурками". Это выражение вырвалось у него не напрасно. Во время нашего очень продолжительного разговора Блоку, который был ближе к стене, приходилось уничтожать не клопиные шкурки, а живых, настоящих клопов, которые проложили себе две-три дорожки по белой, отштукатуренной стене сверху по направлению к нашей койке. Меня коробило оттого, что Блок так методично уничтожал клопов. Мне казалось, что ему не следует этого делать. Но вспоминая и глядя назад, я понимаю, что он недаром года два прошел все испытания на фронте, помощником

санитара, и что уж на фронте нельзя было иначе бороться со зловредными насекомыми, как террором... Так как здесь, в тюрьме, мы непосредственно соприкасались с самыми реальными проявлениями террора, я имел возможность наблюдать, как Блок относится к нему. Каждый вечер, а я уже был тут второй вечер, в камеру входил человек со списком в руке, называл фамилии обреченных, которых отправляли с Гороховой, в центре города, недалеко от Исаакиевского собора, прямо в Петропавловскую крепость на расстрел. Блок готов был не замечать этого, что было мне непонятно.

В бесконечном разговоре нашем одной из тем, естественно, была тема об отношении нашем к религиозным заветам. Блок вдруг сказал: "Помилуйте, Аарон Захарович, я вам говорю о людях, которые как клопиные шкурки высохли, они все церковники", — стараясь внушить мне, что религия не предохранила бы Россию от террора или злоупотребления насилием. На что я ему ответил, что, может быть, это и так, но я придерживаюсь нехристианской религиозной традиции, хотя она и считается более жестокой. Я до сих пор не мог примириться с фактом казни царской семьи. Все мы ведь воспитаны на произведениях Достоевского и Толстого, особенно Достоевского. Неужели же для нас все еще безразлично, что переживает человек в последнюю минуту перед казнью? Может ли кто-нибудь из нас не чувствовать своей вины за эту казнь? Блок приподнялся на локте и, по-моему, пропустил одного или двух клопов, не раздавив их, так он был, очевидно, поражен чем-то: "Неужели вы придерживаетесь иудейства как религии?" — "А почему бы и нет?" — ответил я. "Впервые встречаю такого человека. Знаете, Аарон Захарович, я должен вам признаться, что я был сам некоторое время близок к юдофобству, особенно во время процесса Бейлиса". И он подробно рассказал мне о людях, прежде скрывавших свое еврейское происхождение, но которые вдруг стали в это время необыкновенно активными и требовали от него, Блока, подписи в заявлении в министерство, в котором говорилось, что евреи не употребляют христианскую кровь в своих ритуалах. Он назвал несколько имен, из которых я кое-кого хорошо знал. — "Помилуйте, — говорил я им, — вы же всегда отрицали свое еврейство, откуда же вы знаете, какие могут быть секты у евреев с изуверскими ритуалами? Тогда я увидел, что это какие-то ходячие манекены, как у Достоевского в "Записках из мертвого дома". Блок почему-то назвал Фому Исаевича из

"Записок из мертвого дома". Это каторжник-еврей, у которого все превратилось в форму, и он наслаждается тем, что выполняет роль, а за этим ничего нет – пусто. Блок продолжал: "А вот когда был процесс Бейлиса, евреи вдруг потребовали от Мережковских исключения Розанова из Религиозно-философского общества". – "Ах, Александр Александрович, в то самое время, когда вы почувствовали такую неприязнь к евреям, я понял, что мне необходимо объясниться с Василием Васильевичем". Как отнесся ко мне Розанов, как меня не отвергли, а наоборот, хорошо приняли, – все это я рассказал Блоку и потом добавил: "Не правильнее ли всего попытаться выяснить словами, какие преграды стоят между людьми в их взаимопонимании?" На что Блок ответил: "Опыт стоит слов". – "Верно, – сказал я, – опыт, но правильно истолкованный. А ведь каждый истолковывает по-своему. А подумали ли вы о том, что судите обо всех евреях по тем, с которыми обычно встречаетесь, а они – особые евреи? Если бы я вам сказал, что составил мнение о русском человеке на основании знакомства со взломщиками и карманными ворами, с которыми провел несколько месяцев в тюрьме, стал бы судить о характере русского человека – вы бы сказали, что это злостный вымысел, и были бы правы. Евреев, о которых вы говорите, я не хочу ни в чем обвинять, я называю их продуктами разложения, а по конечным результатам разложения ведь трудно судить о начальном элементе". Александр Александрович слушал меня с необыкновенным вниманием, как если бы впервые в жизни вдруг заглянул в какое-то темное царство и увидел просвет. На Блока, очевидно, произвело впечатление исключение Розанова из Религиозно-философского общества, по настоянию, главным образом, Мережковского и Гиппиус. Между прочим, Мережковский был одним из первых, признавших в Блоке великого поэта, но впоследствии их отношения охладели. Сам Блок голосовал против исключения Розанова. Я тоже был на этом собрании и рассказал Блоку о своей встрече там с дочерью Розанова и своем разговоре с ней. Мне казалось, что Блок был рад найти собеседника, с которым можно было откровенно говорить. Мне же хотелось воспользоваться этим случаем, чтобы побеседовать о задачах нашей философской академии.

И мы перешли на разговор о членах нашего совета. Конечно, прежде всего о Боре, Борисе Николаевиче Белом. "Скажите по совести, ведь вы занимаетесь философией, разве антропософия,

под влиянием которой находится Боря, стоящая философия?" Я объяснил ему, что будучи вышколен в немецком университете, я не высказываю мнения ни о какой философской системе, не познакомившись прежде с ней. Я мало знаю, что кроется под этим. Знаю только, что это какая-то разновидность теософии, какая-то мистика. Я сам раза два видел учителя Бориса Николаевича – доктора Штейнера. Один раз на философском конгрессе, а второй – на докладе его в моем университетском городе Гейдельберге. Он меня не убедил, но я продолжаю интересоваться его учением. Я надеюсь, что если Борис Николаевич будет серьезно сотрудничать с нами и если наша затея с академией не лопнет из-за каких-либо внешних препятствий, то у меня будет случай глубже ознакомиться с его философией. "Ну конечно, – сказал Блок, – вы ученый немецкого закала, а я на это иначе смотрю. А кстати, доктор Штейнер не еврей?" Когда я ответил, что есть действительно евреи с такой фамилией, но что доктор Штейнер, по-видимому, смесь южно-славянской и немецкой крови, Блок воскликнул: "А вы уверены, что он не еврей?" Я понял по тону его голоса, что для Александра Александровича еврей то же самое, что хитрый мошенник: "Если Штейнер околдовал Борю, так вернее всего, что он еврей-фокусник". – "Может быть, – ответил я ему на это, – у вас предвзятое мнение? Вы хотите сказать, что Штейнер – мошенник?" – "Вот, не подумал об этом". – "А могу ли я ответить откровенностью на откровенность? Знаете, Александр Александрович, не буду повторять о том, что другие говорят о вас как о поэте. Я просто скажу, что на меня вы производите впечатление немецкого романтика". Он очень обиделся: "Это, наверное, обман зрения". Сказал я это ему не случайно. В разговоре с Разумником Васильевичем я уже успел выразить это свое мнение. И тут вдруг подумал, а что если меня уведут отсюда в Петропавловскую крепость? Это будет конец. И вдруг окажется, что за спиной Блока я выразил о нем такую ересь, и только поэтому мне захотелось убедить его, что в этом мнении ничего предосудительного нет. "Не знаю, что вы думаете о Генрихе Гейне, а я его очень люблю". – "Несмотря на то, что он еврей?" – "Да, он самый умный из всех евреев, которых я знаю". Говорили мы и об Иванове-Разумнике, конечно. Иванов-Разумник, вопреки тому, что преклонялся перед Блоком и считал, что критики, просмотревшие и не заметившие появления в литературе "Стихов о Прекрасной Даме", были неправы, тем не менее отдавал предпочтение Белому. Меня это очень

огорчало. Например, когда в разговоре с Ивановым-Разумником я высказал такую мысль: "Почему в литературной среде, и русской и за границей, писатели мелкого полета очень охотно злословят почти исключительно о современниках, не о Пушкине или Лермонтове, а о милых современниках? Почему даже нет такого слова в языке как "добрословить"?" – Иванову-Разумнику очень понравилось слово: "Это очень удачное слово, – сказал он, – надо его ввести, я скажу Борису Николаевичу". Не Блоку скажет, а Борису Николаевичу. И я сказал Блоку, что Разумник сложнее, чем кажется. "У него мертвящий формализм", – заметил Блок. Я начал защищать Иванова-Разумника, говоря, что он еще развивается, что он человек не старый. Вот, например, он был чуть ли не первым, откликнувшимся на Шестова. Александр Александрович опять посмотрел на стену – его внимание на момент привлек новопоявившийся гость: "Вот Шестов – типично! Почему Шестов, почему не Шварцман? Скрывает, что еврей". Я не мог удержаться, чтобы не процитировать слова Брюсова, которые я слышал от самого Валерия Яковлевича: "Как Шестов, может писать только Шестов". Какая же важность, какой у него псевдоним? – "Ах, не говорите, – это важно, – это евреи охотно делают. Все-таки Лев Шестов звучит как-то, а Лев Шварцман – никто не станет читать". Так это вина не Шварцмана, а читателей, которые требуют, чтобы хороший писатель не назывался немецко-еврейской фамилией. И я ему рассказал, чего он еще не знал. В воспоминаниях Горького о Толстом (Толстой и Горький жили в Гаспре одно время) он пишет: "Помню в Гаспре, после выздоровления, прочитав книжку Льва Шестова "Добро и зло в учении Ницше и графа Толстого", он сказал, что книга эта не нравится ему. Заметили, что Шестов еврей. "Ну, едва ли, – недоверчиво сказал Лев Николаевич, – нет, он не похож на еврея; неверующих евреев – не бывает. Назовите хоть одного... Нет!". – "Как интересно, – сказал Блок, – так, может быть, они скрываются под нееврейскими фамилиями, чтобы верили их неверию? Очень странное явление". – "Почему? Иванов-Разумник – тоже псевдоним, а Борис Николаевич тоже не Белый, а Бугаев", – сказал я ему в пику. – "Ну, Боря, о Боре и говорить нечего", – как если бы считал его сумасшедшим. Когда я добавил, что Жорж Занд тоже не Жорж Занд, он сказал: "Это женщины, это совсем другое. Женщины имеют право скрывать от читателей свое авторство, а то не будут достаточно их уважать". (Хочу тут признаться, что я довел до сведения Шестова много лет спустя после

кончины Блока, как тот упрекал его за псевдоним. Было это в Берлине. Шестов тогда объяснил мне, почему у него такой псевдоним.) Во всяком случае, в этой беседе с Блоком открылось для меня нечто удивительное. Даже такие люди, как Блок, бродили как бы в темноте. Я не говорю об их отношении к евреям, не в этом дело... Это целый мир предрассудков. То же самое примерно, когда он отдавал предпочтение распутинцам.

Мы посмотрели на часы. Уже пятый час ночи, скоро будут будить и неизвестно, "что день грядущий нам готовит". "Александр Александрович, я никогда не видел вас таким взволнованным, мы должны прекратить нашу беседу. Могу ли я только сказать вам, что мнoгому у вас за эту ночь научился. И если Бог даст нам еще свидеться и побеседовать, то у меня остались некоторые вопросы на тот следующий раз". Я посмотрел на него и добавил: "Мне было бы жаль, если я вас чем-нибудь задел". Сейчас, глядя назад, не могу даже сказать, почему у меня было такое чувство, что он как бы споткнулся о твердый предмет. Такое же впечатление было у меня, когда я его увидел впервые в этой камере. Высокий, статный, красивый, он вошел и как будто отпрянул, как бы осознав, что нельзя пройти насквозь. "Надо остановиться", – повторил я. – "Нет, наоборот, – возразил он, – я хотел бы, чтобы вы поняли, что я давно уже ни с кем так откровенно не говорил", и повернув голову через плечо, он вдруг заметил: "А ведь какая хорошая у вас шуба, как мягко на ней лежать". Так прошло время до утра. Под конец, когда его вызвали, он сказал мне: "А мы с вами, знаете, как Кирилов и Шатов провели ночь". Кто Кирилов, кто Шатов из нас – я не знаю. Кирилов – Шатов, что что-то очень сокровенное...

Вот один из эпизодов, который был связан с основанием нашей Вольной Философской академии. Нечего и говорить, что, кроме Разумника Васильевича, я мало кому рассказывал о нашей беседе с Блоком. Кое-что я рассказал публично после кончины Александра Александровича. Я был в университетской церкви на Васильевском острове, когда его отпевали. Лицо его было уже воскового цвета, но черты не стерлись. Глазные впадины были как будто расширены. У меня сложилось такое впечатление, что когда он заснул в последний раз, в лице его была страшная усталость. Я приподнялся и внимательно посмотрел на его лицо. Таким я его видел в последний раз спящим на тюремной койке, а теперь покойником в церкви. Тогда он тоже был страшно уста-

лым и, как это ни странно, цеплялся за наше философское содружество как за последнюю опору. В дневнике его написано: ”Буду заниматься делами вольфильскими”. Я думаю, что все-таки Разумник Васильевич был ему верным пажем, принадлежал к свите Блока. Борю, что бы Бок о нем ни говорил, он любил как брата. Братьев у него не было. К Константину Александровичу Эрбергу Блок относился как к инородцу. Как говорят: ”Не было бы счастья, да несчастье помогло”, т.е., несмотря на большое расстояние между Блоком и этими людьми, постепенно создавались более тесные отношения. Хотя меня никто об этом не просил и не уполномочивал, мне хотелось, чтобы Блок и Белый снова стали друзьями, какими они были в молодости. Мне хотелось, чтобы Блок побольше уважал своих верных, преданных литературных друзей, таких как Иванов-Разумник и другие. Блок был очень тверд в своих взглядах. Например, Евгений Павлович Иванов, близкий друг Блока, остался близким другом до конца, несмотря на то, что не мог простить Блоку последних строчек из ”Двенадцати”: ”В белом венчике – из роз Впереди – Исус Христос”. Он был верующим, православным человеком, и строчки эти считал богохульством. Настоящая, бездонная пропасть отделяла одного от другого, но Женю Иванова Блок любил. Его чувство к Любови Дмитриевне – совершенно необыкновенная вещь. Она не в состоянии была оценить его, была о нем предвзятого мнения, но для этого, по-видимому, были основания. А он решительно оставался ей верным как ”рыцарь бедный”.

Почему-то в нашей небольшой компании Блок надеялся найти опору. В каком-то смысле он ее нашел, потому что продолжал свою работу. В эти годы он писал, но в конце-концов не дописал, свою большую поэму ”Возмездие”, продолжал принимать участие и в общественной жизни. Блок еще рассчитывал тогда, что ему удастся выйти на новый путь в своем творчестве, он начинал писать пьесы, не такие романтические, как известная ”Роза и крест”, стремился даже к реализму, но окончательно потерял веру в то, что новый путь, новая жизнь откроются ему через революцию, через политические перемены. Тех поэтов, которые продолжали выводить фиоритуры на этой струне, он не любил. Он отвергал Есенина, Клюева, с трудом мог сговориться с Андреем Белым, принять его литературные труды, и пришел, наконец, к весьма странному выводу,

что все проиграно — "смирись, гордый человек". Как-то он сказал мне: "Вы знаете, я был вчера в театре. Представьте себе, вся публика вдруг поднялась — в театр вошел Троцкий со свитой. Это было точно так, как когда-то входил кто-либо из императорской семьи в театр. Т.е. старый мир не только не исчез, он воскрес". Отношение членов правительства к Блюку было особенным. Так, издатель Алянский добился у Луначарского особой привилегии издавать произведения Блока в "Записках мечтателей" только потому, что последний преклонялся перед гением Блока. Печатались там и Белый, и Замятин, и Ремизов. В том же издательстве напечатан был сборник "Старое и новое искусство", в котором и я поместил свою работу "О развитии и разложении искусства". Одним словом, наше содружество сыграло в жизни Блока положительную роль.

Закончу тем, что расскажу о первом формально состоявшемся открытом заседании нашего философского содружества. Так как Белого тогда не было в Петербурге, решили, что Блок должен прочесть первый доклад на тему "Крушение гуманизма". Однако, нельзя было не упомянуть, что между первым учредительным заседанием совета Вольной Философской академии и первым публичным докладом Александра Блока не только были арестованы инициаторы этого совета, но и пришлось изменить название нового задуманного сотрудничества. Луначарский счел совершенно неправильным дать нам, каким-то еретикам, народникам, левым эсерам, людям, представляющим какой-то предреволюционный сброд, возможность сделать первый шаг в таком важном направлении, как осмыслить революцию в духе философии и социализма. "Нет, это невозможно, — сказал он, — пусть они себе какое-нибудь другое название выберут". Михаил Константинович Лемке, упоминавшийся раньше в связи с арестом членов нашего совета и имевший связи с высшими кругами правящей партии, привез из Москвы, после свидения с Каменевым, известие, что наша питерская Вольная философская академия будет разрешена с условием, если мы вычеркнем из названия слово "академия". Срочно созвано было собрание наших учредителей, на котором Константин Александрович Эрберг сказал: "Нам самое важное сохранить заглавные тре первые буквы, ВФА, значит, мы будем Вольной Философской ассоциацией, а я ее по-прежнему буду называть про себя, как и прежде, Вольфилой".

Получив название, можно было приступить к организации первого публичного заседания Вольфилы. Не лишено интереса заметить и то, что не было возможности даже дать объявления об этом в газете. Невозможно было и напечатать афиши. Пришлось ограничиться рассылкой нескольких писем и устным оповещением людей, которые могли бы заинтересоваться. Другая трудность – найти помещение. Кто вы такие, кто вас знает, не будет ли потом неприятности с вами? И вот наш активный Разумник, организатор и деятель, решил устроить первое собрание в помещении издательства "Колос", того самого, которое переиздавало первое собрание сочинений Петра Лаврова и печатало самого Разумника. Помещение было очень небольшое, стульев было тоже недостаточно. И если бы питерский народ, интересовавшийся "Крушением гуманизма" Блока, захотел бы явиться на собрание, весь дом на Литейной, в котором помещалось издательство, развалился бы. Хуже было то, что настоящего освещения не было, и нужно было уложиться до первых осенних сумерек. Все-таки человек сорок-пятьдесят явились. Среди них и Дмитрий Сергеевич Мережковский, которого никто не приглашал и не звал. Пришли литераторы, неизвестные студенты и студентки, т.к. в университете каким-то образом стало известно о нашем философском содружестве и докладе Блока. Доклад Блока "Крушение гуманизма" целиком напечатан. Суть его, как известно, сводится к тому, что русская революция есть явление не случайное и даже не историческое событие только России, но что это явление всемирно-историческое, что ценности европейского образования изжиты, что идеи, принимаемые как аксиомы, – висят в воздухе, и что смелые мыслители провидели наступление сумерек в европейской литературе. Надо прибавить, что книга Шпенглера "Закат Европы" тогда еще не появилась. Блок говорил в чисто русской традиции предвидения конца европейской цивилизации. Состоялись прения. Чувствовалась известная неубедительность в аргументации Блока – но кто же ждал от Блока логических выводов?

В сочинениях Блока суть этих прений отмечена, однако, он не упоминает о том, что прения эти закончились уже в полной темноте. Петербургские сумерки не нашли нужным считаться с таким важным событием, как первое заседание Вольной Философской ассоциации, и с тем, что первым докладчиком

был не кто иной, как Александр Блок. Событие это как будто не должно было встретить отклика за пределами тесной залы издательства ”Колос” на Литейной, но, как это ни странно на первый взгляд, это заседание вызвало живейший интерес во всем Петербурге. И когда мы решили второе наше заседание, под названием ”Напрасный подвиг” (а может ли быть подвиг напрасным?), посвятить годовщине восстания Декабристов, к величайшему нашему удивлению, уже за полчаса до начала собрания весь зал не только был сплошь заполнен, но была сломана и дверь в кабинет издателя, находившийся за этим залом. Толпы народа стояли на лестнице, все они хотели услышать следующий доклад ”этих крушителей”, как говорили в толпе, помня, очевидно, доклад Блока ”Крушение гуманизма”. К счастью, с нами был Владимир Васильевич Бакрылов, человек большой инициативы, из народа, прошедший огонь и воду и медные трубы. Очень молодым человеком, чуть ли еще не мальчишкой-гимназистом, он был сослан в Сибирь, откуда вернулся только после революции. Был он молчаливым, очень активным, но главным образом решительным человеком. И когда нужно было проявить силу характера, ничто не могло его удержать: ”Вот ведь говорил я вам, что народ будет ломиться. Но мы достанем зал, какой нужно”. Он перешел Литейную, подошел к зданию клуба армейских и морских офицеров и приказал открыть ворота и впустить туда народ. Как это ни странно, ворота открыли и народ впустили. А народ шел даже с самых отдаленных рабочих окраин, чуть ли не с Путиловского завода, несмотря на то, что не было ни газет, ни транспорта (в воскресенье трамваи вообще не ходили). Люди шли послушать вот этих самых, я повторяю, ”крушителей”. Это, очевидно, был как бы протест против мертвящей силы режима. И мы, далекие от толпы, так называемые философы и академики, попали в самую живую точку народного интереса.

С тех пор то же самое происходило от одного публичного собрания к другому, и даже дошло до того, что правительственные круги стали перед дилеммой: а не прекратить ли всю эту затею? — или наблюдать, что будеть дальше? Очевидно, пришли к заключению, что лучше оставить нас как отдушину. Трудно сказать, кто стоял за этим мудрым решением. Если в Петрограде сотни, а может быть и тысячи, людей хотят собираться раз в неделю, чтобы послушать не казенную правду, о

которой пишут официально в газетах, а живых людей, с живым умом и сердцем, с потребностью самим понять живую правду, то очевидно, именно эти люди – очень нужные люди в этот период. С тех пор так и повелось, что не было воскресенья без публичного заседания Вольной Философской ассоциации. Это явилось вполне неожиданно и наложило на нас особое бремя обязанности. Мы вдруг обнаружили, что мы нужны людям Петербурга, мы – теоретики, совершенно лишенные каких-либо практических средств к действию.

И однажды, наш друг Эрберг – казенный бюрократ – сказал: "А не пора ли нам, как вы думаете, обратиться в городское управление с просьбой, чтобы нам дали помещение?" Это была казенная мысль, и против нашего настроения. Нам не хотелось передавать вот этот, так сказать, народный капитал ожиданий, чувств в распоряжении какой-либо бюрократической канцелярии. Зато наши собрания совета стали еще более интенсивными. Помимо публичных собраний мы собирали совет, большей частью на квартире Эрберга, на Забалканском, раз или два в неделю, обсуждали программу и решали, что для России сейчас больше всего нужно. Число членов нашей ассоциации росло. Постоянными посетителями совещаний совета были Мейерхольд и художник Петров-Водкин. Они считали, что наше дело сделано, что мы очистили место для дискуссии, для обсуждения насущных вопросов. Но не так были настроены Блок и Белый. А надо сказать, что они, и в особенности Белый, своим настроением определяли ход действий Разумника Васильевича. Я же не только присматривался, но и учился. Мне было ясно, что мы вышли в открытое море и что красный флажок, прикрепленный к нашему парусу, уже не столь важен. И если бы можно было создать свой собственный флажок, это должен был бы быть флажок, символизирующий будущее человечества, и этот флаг не может быть одноцветным, он должен быть радужным, он должен укрепить нашу веру в будущее, напомнить о трудностях нашей задачи. Короче говоря, мы снялись с якоря и вышли в открытое море, но в очень утлом суденышке, в челноке. И какие бы гирлянды флагов ни украшали нас, мы все равно не знали, куда направить наше стремление к будущему, не отдавали себе отчета в том, что же будет с миром в России и вне ее.

Очень живой и убедительный отклик поступил со стороны

Андрея Белого. Тогда-то я и узнал о его принадлежности к обществу, которое ставило целью нечто, напоминавшее нашу собственную, еще не определившуюся задачу. Белый был адептом антропософии. Я знал о теософии еще до войны, в Петербурге был лично знаком с семьей Трояновских, издававших журнал "Теософ", но относился к этому как к чистой науке. И в Германии, и в Швейцарии, и в Италии я старался знакомиться со всем, что было нового в философии. Очевидно, стремление знать самое новое, самое свежее было тогда общим для широкого круга моего поколения. Я интересовался и Кандинским, абстрактной живописью, защищал еще в Гейдельберге право Пикассо писать картины так, как он считал нужным писать их в свой "синий" период, был заинтересован, еще до того, как узнал Арсения Авраамова, новой музыкой Малера, Хиндемита и Шенберга. Вероятно, я был под влиянием того, что перед войной в Германии называли открытым духовным кругозором. Я не хотел поэтому верить тем, кто предсказывал, что это новое течение в литературе, живописи и музыке окажется бесплодным. Тогда, в Петербурге, мы еще не знали, что в Дармштадте, неподалеку от Гейдельберга, граф Герман Кайзерлинг основал школу Die Schule der Weisheit (школа мудрости), противопоставлявшую новую теорию музыки общепринятой музыкальной традиции. Мы не знали, что экзистенциализм, учение Кьеркегора, стал преподаваться в немецких университетах. Ницше, о котором говорили в Германии, что он поэт, а не философ, был включен в учебники по истории философии. Происходил серьезный сдвиг в умах. Имея уже некоторое представление об учении доктора Рудольфа Штейнера, учителя Белого, которое не очень-то привлекало меня, я, конечно, хотел понять, как Белый связывает эту философию с нашей работой в Вольной Философской ассоциации. Надо сказать, что Белый стал ходить на мои занятия. Дело в том, что очень скоро мы решили, помимо публичных открытых собраний и наших закрытых совещаний, ввести регулярные занятия для желающих, подобные университетским. Не надо забывать, что к этому времени большинство высших учебных заведений, как и Петербургский университет, опустели, отчасти из-за того, что профессора разъехались и разбежались, не принимая вообще революцию, отчасти из-за того, что они не могли принять программы, предлагаемой правительством. Петербург голодал. Были созданы учебные заведения

"Красной профессуры", в которых преподавали люди приспосабливающиеся, недалекого ума, которые не могли бы ответить на элементарные вопросы. Ответом на такое положение было наше решение преподавать, вести семинары.

Один из таких семинаров вел Борис Николаевич Белый. Он говорил, что преподает не антропософию, а хочет познакомить людей, которые заинтересованы этим, со сверх-опытной мудростью, как он сам называл свое учение. Он никогда ничего не повторял, он все всегда преобразовывал и по-своему истолковывал. Ему важно было обратить духовный взгляд своих слушателей, и особенно молодого поколения, в сторону, куда никто никогда не смотрел, т.е. по ту сторону официальной науки, официальной философии. Для меня это было не ново. Студенты, изучавшие в университете Канта и Платона и хорошо знавшие греческий язык, прямо после первой же его лекции влюблялись в Бориса Николаевича. Надо сказать, что Белый не только страшно волновался, читая свои лекции, он просто впадал в священную пляску, как библейские пророки или мусульманские проповедники, у которых дух захватывало и корчилось все тело. Белый не выходил из себя, но каждый мускул его участвовал в его словах. Он мыслил не только головой и сердцем, но и всем своим физическим существом, все сосредоточивалось на его мысли. Я регулярно ходил слушать его лекции. И когда Борис Николаевич говорил: "Мы говорили о человеке, о человеке, а думали ли мы о челе века?" – выходил как будто каламбур, игра слов, но, неожиданно для себя, как бы отдаваясь какой-то стихии, он вдруг открывал, что у века есть свое чело, то, что Гегель называл духом времени, "Zeitgeist". Очень скоро я увлекся Белым сильнее и глубже, чем Блоком. Блок-поэт – глубокий человек. У него своеобразная судьба – судьба эта не только его, Александра Александровича Блока, это судьба всего поэтического творчества, от древних пифий до Гете, до Пушкина. Блок предназначен занять свое место в этой великой цепи, он – ее звено. Белого нельзя было вставить в эту великую цепь, с него начиналось что-то совсем новое. Таково было тогда мое впечатление, хотя сужу об этом только по своим воспоминаниям. Поразила меня, конечно, необыкновеннаая скромность Белого. Когда он возвращался к реальности, приходил в себя, после лекции, он смотрел заискивающе в глаза: "Ну, скажите мне правду, я много глупостей

наговорил, или есть что-нибудь в моих высказываниях?" Очевидно, состояние необыкновенного нервного возбуждения, охватывавшего его во время лекций, приводило его к полному упадку энергии и веры в самого себя. Когда он в подобном состоянии задавал мне свой вопрос, я, чтобы поддержать его, говорил: "Скажите, Борис Николаевич, то, о чем вы сегодня говорили, есть учение доктора Штейнера или ваше толкование?" – "Нет, как я могу его толковать? Я даже не знаю учения Штейнера, я еще в приготовительном классе". Это объясняло то, что в конце-концов он разошелся с доктором Штейнером. А когда я спросил, почему же он считает, что может чему-то научиться у Штейнера, он ответил: "Потому что мы все привыкли думать, что нервная система есть состояние физическое и только. Ничего сверхэмпирического. А я так думать не могу". Конечно, не говорить на эту тему с Разумником Васильевичем я не мог. И когда, однажды, мы ехали с ним поездом в Царское, где жил тогда Белый, я спросил Разумника: "А вы принимаете то, во что верит Борис Николаевич, чему он учит?" – "Что значит принимаю, – отвечал Разумник, – я не знаю, кто этот немецкий доктор Штейнер, у которого Боря считается учеником, но я знаю, что без антропософии истории русской литературы уже быть не может. Так же как в свое время необходимо было понимать и знать Гегеля, чтобы понять Бакунина и Грановского, даже Тургенева, очень скоро станет необходимым изучать антропософию, чтобы понять новую литературу, которая поведет свое начало от Белого. Смотрите, что такое Белый? Белый, помоему, это штука (так он сказал), это штука не меньше Толстого. И только мы, здесь в России, так запросто с ним разговариваем. Это наша русская черта". То, что Разумник, опытный старый писатель, пытается укрыться за ширмами какого-то гимназического выражения, убеждало меня, что он сам не осознавал до конца всей сути Белого. Я должен нащупать пульс у самого Бориса Николаевича. Первое, что меня поразило в Борисе Николаевиче, когда я стал как бы изучать его, это то, что он видел людей насквозь, даже не взглянув на человека. Наша Вольфила сделала его необыкновенно популярным. Многие надоедали ему. Может быть, среди неофициальных лиц он был самым популярным человеком в Петрограде. Его знали и образованные, интеллигентные люди, так же как и необразованные. Были, конечно, изысканные интеллигенты, профессора филосо-

фии, которые считали: "Какой же он философ, он – невежда, даже Канта не читал". Конечно, это было неверно. Белый был очень образован, и Канта читал еще в Московском университете, да и у себя, в доме своего отца, профессора Николая Бугаева. Но меня интересовало не то, что он знает или не знает. Меня интересовало что-то необычное, что проявилось в нем, особенное. И я прошу простить меня, что пользуюсь языком современной психологии, но у меня нет никакого сомнения, что Белый обладал сверхчувственной, экстрасенсорной перцепцией. Я таких людей и раньше встречал. Однажды я спросил Разумника: "Вы когда-нибудь спрашивали Бориса Николаевича, может ли он привести объективные данные в пользу того, что доктор Штейнер действительно проник в высший духовный мир?" – "Да, он рассказывал о том, что Штейнер посвящен в духовный мир двух мудрецов, живущих где-то в Гималаях. У Штейнера в кабинете висят под кисейными занавесками изображения этих двух мудрецов. Если откинуть занавес и посмотреть на эти изображения – можно лишиться рассудка. Тот, кто делал эти рисунки, обладал такими сверхэмпирическими способностями. Штейнер показать их никому не может. И только ему одному на одну секунду, на полсекунды можно отодвинуть уголок этой занавеси и проникнуться сверхэмпирическим чувством"

Шел двадцатый год. В Петербурге стояло очень ясное, яркое лето. Борис Николаевич вышел прогуляться вдоль Невы, а возвращается со вздутой щекой. "Борис Николаевич, что с вами?" – "У меня кривые мысли были о докторе Штейнере, так вот и рожа сделалась кривой". Это не шутка. Он глубоко верил в это. Кривые мысли – сомнения. Казалось бы очень наивно, суеверная деревенская баба могла бы сказать что-либо подобное. Однако же, в тот же вечер он все еще ходил обвязанный, со вздутой щекой, не похожий на самого себя.

Когда Белый находился в духовном равновесии, глаза его суживались и он походил на борзую. От природы он был как бы создан для очень быстрых и ловких движений. Что-то было в нем стремительное. Когда он начинал говорить о чем-то, он начинал как-то скучно, заикаясь и не находя слов. Постепенно он расходился, говорил быстрее, движения его становились напряженными, он как бы охотился за чем-то, за мыслями: "Понимаете, вдруг, навстречу мне является некто. Кто? Я не могу

поверить – я вижу настоящую суть". Это он говорит вам о конкретном человеке. Не хочу называть его имени. Но не о докторе Штейнере. "Мною овладевает что-то... Если бы я должен был что-либо делать, то не мог бы. Я только стал бы записывать". И он так и делал. Это происходило на ваших глазах, что-то расцветало против его воли, независимо от него. Он вдруг подавал готовую страничку из ненаписанного еще романа. Я пережил это с ним не один раз. Писал он тогда историю своего времени, названия еще не было. Потом он в Берлине работал над этим. "Петербург" был уже закончен. У меня сложилось тогда впечатление, что Белый не человек, а сосуд, содержащий духовную энергию, которая творит помимо его воли. Так как я занимался эстетикой, я знаю, что в такие моменты творчества, в таком состоянии, он абсолютно отвечал классическому понятию о сути гения Иммануила Канта: "Das Genie, wie die Natur schafft" – Гений творит как природа – бессознательно. Именно так природа творила через Белого. В нем проявлялись необыкновенные мысли, знания, точность и наблюдательность. Он не мог остановиться, даже когда вокруг нас была молодежь. Он никого не замечал. И вот появляется совершенное, законченное его творение. Стихия творчества воплотилась в нем! Не говоря уж о результатах его творчества, я так преклоняюсь перед ним! Я наблюдал Белого как чудо природы. Какое множество людей я перевидал в разных частях света, но такого второго я не встретил! Глядя назад, вспоминаю, как смеялись и называли декаденством его симфонии, которые печатались в Москве в его студенческие годы, как издевались даже над "Серебряным голубем". Сейчас уже никто не сомневается, что Джеймс Джойс положил начало синтезу словесного искусства с музыкой. Я только из справедливости хотел бы заметить, что в России был уже до Джойса такой писатель – Андрей Белый. Я считаю одним из самых значительных явлений в истории русской мысли тот факт, что Бердяев оценил все своеобразие Белого, Бердяев писал, что то, что кубисты делают красками, Андрей Белый делает словом. Он – кубизм в литературе. И это верно.

Замечу, что почерк Белого был очень характерен для него. Он писал крупными буквами, выражавшими его энтузиазм. Его энтузиазмом поддерживалось и наше философское содружество. Разумник был прав, наша ассоциация была для Белого.

а не Белый для нее. Когда Борис Николаевич уезжал, а он часто уезжал в Москву к матери, дух Блока падал, как паруса без ветра. Разумник говорил: "Вот приедет скоро Боря и все снова поправит".

Вспоминаю, когда мы несли гроб с телом Блока, а гроб был тяжелый, Борис Николаевич уже очень устал, он вдруг повернулся ко мне и сказал: "Вот видите, Саша был органический человек – дышать ему стало нечем, он задохся, а мы живем". Ему было стыдно, что он продолжает жить. Мне это запомнилось на всю жизнь. После смерти Блока Белый заповедывал всем записывать каждую мелочь, каждое слово, связанное со смертью Блока: "Эти записки будут изучать через сто лет, так же как документы о смерти Пушкина. То что Блок задохся – событие не только русской литературы, это всемирное историческое событие". К сожалению, я не последовал завету Белого и не записывал ничего, но я знаю ряд людей, относившихся холодно к декадентам, но записывающих каждое слово, относящееся к смерти Блока.

Например, после выхода первого издания стихов Блока "О Прекрасной Даме", один мой знакомый написал в "Русском богатстве" о том, что стыдно человеку портить бумагу такими совершенно бессмысленными виршами. После смерти Блока, увидев меня, он сказал: "Слушайте, ведь, очевидно, Блок действительно был великим поэтом. Может, он станет таким же великим, как Пушкин!" Так что неожиданно декадент Блок был признан старым реалистом и позитивистом из "Русского богатства". Кончина Блока пугала, я не знаю лучшего слова, напугала Белого настолько, что он почувствовал, что стыдно жить после его смерти: либо надо задохнуться, так же как и он, либо искать какого-то облегчения за пределами России. Белый решил, тем более, что перед смертью и Блок хлопотал о выезде в Финляндию, попытаться получить в Москве заграничный паспорт. До отъезда Белого мы сочли необходимым устроить специальное собрание Вольфилы, посвященное памяти Блока, главным образом для родственников и близких покойного. Такое собрание состоялось, оно состоялось с участием Белого. Мать покойного, Александра Андреевна, присутствовала тоже, как и его тетя, Марья Андреевна, которую я называл важной, так как она оберегала и верила в талант Саши, когда тот был еще совсем маленьким. Она осталась незамужней и бы-

ла для Блока второй матерью. Присутствовала, конечно, формально считавшаяся женой Блока, Любовь Дмитриевна, урожденная Менделеева, и ее брат Менделеев. Были и другие, увековеченные в стихах Блока, например Любовь Александровна Дельмас, актриса. Настроение собравшихся было такое, как если бы мы все еще были при его отпевании в церкви. Говорить было трудно.

Белый начал с того, что провозгласил Блока национальным поэтом России, что, кстати сказать, он сделал еще года за четыре до его смерти. В подробном анализе он показал, что Блок – настоящий национальный поэт России. Что эволюция его поэзии выявляется с каждым новым томом его стихов, начиная с "Прекрасной Дамы", где преобладает голубой, небесный, лазурный цвета, через "Снежную Маску" – снег белый, и так до конца. Всякий элемент, входящий в состав стихотворений Блока, органически рождается один из другого, что в русской поэзии встречается разве что только у Пушкина. Белый чувствовал, конечно, как русская поэзия после Блока осиротела. Слушая Белого, я чувствовал, что не только поэзия осиротела, осиротел и он – Белый. Он остался поэтом, но осиротел и потерял брата, старшего брата. Белый, несмотря на свой широкий диапазон творчества и мысли, считал себя в литературе как бы на вторых ролях по отношению к Блоку. И как это ни странно, я почувствовал жалость не только к Белому – осиротевшему поэту, но и к русской поэзии. Она потеряла Блока! А теперь ей предстоит угроза потери Белого! Как жаль, вчуже жаль! По просьбе матери и тети Блока я тоже сказал несколько слов. Александра Андреевна попросила: "Саша вас так любил, скажите несколько слов". – "Да, как Кирилов и Шатов – мы любили друг друга". – "Да, да, я знаю, он мне рассказывал, как судьба свела вас на одной койке". Очевидно, у них дома этот случай вспоминался как нечто символическое. Все это дало мне храбрость, и с трудом сдерживая слезы, я начал: "Поэт умер, да здравствует поэт!" Конечно, я имел в виду Блока и Белого. Борис Николаевич это понял. Он инстинктивно, интуитивно все понимал, понял сложность этого собрания, моего индивидуального положения, хоть роль моя тут была и не значительной. Вдруг, одним прыжком, Белый очутился около меня и крепко поцеловал в обе щеки. Со стороны можно было бы толковать это как благодарность за признание. Но кто я такой, чтобы ко-

роновать его на поэтическое царство?! Белый понимал такие вещи, он почувствовал мое простое человеческое соболезнование по поводу его потери, моей потери, и не только нашей, но потери для всей русской литературы...

Было ясно, что наша задача, задача Вольфилы, помочь Белому выбраться заграницу. Принято было решение, что Борис Николаевич едет в Москву и сделает последнее усилие получить паспорт. Если это не удастся, он возвратится в Питер и будет жить у Разумника. И мы будем подготовлять нелегальный переход через границу с ним вдвоем.

Покуда Борис Николаевич занят своими хлопотами в Москве, будет уместно более подробно остановиться на итогах его работы с нами, членами Вольной философской ассоциации, еще до кончины Александра Блока. Я уже упоминал, что наша работа проводилась в соответствии с уставом. В центре – совет ассоциации, который должен был как бы согласовывать всю нашу работу и направлять ее в определенное русло. Направление было – не отставая от жизни, но считаясь с трудностями, созданными Октябрьской революцией, – в частности, с отсутствием возможности выражения свободы мысли в печати и устно, – найти способ обсуждать и углублять важнейшие проблемы народной жизни в пределах возможного. Мало кто из моих товарищей так хорошо знал немецкую политическую литературу, как я. И когда я процитировал Бисмарка: "Politik ist die Kunst des Möglichen" (Политика – искусство возможного), Разумник Васильевич воскликнул: "Ох, уж эти немцы ваши", но, тем не менее, формулу эту приняли, и она пригодилась нам отлично. В нашем тесном кругу мы высказывались вполне свободно. Мейерхольд, ставший членом коммунистической партии, не постеснялся назвать свой партийный билет желтым билетом, как если бы он, вступив в партию, продался за деньги. Петров-Водкин не скрывал даже, что до сих пор не может примириться с крушением монархии. Я не буду говорить о Блоке, потому что он создал себе немножко загадочную платформу в политическом смысле своей поэмой "Двенадцать". Тогда мы еще не знали о его записи об отношении публики к поэме "Двенадцать". Его считали предателем потому, что кому-кому, а ему было грех отождествлять себя с исконной пугачевщиной, как в хороших интеллигентских кругах окрестили большевизм. Пугачевщину можно простить, но нельзя стать чем-то вроде ново-

го воплощения атамана Хлопуши, так считали образованные интеллигенты. Сам Блок считал, что это произведение не имеет никакого политического характера, и в своей записке "Шум слитный" писал, что "Двенадцать" создались под музыку, непрерывный протяжный звук, который занимал все его внимание и который он толковал как слуховое восприятие от крушения старого мира. Вот под этот аккомпанимент и написалась поэма "Двенадцать" совершенно неожиданно для него самого. И если бы оказалась в этом произведении хоть капля политики, то от него не осталось бы ничего, оно расплылось бы как грязная лужа. Но люди в это революционное время, в 18-м – 19-м годах, не могли воспринимать ничего вне политики. Поэтому Блок был непроницаем для политических тем, и сам говорил, что вдаваться в политику, значит пойти в сети к людям вроде Зинаиды Николаевны Гиппиус. О ней, как и о Дмитрии Сергеевиче Мережковском, он говорил в то время, как чуть ли не о совратителях. Христианство Мережковских казалось ему хуже всякой большевистской политики. В большевизме он усматривал правду, хоть и искривленную правду, но устремленную к чему-то реальному. У Мережковских – одни "змеиные слова". Это слово "змеиные" я слышал от него самого. Видимо, впечатление это создавалось под влиянием выбора в одежде Мережковскими особых красок, напоминающих ему расцветку библейской змеи. Однако, как я уже сказал, Блок был совершенным исключением в политических взглядах.

Уже с самых первых заседаний, особенно после третьего, посвященного пятидесятилетию со дня смерти Герцена, мы пытались так или иначе показать нашим слушателям – а на собрания являлись не сотни, а больше людей, – куда идет русская революция. Было ясно, что гражданская война задерживает революцию. И главной целью революции было не победить в гражданской войне, а примирить духовную революцию в человечестве с политической на улицах и площадях. С первых же публичных наших собраний выяснилось, что существует группа мыслящих людей, творящих, заслуживающих даже признание, которые считали возможным, не будучи врагами революции – контрреволюционерами, тем не менее критиковать происходящее. На первый взгляд могло показаться, что наша группа хочет примирения с правительством, но это было далеко не так. Такие темы, как "Герцен", показывали ясно, что для нас суще-

ствуют принципы, где никакое примиренчество не может даже обсуждаться, даже в нашем тесном кругу. Это всем нам было ясно. Поэтому и темы собраний подбирались соответственно. Мы хотели довести до сведения публики, что какая бы философия ни господствовала в данный момент, религиозная или нерелигиозная, она совершенно не обязательно должна быть диалектическим материализмом, марксизмом. Поэтому анализ марксизма, критика отдельных положений его входили в задачи наших публичных собраний, которые мы формально называли "открытыми заседаниями" Вольной философской ассоциации. Так как критиковать марксизм прямо было невозможно, (это ставило бы под угрозу самое существование нашей ассоциации), то мы прибегали к известным хитростям. Например, применяясь к обстоятельствам, пользуясь заметными хронологическими датами, выбирали такие темы, как "Значение личности в истории", по поводу столетия со дня смерти Наполеона. Интеллигенты-марксисты необыкновенно интересовались такими темами. Предполагалось, что мы говорим своим, как бы эзоповским, языком. Впрочем, в России такой эзоповский язык употреблялся уже в далекие царские времена. Наши слушатели понимали, что если идет речь о наполеоновском времени 1820-х годов, то это будет в основном не о Наполеоне, а может быть о монархии, может о диктатуре, о войне и мире, а может быть о Льве Толстом или самом марксизме. Фактически так это и было.

Я, конечно, не смогу остановиться на всех наших открытых заседаниях, выберу только несколько изюминок. Приближалось 7-ое ноября 1920 года – годовщина Октябрьской революции. В нашем совете начались продолжительные прения и рассуждения. Так как кружок был закрытый, и можно было высказываться откровенно, то возникли споры – праздновать или не праздновать годовщину Октября с правительством. Эрберг, как и следовало ожидать, говорил: "Почему же нет? Разве мы против Октябрьской революции? Разве Вольфила не есть в каком-то смысле плод Октябрьской революции?!" – "Нет, – возражал Петров-Водкин, – я лучше обращусь в басурманы, чем пойду на празднование этой поганой Октябрьской революции". Разумник Васильевич, закуривая трубку, подтверждал: "Да, вопрос трудный, головоломка!"У него были сомнения. Ему не хотелось создавать впечатления, что мы просто подчи-

няемся правительству. С другой стороны, ему было боязно. Он, как над неокрепшим еще младенцем, дрожал над колыбелью Вольфилы. Он столько связывал с нею. Бориса Николаевича в это время в Питере не было, он был в Москве, и Разумник никак не мог решиться подвергнуть себя и всех нас риску. На помощь пришло очень странное стечение обстоятельств. Нам пришла на ум дата, когда Флорентийская академия времен Возрождения по традиции каждый год праздновала день рождения Платона. Оказалось, дата эта приходится на 7-ое ноября. И мы единогласно решили: 7-го ноября у нас, конечно, будет открытое заседание, но посвященное дню рождения Платона. Столичный народ понимал эзоповский язык лучше, может быть, своего собственного русского. Как только появилось сообщение, что "крушители" будут отмечать день рождения Платона, все поняли, что у нас есть нечто свое сказать об Октябрьской революции. Ну, конечно, было. Но, как говорится, надо было соблюдать видимость. Надо было приготовить ответ на случай, если бы нас запросили, а почему мы выбрали 7-ое ноября? В правительственных кругах, на партийных верхах никто не слышал о Флорентийской академии. Конечно, знали кое-что о Платоне, будучи уверенными, что "может собственных Платонов Российская земля рождать". А древний Платон никому особенно не нужен, тема реакционная, буржуазная, контрреволюционная. Посему решено было обратиться к кому-либо из наших известных профессоров-историков с предложением прочесть доклад о Флорентийской академии, а если он захочет, провести параллель между нею и нашей Философской ассоциацией. Будет оправдание. Мы – как бы продолжение Флорентийской академии, по старой традиции обязаны отмечать и праздновать годовщину рождения Платона. Ну, а если эта дата совпала с 7-м ноября, то это счастливое совпадение. Обратились мы к Льву Платоновичу Карсавину.

Лев Платонович Карсавин, ставший впоследствии, особенно в эмиграции, очень дорогим и близким мне другом, появился тогда на моем горизонте впервые. Своим обликом он напоминал Владимира Соловьева: та же шевелюра, та же бородка. Он был последним из выборных ректоров Петербургского университета, (после него этой университетской традиции уже не было), историк, очень хороший знаток отцов церкви, автор ряда признанных трудов по истории средних веков, рабо-

тал тогда над небольшой монографией о Джордано Бруно. Лев Платонович хорошо был известен в правительственых кругах как брат Тамары Платоновны Карсавиной – гордости русского балета. Впоследствии, когда его арестовали и следователь Чека на Гороховой 2 спросил его, не брат ли он первой балерины в мире, он ответил: "Да, я брат Карсавиной, но вы ошибаетесь, первая балерина в мире – Павлова, а Карсавина только вторая". Он любил иногда ставить в тупик начальство... Одним словом, когда ему предложили прочитать лекцию о Флорентийской академии, он сказал: "Я знаю о ней кое-что, а вот о вашей академии я ничего не знаю. Так не посажу ли я вас в калошу, если буду делать вам комплименты, сравнивая вас с Флорентийской академией и говоря, что вы воскрешаете ее традиции? Зато за Платона я ручаюсь, в обиде не останетесь". Об этом разговоре я слышал от других, а самого Льва Платоновича увидел только на трибуне 7-го ноября.

Речь, произнесенная Львом Платоновичем была поистине классической. К сожалению, мы ничего тогда не стенографировали и, конечно, не записывали на пленки. И я позволю себе сказать, что если бы Лев Платонович произнес эту речь в честь Платона во Флоренции 15-16 веков, выступая против насилия и тирании, пользуясь цитатами из Платона и других итальянских мыслителей, то эта речь была бы принята во Флоренции эпохи Возрождения с таким же глубоким пониманием, как она была принята нашими слушателями в Географическом обществе в Чернышевом переулке в Петрограде. Кончая, Карсавин сказал: "К сожалению, я чувствую себя как дома во Флоренции времен Ренессанса, чего не могу утверждать о Петербурге нашего времени. Поэтому и не могу определенно сказать, достойна ли ваша ассоциация считать себя продолжательницей Флорентийской академии. Впечатление же у меня такое, что воздух насыщен теми же идеями". Можно было понять это как насмешку, но с другой стороны, и как утверждение, как благословение нам. Доходили ли наши идеи непосредственно до народа – трудно сказать, так как официальные газеты (других уже не было в то время) либо вообще не упоминали об этом, либо извращали факты. Но мы накапливали капитал.

Такие темы, как утопия, утопический социализм, большевизм и их взаимоотношение должны были рассматриваться как в заголовке сочинения Энгельса "От утопического к науч-

ному социализму". Сказать, что большевизм есть движение от научного к утопическому социализму было невозможно – дерзко было бы. Но трехсотлетие со дня появления одной из первых утопий "La Città del Sole" философа Томмазо Кампанеллы отметить открытым заседанием – сам Бог велел. И что же произошло? Было это в 20-м году. Мы уже существовали, вышли из пеленок и делали уже первые робкие шаги. Как бы узаконили в сознании властей существование такой необычной философской группы. Что из того, что Луначарский назвал нас филантропами? Филантропы так филантропы. Иначе о нас уж и не говорили. А мы даже надеялись и предполагали, что в виде исключения можно будет даже бумагу на афиши получить у Кристи, заместителя Луначарского. Бакрылов, Владимир Васильевич, который ни перед какими препятствиями не останавливался, обратился к Кристи: "У нас очень важное дело, нам нужно 500 афиш, отпустите ордер на бумагу и разрешение печататься в типографии". – "А почему вам?" – "Так ведь с тех пор как появилась идея о Солнечном граде (La Città del Sole), где мы-то теперь живем? Мы теперь живем в тени Солнечного града". Кристи, очень порядочный и добродушный человек, подписал ордер. Появились афиши – ВОЛЬНАЯ ФИЛОСОФСКАЯ АССОЦИАЦИЯ УСТРАИВАЕТ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ТРЕХСОТЛЕТИЮ ПОЯВЛЕНИЯ "СОЛНЕЧНОГО ГРАДА" – УТОПИИ Т.КАМПАНЕЛЛЫ. Бакрылов обеспечил большой зал в Доме Искусств. Пригласили Алексея Максимовича Горького прочитать лекцию. И до чего сильна власть слов и лозунгов: "Утопия, Трехсотлетие, Ренессанс, Солнечный град". Сначала Горький и слушать не хотел о том, чтобы присоединиться, утверждая, что мы пустые люди, что теперь только марксизм следует изучать, но в конце-концов не удержался и согласился. Вероятно, его привлекла оригинальная идея использовать Платона и Кампанеллу в борьбе за свободу мысли. Однако, мы не предусмотрели самого главного – отношения к нам петербургской публики. Несколько сот афиш произвели совершенно необыкновенное действие. Когда я, по обыкновению, вышел из своей квартиры на Васильевском и очутился на углу Невского, я увидел нечто необычное – народ валом валил в Дом Искусств на чествование "Солнечного града" Кампанеллы. Явился и Горький. Но когда он подошел к входу, там толпилось такое множество народа, что он не мог подняться по лестнице, да

и люди на лестнице не могли пробраться в зал. Откуда-то появился вездесущий Бакрылов и сказал: ”Тут недостаточно места. Я уже обеспечил большой зал Зимнего дворца. И уже вывешиваю афиши”. А когда Горький пожаловался, что для его здоровья нехорошо быть в такой давке, Бакрылов заявил: ”Ничего, Алексей Максимович, будем в большом зале Зимнего дворца!” – ”И как это вы столько народа набрали, – сказал Горький прямо с завистью, – может быть, я вообще тут и лишний?” Он почувствовал себя здесь лишним, так как не выбрал свободную мысль, как сделали это мы, маленькая группа, и даже не эмигрировал, а просто пошел по линии наименьшего сопротивления, примкнув к Владимиру Ильичу. Они были приятелями. Но все-таки, никому иному, а Горькому стало завидно, что есть смелые люди, которые не плывут по течению, и все ж не стоят на месте. Большой зал Зимнего дворца не заполнился, ведь он мог вместить более 10 тысяч человек. Но было несколько тысяч человек, и была трибуна, с которой говорили. Появился Виктор Борисович Шкловский. Он держался в стороне по особым литературно-историческим причинам. Шкловский, человек остроумный, был склонен иронизировать, но на совсем иной лад, чем, скажем, Карсавин. Когда перед нами на трибуне появился Пунин, теоретик живописи и художник, приглашенный Эрбергом, ценившим его эстетические взгляды, Шкловский сказал мне: ”Смотрите, смотрите, даже коммунисты у вас стали выступать”. – ”С каких это пор Пунин стал коммунистом? Я знал его всегда как свободного критика”. – ”Ах, вы не знаете, он уже обрезался”. Среди нас в то время был такой термин, который указывал, что человек перешел в басурманскую веру. Сам Шкловский, впрочем, не был евреем. Правда, отец его был крещеным евреем, священником, а мать – чисто русская.

Одним словом, заседание в честь Кампанеллы посетило гораздо более тысячи петербуржцев. Само посещение такого собрания было настоящим событием. В воскресенье не было ни трамваев, ни других способов сообщения. Нужно было шагать пешком, иногда пять-шесть верст в один конец. А от Дома Искусств до Зимнего дворца еще, по крайней мере, 20 минут ходьбы. И закусить негде, и с собой ничего нет. Это было настоящее паломничество, а не посещение собрания. Такие энтузиасты были во всех слоях общества. Особенно, конечно, было

много интеллигенции: учителей, студентов и студенток, но и простых рабочих от станка было достаточно. Революция, очевидно, пробудила в народе новые духовные силы, которые искали выхода, выражения. Вот мы и встретили их как бы на полпути.

Прибавлю к этому еще один пример, чтобы дать представление об отношении петербуржцев к нашей группе. Это касается религиозного вопроса. Не знаю, известен ли тот факт, что в православной церкви в это время тоже шло брожение. Появилась так называемая "Живая церковь". Намечалось стремление обновить церковь, вывести ее за пределы официальных традиций. Участников "Живой церкви" я лично не знал близко. Главой ее был отец Александр Введенский. Отношение к ним было примерно таким же, как у средней интеллигенции к нашей группе. Это была церковь, которую не преследовали, которая не несла огромных потерь, в которой не проявлялось большого духовного героизма, как в случае нашего Вениамина Петроградского. Эти люди говорили, что церковь надо обновить, что она должна считаться и приспосабливаться к условиям жизни. Однако, люди, заинтересованные в судьбе церкви, заявляли: "Не говорите об условиях жизни, просто скажите, что желаете примазаться к большевистской партии и продать христианство за чечевичную похлебку".

Не будучи в партии, мы, конечно, принимали активное участие в жизни современной России. Мы были живыми людьми. В конце концов, все мы выросли на триединой формуле: "Православие, самодержавие, народность". Самодержавие пало, но на его месте, как говорил Блок, возникло новое самодержавие. А в народе уже давно поговаривали, что Ленин и Троцкий правят народом как два царя. Тем не менее, это было не то самодержавие. Но мы, однако, интересовались и этим, новым для нас явлением. Что касается народности, то Блок считал, что его "Прекрасная Дама" и есть та самая истинная русская народность, которой он всегда служил и продолжает служить. Когда на наших открытых заседаниях вдруг проявился необычайный энтузиазм по поводу свободы мысли, жертвенности и паломнических шествий туда, где раздается свободный голос, мы, каждый по-своему, были уверены, что народность жива, не исчезла и не исчезнет. Помню, в нашей первой беседе с Блоком я высказал огорчение по поводу высадки иностранно-

го десанта в Архангельске. Блок тогда очень спокойно заметил: "Ничего, посидят посидят и снова уплывут". В этом замечании отразилось общее мнение: "Народность русская вне опасности".

Ну, а что же с Православием? Мы не могли не откликнуться на то, что происходило в Православной церкви. После долгого, почти всенощного бдения в совете было решено, что вопрос этот необходимо вынести на всенародное обсуждение. Снова надо было найти подходящую тему, чтобы в административных кругах не заподозрили нас в антиправительственной деятельности. Нужно было действовать не грубо, а исподволь, средствами чисто духовными, так же как обсуждение утопии Кампанеллы "Солнечный град" мы прикрыли празднованием 7-го Ноября. Нужно было выбрать историческую тему, которую можно было бы обсуждать и академически, и в живом отношении к тому, что происходило в религиозной жизни современной России, в особенности же в Православной церкви. Была избрана тема: "Иудейство и Христианство". Иудейство представлял я, а христианство – Белый, как он понимал его в свете антропософского учения. Должен заметить, что после революции это было первое открытое публичное обсуждение религиозных догматов. Тут проявились и миссионерская тенденция Православной церкви по отношению к иноверцам, и отрицательное отношение к церкви вообще, как мракобесию и суеверию, и необычайно глубокая вера в то, что церковь непобедима, потому что она "не от мира сего", и толстовская точка зрения – христианский рационализм с эллинской подкладкой, не говоря уже о чисто мистическом отношении Белого к христианству. Выявилась здесь и официальная точка зрения на ветхозаветную еврейскую традицию как на засохшую смоковницу. Но суть не в том, о чем мы говорили тогда, важно было то, что Петров-Водкин открыто заявил о своем очень глубоко укоренившемся антиеврейском настроении, а Разумник Васильевич предпочел молчать, как это часто с ним случалось. Самое же интересное было то, что совершенно неожиданно для нас, вскоре после нашего собрания, в России стал распространяться слух, что наступили апокалиптические времена – время второго пришествия. Говорили, что в Питере иудеи и христиане пытаются обратить друг друга в свою веру. А это, как известно, должно предвещать, по предсказанию апостола Павла, – конец

мира. Эти невероятные слухи о последних временах и сроках особенно широко распространились среди донского казачества. Разумник Васильевич получил очень подробное письмо от своего старого приятеля из Ростова-на Дону, который сообщал, что о деятельности Вольфилы в Петрограде говорят и знают, а главное, у них считают открытое собрание, посвященное христианству и иудейству, настоящим переворотом в религиозной жизни страны. И недаром же он, Иванов-Разумник, является одним из инициаторов и организаторов этого общества!

Приближалась осень 1921-го года – столетие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Блока уже не было в живых. Нетрудно представить себе, что Достоевский значил для Блока, однако, трудно предположить, что бы он сказал о Достоевском, как бы выразил свое отношение к нему, если бы присутствовал на собраниях, посвященных памяти Достоевского, которые мы задумали организовать очень широко. Мы решили, ни больше ни меньше, в течение целого месяца ежедневно проводить не только дневные открытые заседания, начинавшиеся обычно часа в три и затягивавшиеся до поздних сумерек, но и вечерние. Было прочитано, не берусь точно сказать, больше двадцати докладов. Пригласили читать лекцию Волынского, автора первой монографии о Достоевском. Доклад на тему "Толстой и Достоевский" читал Питирим Александрович Сорокин, правый эсер, известный тем, что Ленин спас его жизнь. Его собирались расстрелять, но об этом узнал Ленин и написал статью в "Правде" о том, как надо ценить и хранить таких людей, как Сорокин. Впоследствии Питирим Сорокин стал выдающимся социологом. Питирим Александрович, размахивая в воздухе указкой, как будто бы сам Толстой бил ею Достоевского, выпустил Льва Толстого, чтобы он проглотил Достоевского с кожей и костями. Один из участников обсуждения его доклада сказал ему: "Если вы хотите противопоставить Достоевского – хищного зверя – Толстому, доброму и смиренному схимнику, то не забудьте, что Толстой не Ягненок Толстой, а Лев Толстой". Указка опустилась, и Сорокин заметил, что слишком разъярился. Говорил, конечно, и Разумник Васильевич, как бы извиняясь, что Достоевский – это не Толстой. Почему? Да потому, что Достоевский отошел от линии Пушкина, а Толстой держался ее. А что такое линия Пушкина? Это ясность, простота не только мысли, но и чувства, абсолют-

ный полюс, на который должна ориентироваться литература. Александр Сергеевич Пушкин величайший, непревзойденный – полнейшее преклонение! Достоевский же казался ему неочищенной водкой. Крепкий напиток, но с примесью, сложный нераспутанный клубок! Может быть он и гениален, но в нем есть отказ от Пушкина и от пушкинских заветов. Известный специалист по Достоевскому Долинин прочитал специальный доклад об исповеди Ставрогина. Именно в это время обнаружилось, что по настоянию Каткова эта глава не была включена в роман "Бесы". Достоевский, как известно, написал письмо Каткову, в котором утверждал, что роман не может быть напечатан без этой главы, что ему придется переделывать всю вторую половину романа. Мнение же Долинина было: роман следует печатать с этой главой. Он даже брался печатать роман в неизмененном виде.

Надо сказать, что когда в совете заговорили о чествовании Достоевского, я попросил Разумника Васильевича дать мне возможность прочесть доклад на открытом собрании на тему "Достоевский как философ". – "Боюсь, что вы сделаете из него какого-нибудь кантианца!" – испугался Разумник. "Нет, кантианцем я Достоевского не сделаю, а вот последователем Платона – постараюсь". Разумник Васильевич доверял мне больше, чем я того заслуживал: "Ну напишите, посмотрим". Через три года, уже в Берлине, я узнал, что Бердяев написал книгу о Достоевском. Когда мы встретились, он дал мне экземпляр и заметил: "У нас с вами очень много общего. То, что вы сказали о связи Достоевского с Платоном, – очень важно. Я с этим согласен". Но в то время я был первым, кто в сердце своем провозгласил Достоевского национальным русским философом. Может быть, это была дерзость, может быть, неверно!? Но когда я думал, неужели за последнее столетие в России не было ни одного выдающегося философа европейского уровня, я не мог припомнить ни одного, кроме Достоевского, заслуживающего быть названным национальным русским философом. Толстой как мыслитель был принят на Западе. Но Толстой как мыслитель – не оригинален. Все мы знаем, что в "Анне Карениной" косвенно отражено влияние философии Шопенгауэра. Я никак не могу согласиться с тем, что Лев Толстой – национальный философ. Само слово философия не подходит к нему. Ну, мудрец! Платон Каратаев у него такой же мудрец,

как и он сам. И конечно же, Лев Николаевич недаром назвал его Платоном! Это и есть тот Платон, которого может "Российская земля рождать". Даже та девочка в Филях, которая смотрит на дедушку Кутузова, больше философ, чем сам Лев Толстой. А Достоевский был наказан тем, что захотел создать систему, захотел понять все в единстве. Это была моя мысль, моя попытка представить Достоевского как единое целое в художественных его произведениях и политико-публицистических. Эта попытка была не напрасной. Для доклада мне было предоставлено максимум два часа. Но когда после двух часов непрерывного чтения я предложил прервать свой доклад, я встретил единодушный призыв продолжать вторую часть, что я и сделал. Впечатление от доклада сохранились в памяти моей на всю жизнь. Да и теперь вспоминаю об этом не то что с самодовольством, но с сознанием исполненного долга. Я обратил внимание слушателей на такой затерявшийся в литературе рассказ Достоевского, как "Сон смешного человека", и высказал гипотезу об автобиографическом значении этого "смешного человека". Герой рассказа после мнимой своей смерти летит в мировом пространстве и видит себя приближающимся к планете, напоминающей ему покинутую землю. Он говорит: "Как может быть подобное повторение и для чего? Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрелил в сердце мое, погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю..." Но иной земли и нет. Природа не знает повторений. Герой Достоевского совершил лишь круг во времени и вернулся в прошлое той же земли, воскресшее в мнимой его смерти. Потому что — "Non bis in idem". Это и есть основное положение философии Достоевского. Все неповторимо, неповторим каждый человеческий миг. И землю он любит как одушевленное существо. "Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби" — эти заветы старца Зосимы заимствованы им из учения самого Достоевского, потому что платоновская идея вселенной, идея земли, преображение поверхности ее в человекоподобный лик — есть неотъемлемая сторона метафизики Достоевского. Связь этого учения с целым системы Достоевского ясно раскрывается в "Сне смешного человека".

Было много других докладов о Достоевском, но они не заинтересовали широкую публику. Замечу, что кроме наших

открытых собраний в честь столетия со дня рождения Достоевского во всем образованном Петербурге не состоялось ни одного собрания, до такой степени принято было в то время считать Достоевского реакционером, автором антиреволюционного "пасквиля" "Бесы" или, в лучшем случае, по Михайловскому – "жестоким талантом". Вполне возможно, что благодаря нашим усилиям Достоевский получил право гражданства в советской России. В этом есть некая заслуга открытых заседаний нашей Вольфилы. Среди докладов, прочитанных у нас тогда, многие казались нам очень ценными, глубокими, хотя и отвергающими религиозные тенденции Федора Михайловича. И конечно, наш Разумник Васильевич, организатор, деятель, издатель, надеялся собрать все эти лекции и издать их отдельным томом, при благосклонном содействии Кристи, снабжавшего нас бумагой. Этого не случилось по многим причинам: главным образом потому, что в правительственных кругах намечалось отрицательное отношение к произведениям Достоевского. Сама идея посвятить памяти Достоевского целый месяц непрерывного чтения докладов вызвала у Кристи большие сомнения. Он был очень дружен с нами, хотя официально и не состоял в нашем совете. Его колебания, я думаю, заключались в том, что он не решался содействовать нам без разрешения Луначарского. Луначарский одобрит – хорошо, не одобрит – невозможно. Не лишним будет отметить тот факт, что Луначарский всегда был склонен содействовать подобным идеям и, конечно, ничего не имел против чествования Достоевского, но мы имели возможность убедиться на опыте, что нарком просвещения не всесилен, что в Наркомпросе над ним стоит как бы наблюдающий комиссар по делам высшего образования.

Эпизод этот происходил почти за год до месяца Достоевского. Еще в 1911-ом году, когда благодаря покровительству Брюсова я был послан на международный философский конгресс в Болонью, мне пришла в голову мысль о том, как объяснить, что в России никогда не проходили философские конгрессы? Эта мысль возникла у меня снова осенью 1920-го года. В петербургские сумерки на заседании совета мы решили, что пришла пора вынести на международную трибуну нашу веру в свободу мысли, не терпящую никаких ограничений, но не против правительства, а в согласии с ним, даже с его непосредственным участием. Созвать съезд, на котором мы имели бы воз-

можность обсудить и марксизм как философскую проблему. Моя инициатива пришлась по душе товарищам по работе. Только Разумник Васильевич выразил сомнение: "Ведь может получиться так же, как с нашей Вольфилой, когда взяли и просто вычеркнули слово "академия". А тут возьмут и прибавят. Получится что-то вроде – Первого международного съезда по философии МАРКСИЗМА. Что тогда вы будете делать? Однако, попробуйте, попробуйте". Все это было не так-то просто, как казалось на первый взгляд. Получить билет на проезд из Питера в Москву было почти невозможно, но я получил и явился в кабинет Луначарского. Он знал о нашей группе и признавал ее. Особенно же преклонялся перед талантом Белого, Блока и даже Иванова-Разумника. Луначарский был обижен на нас немного за то, что мы не приглашаем его на доклады. Но мы считали, что такое смешение с большевиками будет несомненно нам во вред. Будут говорить, что мы с большевиками, что мы отделение партии под видом вольности, что Луначарский недаром поддерживает политику доброжелательного отношения к нам Кристи. Луначарский, хотя и мало знал обо мне, но был настолько начитанным, что был даже знаком с некоторыми моими статьями. Я доложил ему очень коротко о наших планах и, желая подкупить его, сказал, что с точки зрения революции будет очень важно, что Международный философский съезд впервые соберется в России сразу же после революции. Луначарский сидел в кресле, напротив него на стуле сидел я, а за спиной Луначарского стоял безмолвный молодой человек, очень статный, самоуверенный, в военном кителе, сумрачный. Стоял он не как лакей, а как строгий наблюдатель и командир. "Однако ж, какая предполагается программа? Марксистов вы допустите?" – "Само собой, как же, – ответил я Луначарскому, – есть очень интересные мыслители-марксисты". Я упомянул о Лукаче, которого хорошо лично знал. Он был старше меня, сын богатого банкира, миллионера, он тогда еще не был большевиком. Познакомились мы с ним в Гейдельберге. И хотя женат он был на украинке Елене Андреевне Грабенко, порусски ни слова не говорил. Когда я назвал Лукача как представителя марксизма, молодой человек за спиной Луначарского нахмурился. Я не понимал почему. А Луначарский сказал: "Но ведь есть и другие". – "Конечно, а вы сами, Анатолий Васильевич?" Он как будто только и ждал этого предложения:

”Конечно, я не откажусь. А что же насчет иностранцев?” Я назвал Бертрана Рассела. ”Да, но он как-то неблагожелательно относится к советской России”. А когда я упоминул об Альберте Эйнштейне, Луначарский сказал: ”Знаете, он очень сомнительный человек. Я не говорю о нем как ученом. Сначала он был всецело за социалистическую революцию, а вот теперь отрицательно отзывается о социалистической России – шатается!” – ”Я не знаю об отношении Эйнштейна к России, но разве это может быть препятствием тому, чтобы пригласить его прочесть доклад о теории относительности и ее мировом значении?” – ”О, нет, конечно, но мы должны быть уверены, что он останется в рамках своей науки”. Я заметил, что это детали, которые можно обсудить в дальнейшем, а главное – это принцип: мнение известных иностранцев, интересующихся опытом революционной России, должно быть принято во внимание. Вероятно, придется с каждым из приглашенных лично переговорить. ”Да, да, я был бы непрочь поговорить даже с Эйнштейном. Это был бы замечательный повод объяснить ему суть нашей революции”. И мы очень дружески заговорили о том и о сем, об издательских делах, в частности, как вдруг, совершенно неожиданно, молодой человек в военной форме очень сумрачно заявил: ”Но, товарищ Луначарский, вопрос, который вы сейчас обсуждаете, решаться вами не может. Это в ведении товарища Покровского”. Приват-доцент исторического факультета при Московском университете Покровский еще до революции был марксистом, а в настоящее время заведовал ГУС-ом (Государственный Ученый Совет). Луначарский затрепетал. Ему напомнили, что он не свободен, что руки у него связаны. ”Конечно, конечно, товарищ Покровский несомненно должен быть уведомлен. И я думаю, что он, так же, как и я, ничего не будет иметь против съезда. Тем более, что он получит возможность как историк-марксист подробно высказать свои взгляды”, – сказал Луначарский, желая, очевидно, подкупить своего ”комиссара”. А я добавил, что, несомненно, Покровский будет одним из докладчиков. ”В таком случае, – обратился Луначарский к молодому человеку, назвав его по имени, – позвоните, пожалуйста, Михаилу Николаевичу Покровскому и выясните, когда он сможет принять Штейнберга?” Покровский не мог принять меня на следующий день, а попросил меня прийти на заседание Совета в пятницу. В назначенный день и час я явил-

ся к Покровскому и был встречен совсем не так любезно и мило, как у гостеприимного Анатолия Васильевича, который даже чаем и сахаром меня угостил, что было большой роскошью в то время. У Покровского – ничего подобного. Здесь за письменным столом на твердом стуле сидел твердолобый человек. У меня возникло ощущение, что если ударить его кулаком по лбу, кулак отскочит или даже разобьется. Покровский был крайне мрачен и враждебен. Рядом с ним сидели два-три человека, из которых одного я знал по фамилии. Это был Гордон, еврей. Он учился вместе с Борисом Пастернаком в Германии в Марбурге и, вероятно, явился прототипом Гордона из "Доктора Живаго". Гордон хорошо был знаком с немецкими философскими школами и, кроме того, был психологом. Психологию он преподавал в Московском университете. К моему удивлению Покровский попросил меня изложить мое дело, как если бы ничего о нем не знал. И я снова подробно рассказал о проекте предполагаемого съезда, представив аргумент о том, что будет важно и почетно, если такой философский съезд впервые состоится у нас в России сразу же после революции. Я заметил также, что у меня есть некоторый опыт в этом, так как я уже был однажды участником такого Международного философского съезда. – "Какого же именно?" – В этом вопросе Покровского я почувствовал его личную неприязнь ко мне. Он как будто обвинял меня в том, что вот я уже участвовал в таких съездах и теперь хочу еще созвать новый. Я ответил, что съезд, на который я был послан, состоялся в 1911-ом году. С тех пор прошло уже десять лет. – "А кто же там задавал тон?" "Нельзя сказать определенно, – ответил я, – но центральной фигурой, в конце концов, оказался французский философ Анри Бергсон". – "Ах, этот мистик" – "Мистиком его можно назвать, но скорее он интуитивист". – "Да, но он уже отжил свой век. Лучше скажите, кто же будет организовывать такой съезд? Ваша ассоциация или советское правительство?" – "По-моему, это не обязанность правительства, а дело научного общества". – "Ваше предложение нужно будет строго и внимательно обсудить. Ваше мнение?" – обратился Покровский к своим коллегам. К сожалению, мнением молодого поколения, т.е. двух помощников Покровского, я тогда не интересовался, а теперь жалею. Помню, что Гордон, который выступал последним, заявил: "Конечно, Всероссийский съезд должен состояться. И хо-

рошо, что его организация будет поручена научному обществу. Но это общество должно быть достаточно зарекомендованным. Однако, целый ряд подробностей следует рассмотреть, таких, как расходы, место, время и т.д.". Я поблагодарил Покровского. И вдруг этот суровый человек улыбнулся мне и предложил стакан чая. Вот что значит русский человек! В сущности он был доволен, что не отказал мне, что все кончилось благополучно. Я от чая отказался и спросил его, куда нам писать, в Ученый Совет или Наркомпрос? – "Да нет, – ответил он, – это наше дело. Пишите нам в Ученый Совет".

Как я уже сказал, заседание Ученого Совета состоялось в пятницу. И так как по субботам я не езжу по железной дороге, то мне пришлось остаться в Москве еще на два дня. Но это не беда. Я успел немножко осмотреться и привести в порядок свои мысли. Я понял, что от Луначарского не зависит, состоится или нет философский съезд, подобные вопросы решает Покровский, вернее ГУС. Мне было совершенно ясно, что съезд мог бы состояться, так как, несмотря на видимую суровость и неприступный догматизм Покровского, ему очень хотелось бы выступить на таком съезде, особенно при свете рамп и в присутствии великих ученых, таких, как Эйнштейн, и философов, как Рассел. Но любезная прощальная улыбка Покровского, человека по натуре сурового, для которого я был врагом, показалась мне каким-то подвохом. Неизвестно, не подозревал ли он меня в контрреволюционной деятельности? С Луначарским говорить было проще и легче. Для него социализм есть религия. Для Покровского – это просто научная теория. А человек, который противодействует ее успеху, ее проведению в жизнь, есть не только контрреволюционер, но и обскурант, суеверный, темный, средневековый враг просвещения. И вот с таким тяжелым сердцем я сидел в поезде и раздумывал, для чего мне все это? Не явилась ли идея о созыве съезда в неподходящее время? Моя мысль была чиста, а в результате получается, что я оказываю услугу Покровскому.

Вернувшись в Петербург, я направился в совет Вольфилы и по пути, на углу Адмиралтейского и Невского проспекта, остановился, чтобы прочитать новости в "Красной вечерней газете", которую вывешивали на стенах. В газете я увидел список двадцати приговоренных к высшей мере наказания – расстрелу по распоряжению петроградского отдела Чека по борьбе со

спекуляцией и контрреволюцией. В этом списке числились и два знакомых мне имени: профессора Лазаревского и Гумилева. Оба должны были участвовать в предполагаемом съезде. Их расстреляли по делу Таганцева. Гумилев, очевидно, был расстрелян раньше, но об отдельных случаях расстрелов обычно не сообщалось, и он был включен в общий список. Я прочел это сообщение, и мне стало ясно: философский съезд не должен собираться – не время для этого! Вполне вероятно, что, если съезд состоится, всех его участников арестуют. И я решил выступить против съезда. Но что же будет, если члены совета со мной не согласятся? Мне придется покинуть нашу ассоциацию.

Как мы и условились, в понедельник я явился в совет Вольфилы. Белого в Петербурге не было. Блока мы не тревожили. Встретились Разумник Васильевич, Эрберг и я. Я рассказал им о встрече с Луначарским и о том, что произошло в ГУС-е со всеми подробностями, и добавил: "Разрешение-то на съезд получить можно, но я сейчас же подаю голос против того, чтобы этим воспользоваться". – "В чем дело? Большие трудности?" – спросил Эрберг. "Трудностей гораздо меньше, чем мы предполагали. Не только Луначарский, но и Покровский за съезд. Беда только в том, что по пути сюда я нашел в списках расстрелянных по делу Таганцева имена двух участников нашего предполагаемого съезда. Их уже нет в живых. Философские съезды не собираются в такое время!". Иванов-Разумник, человек здравого рассудка, который еще раньше почувствовал утопию в этой идее, назвав ее маниловщиной, сказал: '"Совершенно верно". Таким образом, Международный философский съезд, который должен был бы впервые собраться в России, – не состоялся.

Осень 20-го года – двадцатилетие со лня смерти немецкого философа Фридриха Ницше – совпала с началом нового учебного года в высших учебных заведениях страны. Революция начала уже принимать формы объективно установившегося строя, и молодые люди тысячами потянулись в Петербург и другие университетские города для того, чтобы возобновить прерванные революцией занятия или начать их вновь. С точки зрения властей, наука должна была быть, не могла не быть, марксистской. Организовали даже университет Красной профессуры, главной задачей которого было популяризировать марксистские идеи. Но в нашем кругу, как и в широком кру-

гу русской интеллигенции, никто не сомневался в том, что это временное заблуждение. Тут-то мы и воспользовались юбилеем Фридриха Ницше и его "Веселой наукой", чтобы довести до сведения юношей и девушек, не искушенных ни в философии, ни в истории, ни, тем более, в истории науки, какой должна быть настоящая наука, гуманитарная ли или физико-математическая. Ницше считал, что плох тот ученый, который не умеет смеяться над самим собой. Это было отличным предлогом, чтобы показать молодым людям, что власть, которая не умеет смеяться над собой, может легко заблуждаться; она на ложном пути. Но говорить так открыто и ясно было, конечно, невозможно, это были бы последние слова на последнем заседании нашей ассоциации. Мы выбрали другое. Решено было подчеркнуть преследование науки на переломе средних веков, мученичество ученых, двигавших науку вперед против господствующих теорий, время, когда церковные власти противостояли научному прогрессу, когда Джордано Бруно был сожжен на костре за признание теории Коперника, за разрушение геоцентрической системы. Это время – время борьбы за научную истину – есть самая многообещающая эпоха в историческом развитии науки. Подобные периоды в истории делают науку веселой и интересной. И не надо бояться того, что гнет и принуждение господствуют в науке, а надо приветствовать гимном ее освобождение! Когда дело идет об истине, дух не уступает принуждению и гнету. Это есть период веселой науки. И если в наше время власть тоже противостоит научному прогрессу, то она не должна считать, что освобождает народ от предрассудков, ей нечем кичиться. Молодых же людей и девушек, вступающих на такой жертвенный путь, можно только поздравить и приветствовать! Иными словами, переступая порог высших учебных заведений, юноши и девушки с самого начала вступают на путь служения науке – делают первый шаг на жертвенном пути! Мы подчеркивали, что религия не должна быть просто объектом преследования или отживших предрассудков, а абсолютной, глубокой истиной, за которую следует бороться. Наука не вмещается в прокрустово ложе. Это не белая или красная математика, это – истинная математика. Конечно, чуткое ухо профессионального наблюдателя не могло не заметить, что все пахнет крамолой: призывают молодежь к антиправительственным настроениям. Однако, собрание, посвященное двадцатилетию со

дня смерти Фридриха Ницше, произвело очень сильное и глубокое впечатление на учащуюся молодежь, потому что именно с этого дня на наших открытых собраниях значительно увеличилось количество юношей и девушек. Глаза их сияли. Надо сказать, что девушки, хотя и безмолвные, играли на этих собраниях роль вдохновительниц.

Еще значительно раньше, в самом начале 20-го года, наше открытое собрание, посвященное пятидесятилетию со дня смерти Александра Ивановича Герцена, превратилось в большой народный митинг. Не берусь сказать точно, но собралось две или три тысячи, во всяком случае, считали уже не сотнями, а тысячами. Имя Герцена знали из большевистской печати, где он изображался как один из отцов большевистской партии и всего марксизма. Наше открытое собрание было посвящено разбору сочинения Герцена "С того берега". Суть собрания сводилась к тому, можем ли мы, недостаточно оперившиеся, публично поставить вопрос, с кем был бы Герцен сегодня, если бы остался в живых? Был бы он целиком на стороне правящей партии? Был бы одним из адептов, хоть и запоздавших, но в конце-концов примкнувших к марксизму? С какого берега говорил бы Герцен? С того ли берега он продолжал бы говорить или переправился бы на берег России на третий год после революции? Конечно, Иванов-Разумник, считавший Герцена своим философским учителем, как и полагается ученому знатоку, прочитал лекцию о нем. Его сухая лекция и вся манера, как бы нарочито сдерживающая свои собственные эмоции, тем не менее, вызвала взрывы бурных чувств у слушателей. Проявился необыкновенный энтузиазм, чувства так и рвались наружу, энтузиазм по отношению к самому вопросу и нашим усилиям поставить его. Я тоже прочитал доклад с прямой ссылкой на вопрос, с какого берега говорит Герцен. Не было никакого сомнения, что мы и аудитория сомкнулись, слились с потоком народной энергии, в едином порыве осветить происходящие события. Выразилось это очень странным образом.

Когда, после докладов и лекций, наступило время прений, на трибуну вышел очень странный человек, болезненного вида, обросший бородой, в больничном халате, с горящими глазами. Кто-то шепнул за моей спиной: "Сумасшедший". Возможно, что он пришел из психиатрической клиники. Оказалось же, что этот странный человек служил в милиции. Он встал на три-

буну и отрекомендовался: "А теперь, товарищи, скажет вам слово по поводу вашего Герцена дядя Миша. Разве вы не видите, что происходит? Строится Вавилонская башня, а для чего она строится? Для того, чтобы отменить Господа Бога. Для того, чтобы без Бога человек распоряжался сам своей судьбой. Задача хорошая. А что же будет вместо Бога? А вот если вместо Бога поставят какого-нибудь идола, тогда и Вавилонской башни строить не нужно. Запомните, что дядя Миша вам заявляет! С будущей недели будет выходить новый журнал "Вавилонская башня" под редакцией дяди Миши, в котором будет сказано: так как теперь строится Вавилонская башня, то неизбежным результатом будет разрушение России, рассеяние русского народа по всему лицу земли, смешение языков: никто никого понимать не будет! Может быть вы меня сумасшедшим считаете? Но вы еще услышите о дяде Мише. А вот если выстроят все-таки Вавилонскую башню, то ни вы меня, ни я вас понимать не будем. Простите, товарищ председатель, что я занял трибуну". Дядю Мишу мы встречали потом не раз, и он действительно выпустил три номера журнала "Вавилонская башня. Выступление дяди Миши показало нам, что мы понимаем настроения народа. Люди чувствовали и боялись, что происходит что-то недоброе, что необходим народный контроль. Казалось, что дух бунтовщика Герцена явно присутствовал на этом собрании, чем и объяснялась подобная реакция слушателей в Петербурге на третий год после революции. Обмениваясь потом впечатлениями, говорили: "Вот не знаешь, где найдешь, где потеряешь". Мы хотели почтить память Герцена, поставить определенный вопрос, ан, народ уж забегает вперед и решает это вопрос сам.

Дядя Миша был не единственным чудаком, для которого наше содружество послужило трибуной для выражения недовольства по отношению к строгому, подтянутому, полувоенному режиму господствующей партии. Другим очень своеобразным чудаком был инженер Красильщиков, который долго искал и, наконец, решил, что есть одно место, где поймут и его, и его оригинальную идею. Красильщиков, инженер петроградского водопровода, пришел к выводу, родственному в какомто смысле идеям дяди Миши, что в России времен Великой революции происходит нечто гибельное для рода человеческого, нечто сходное с постройкой Вавилонской башни, так как со-

ветский строй основан на атеизме. По глубокому же убеждению инженера Красильщикова: "Без Бога – ни до порога". Если нет веры в Бога, то не будет и веры в добро. Революция же без Бога – революция без добра, и значит – злое начало. Он так увлекался своей идеей, что мог часами проповедовать необходимость синтеза коммунизма и религии. Его вера в свою идею была непоколебимой. Когда он был арестован и введен в кабинет председателя ВЧК Дзержинского за самовольное печатание листовок, в которых он очень коротко и понятно излагал свои основные идеи, Красильщиков, если и не переубедил Дзержинского, то убедил его в том, что готов погибнуть за свои идеи и, следовательно, не может быть вреден революции. Дзержинский отпустил его и разрешил печатать и раздавать свои листовки на улицах Петрограда. Так как Красильщиков пришел к выводу, что одному ему не справиться с этой задачей, "служба одолевала", то он и решил найти подходящее общество, которое поддержало бы его и помогло распространению его идей. И он обратился в наше Вольное Философское Содружество.

Еще один пример значения Вольфилы для чудаков-одиночек. Крушинский был инженером-железнодорожником Московско-Курской железной дороги. Прежде он был членом ВИКЖЕЛя – Всероссийского Исполнительного Комитета Железнодорожного профсоюза. В свое время он пытался сыграть роль посредника между умеренным крылом революционных партий и более крайними, включая большевиков. Инженер Крушинский подписывал даже приказы о всеобщей забастовке рабочих всей сети российских железных дорог. Уже в 1918-ом году он решил искать причину крушения русской революции. Крушинский, человек как будто трезвый, любил посмеяться над самим собой. Тот факт, что он – Крушинский, железнодорожник, а русской революции грозит крушение, казался ему знаменательным. Именно на железных дорогах больше всего опасаются и борются с крушениями, именно он – носит фамилию – Крушинский, и значит, именно ему, члену ВИКЖЕЛя, предназначается роль спасителя русской революции от крушения. Но как это сделать? Крушинский занялся созданием новой экономической теории. Он не выступал против материализма как такового, но считал, что необходимо взвесить и оценить все своеобразие экономики бывшей Российской империи

и, опираясь на ее ошибки и в связи с ее крушением, создать государство нового типа, с новым политическим устройством и экономическим порядком, который бы смог предотвратить в этом государстве возможность крушения. Поскольку инженер Крушинский отказался вступить в большевистскую партию, его исключили из правления Московско-Курской железной дороги; ему грозил арест. Теорией Крушинского никто не интересовался, его считали сумасбродом, даже контрреволюционером. Это происходило сразу после покушения на жизнь Ленина, в августе 1918-го года, когда правящей верхушке казалось, что за каждым углом скрывается злоумышленник против режима. Крушинскому ничего не оставалось, как скрыться, "уйти в монастырь, стать отшельником", по его выражению. Ему необходимо было уединение, чтобы продолжать думать и проверять свои идеи. Переодевшись в крестьянский тулуп и лапти, Крушинский ушел в одну из деревень Ярославской губернии. В этой деревне он промерз и проголодал зиму с 1918-го на 1919-ый год, а осенью 1920-го года возвратился в Петербург. Куда, зачем? К нам, в Вольное Философское Содружество. Крушинский хорошо был знаком с работами Иванова-Разумника. И вот он является с книгой Разумника "История общественной мысли" и своей рукописью, в несколько сот страниц, полной идей, выношенных им сквозь густую пелену снежной, холодной зимы, с готовой теорией нового государства, свободного от крушений. Пришел он в Царское Село на Колпинскую улицу, где жил тогда Иванов-Разумник, которому он и изложил содержание своей работы. Разумник Васильевич уважал людей, совершающих подвиги. Не было никакого сомнения, что Крушинский совершил своего рода подвиг мысли, и Разумник Васильевич послал его рукопись мне. Вслед за рукописью явился и сам автор. Товарищ Крушинский, как он сам себя называл, пришел ко мне и несколько свысока сказал: "Что ж, прочли?" Я ответил ему каламбуром, что кое-что уловил в его работе, а его "антикрушенская теория" делает ему честь. Не буду передавать подробностей системы Крушинского, скажу только, что одним из положений его теории было отменить железные дороги в России. Поэтому я сказал: "Я не совсем вас понимаю. Вы хотите, чтобы революция стала толстовской? Толстой тоже протестовал против железных дорог. Но отмена железных дорог в России была бы самым большим крушением для всех нас. Я

могу вам пожелать только счастливого пути, так как, хоть и без железнодорожных путей, путь-то нам всем нужен". – "А вы будете содействовать напечатанию моей работы, если философское содружество решит печатать мою рукопись?" – "Конечно, никакого сомнения". – "А вы скажете Разумнику Васильевичу, что всецело поддерживаете меня?" – "Я вам сочувствую, но не считаю себя компетентным правильно оценить вашу теорию". – "Скажу на прощание, что для таких сумасшедших, как я, существование такого философского содружества в России, как ваше, есть большое счастье", – заключил в конце нашего разговора Крушинский.

Еще один пример, не столь важный, но все-таки имевший значение для Вольфилы, – столетие со дня рождения Петра Лавровича Лаврова. До революции Лавров и Михайловский, наряду с Герценом, считались основоположниками марксизма в России, по меньшей мере, его родоначальниками. Однако, Лавров отличался в частности тем, что очень конкретно представлял себе, что произойдет сразу же после революции. Больше всего революции грозит революционный террор. Он это отлично понимал, так как урок Великой французской революции не пропал для него даром. В своем сочинении "Кому принадлежит будущее" Лавров предсказал и то, что мы теперь называем фашизмом – контрреволюционную диктатуру. Столетие со дня рождения Петра Лавровича Лаврова дало нам повод, после больших колебаний в совете нашего содружества, организовать открытое заседание в память Лаврова и коснуться вопросов так называемой субъективной школы социологии под предлогом комментариев к его сочинениям. Колебания эти были всегда связаны с тем, как отнесется всевидящее око начальства к чествованию Лаврова, не скажут ли нам, что мы пропагандируем эсеровщину? В то время Лавров не был под запретом, таким, как позже. Впоследствии такие люди, как Семен Афанасьевич Венгеров – историк литературы, – не решились бы даже признаться в своем знакомстве и, тем более, дружбе с Лавровым. А в то время официальный взгляд на Лаврова как на предшественника русской революции позволил нам собрать и даже издать полный отчет всех докладов на этом собрании в память Лаврова, целый ряд статей самого Лаврова, освещающих его с разных сторон, а также статьи последователей, критиков и предшественников утопизма Лаврова, в частности, польских,

о которых мало кто знал. Можно сказать с уверенностью, что наше философское содружество успело "под занавес" внести свой вклад в историю русской социологии. Итак, когда после колебаний мы решили посвятить это открытое собрание Лаврову и субъективной социологической школе, мы привлекли последние остатки старых социологов этого направления, включая Надежду Владимировну Брюлову-Шаскольскую, делившую свой досуг между русской социологией и детской, Александра Александровича Гизетти и др., к участию в этом собрании. Нашлось несколько молодых социологов, которые, сидя по своим углам, все еще продолжали заниматься вопросами социологии, но не имели решительно никакой возможности с кем-либо поделиться результатами своих работ. Это собрание было первой попыткой собрать и напечатать работы русских социологов. Уже в двадцатых годах в Германии в социологических журналах, таких как "Archiv für Sozialwissenschaft", стали интересоваться тем, что сохранилось от русской субъективной социологической школы после Октябрьской революции. И вполне возможно, что впоследствии этими работами заинтересуются еще больше. Оглядываясь назад, решаюсь сказать, что Белый, Блок, Иванов-Разумник и другие члены нашего содружества совершали в малых размерах подвиг.

На одном из первых собраний, посвященном декабристам, на тему "Зачем нужен напрасный подвиг", мы пытались подчеркнуть и доказать, что подвиги никогда не бывают напрасными.

Никакого сомнения не может быть в том, что собрание в связи с двадцатилетием кончины Владимира Сергеевича Соловьева было подобным подвигом. Тот факт, что председателем этого собрания был Александр Блок, писавший, особенно первые свои стихи, под влиянием Владимира Соловьева, что за председательским столом сидел ближайший друг Соловьева, бывший сановник, игравший до революции значительную роль в Министерстве просвещения, профессор Эрнест Львович Радлов, создавало особое, бодрое настроение. Собрание происходило в большом зале бывшего Министерства народного просвещения в Чернышевом переулке. На короткое время, на час-другой, все мы как бы ощутили присутствие того духа, который вдохновлял и Соловьева, и Блока. Уже немолодой Эрнест Львович Радлов поделился со слушателями личными воспоми-

ниями о Соловьеве, но нарисовал его образ так, что он совершенно не совпадал с тем иконописным образом, каким изображали Соловьева его последователи времен символизма. Хотя Радлов был очень осторожен в выборе выражений, он считал своим долгом подчеркнуть, что Владимир Соловьев, несмотря на знаменитые "Три свидания", все-таки был настоящим русским человеком, который, как тот парень у Достоевского, мог взять в руки ружье и расстрелять Святое Причастие. Иначе говоря, нет святых на Русской земле и не может быть. Большинство слушателей, а их было несколько сотен, просто не поверили Радлову, считая, что он из зависти клевещет на Владимира Соловьева. Но были и такие, которые соглашались с Радловым в его оценке Соловьева, но считали, что об этом не следовало говорить. Не считая себя компетентным, я позволил себе рассказать только о Владимире Соловьеве – философе, показать сына Сергея Соловьева – историка как философа русской истории. Этого было мало для мистиков, но слишком много для марксистов, которые потом в прениях говорили, что из Соловьева, устаревшего и обветшалого, стараются сделать мудреца, чуть ли не икону! Произносили речи и люди, не знавшие Соловьева лично, не писавшие стихи под его влиянием, но считавшие Соловьева столь же важным для развития истории русской духовности, как и его отца, историка Сергея Михайловича Соловьева. По просьбе Блока мне пришлось помогать ему в его председательской работе на этом собрании. Будучи живым воплощением самого духа поэзии Соловьева, Блок проводил собрание, как церковное богослужение, настоящие поминки, как если бы Соловьев только вчера, а не 20 лет назад отошел в вечность. Когда в Советской России были опубликованы записные книжки Блока, там было упоминание об этом нашем собрании, с перечислением всех выступавших, где он отметил и подчеркнул, между прочим, речь Радлова, как одну из самых важных. Этот факт является еще одним доказательством того, что уже в тот день, двадцатилетия со дня смерти Владимира Соловьева, Блок знал, что все кончено для него, что и его преклонение перед Соловьевым тоже не выдерживает критики реальности.

Когда в Германии вышла книга Германа Кейзерлинга "Дневник философа", мы решили, что отзыв о книге, в которой собран огромный материал, предвосхищавший новые течения в философии, хороший предлог еще для одного откры-

того собрания, на котором мимоходом можно будет рассказать о философской жизни на Западе. Кайзерлинг совершил кругосветное путешествие и, возвратившись, издал свой "Дневник философа". В книге оказалось так много интересного, что каждый из нас, читавших по-немецки, мог выбрать тему, казавшуюся ему важной для наших слушателей. Положение, что для метафизика "возможное важнее существующего", обращало внимание более проницательных слушателей на тот факт, что для мыслящего человека, "любителя мудрости", совсем не важно то, что происходит непосредственно вокруг нас, как бы важно и реально ни было событие.

Судя по затянувшемуся описанию наших открытых собраний, хоть оно далеко не полное, может показаться, что мы совершенно не интересовались искусством. Было не так. Состоялось открытое заседание, на котором Петров-Водкин прочитал свой доклад "Наука видеть". В нем он старался открыть глаза не только на свое собственное искусство, но и как бы осветить будущее развития живописного искусства. Большое значение имело собрание, на котором мы вели диспут с представителями формальной школы, считавшими, что художественная литературная критика должна ограничиться анализом фактуры, языкового построения и организации художественного произведения, оставляя без внимания его идею. Формальная школа в Петербурге возглавлялась Виктором Борисовичем Шкловским, Борисом Эйхенбаумом и Юрием Николаевичем Тыняновым. На нашем собрании они столкнулись лицом к лицу с Андреем Белым, Ивановым-Разумником, Эрбергом и др., представителями более традиционной литературной критики, которые никак не могли согласиться с тем, что идея не играет решающей роли в произведении. Само по себе культивирование современной и классической поэзии от Пушкина до Клюева и Белого было живым опровержением теории школы формалистов. Ведь нашим председателем был никто иной, как Андрей Белый, создавший, как известно, школу анализа поэтических ритмов. Его работы о четырехстопном ямбе Пушкина составляют целую эпоху в истории поэзии. Однако Белый, как и Потебня до него, знал и хорошо понимал, что не анализ создает живую ткань поэзии! Конечно, некоторые элементы этой ткани могут быть уловлены и в какой-то мере отражены в подобных анализах, но жизнь этой поэтической ткани, индиви-

дуальная жизнь поэзии Пушкина, например, ее многообразие, красота и музыка, приостановки стиха, полуударения в четырехстопном ямбе – все это можно уловить и услышать только исходя из живой ткани поэзии. Споры эти происходили не только на наших открытых собраниях, они разнеслись по всему Петербургу, не только между литературными группами, но и между отдельными поэтами и критиками. Как водится, обе стороны считали себя победительницами в этом диспуте. Конечно, Шкловский не переубедил Иванова-Разумника, и наоборот. Однако в своих более поздних работах Шкловский смягчился. Уже за пределами России, когда мы встретились в 1923-м году в Берлине, Шкловский сказал: "А у меня есть новый аргумент против вас. Вот вы утверждаете, что нам, представителям формальной школы, не справиться с поэзией. А я вам скажу, что если бы Белый не создал анализа четырехстопного ямба, поэзия умерла бы вместе с Пушкиным. И только благодаря этому анализу поэты до сих пор пользуются четырехстопным ямбом в России". Конечно, я не считал себя специалистом в поэзии, равным Шкловскому, но тот факт, что мы вели наш разговор на Кант Штрассе, побудил меня процитировать: "Wo der Verstand nicht verbunden hat, kann er auch nicht auflösen" – Если разум не воспроизвел сначала синтеза, он не может и анализировать. Вы толкуете об анализе и важности его. С этим я согласен. Но для того, чтобы анализировать что-то, необходимо сначала создать что-то. У поэтов – это вдохновение, а говорить о "формалистическом вдохновении", – извините, это "Hölzernes Eisen". – "Ну, вы меня иностранщиной побить хотите, – ответил на это Шкловский, – так в следующий раз я вам покажу!.." Следующего раза – не было. Формалист Шкловский вернулся в Россию. Надо сказать, что и мы, не считавшие возможным идти на поводу у представителей формальной школы и желавшие иметь некоторую свободу и для синтеза, в сборнике статей о новом и старом искусстве, изданном под эгидой нашего философского содружества, явно показали, что новые веяния в искусстве были близки и нам. Тема этого собрания настолько увлекла наших слушателей, что было предложено организовать для искусствоведов специальные занятия, чтобы глубже изучить и познакомиться с идеями, высказанными на этом собрании. Впоследствии это пожелание осуществилось.

Коснусь еще одного открытого собрания, названного нами "Границы фантазии" и посвященного столетию со дня смерти

немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Была сделана попытка даже доклады об искусстве использовать для расширения и развития общественной мысли, попытка предостеречь людей, особенно творческого, художественного мира, от желания повернуться спиной к реальности общественной, государственной и политической жизни и найти свой укромный уголок в художественном творчестве, в искусстве. Нельзя чувствовать себя свободным, а значит, и творить свободно, в тайном, укромном уголке, под сенью чистого искусства, когда весь народ, вся страна – в цепях! Официальная марксистская критика новых течений в искусстве в конце концов довела до отчаяния, до гибели Маяковского, а до него Сергея Есенина и многих других, неизвестных нам. Я говорю, довела до гибели не от секиры палача, а от отчаяния, от чувства, что из этой жизни не уйти им в свободное творчество.

Не могу тут не упомянуть Николая Алексеевича Клюева. Конечно, если Петров-Водкин, художник, был в состоянии сделать доклад о науке "видеть", то Николай Алексеевич Клюев, какие бы легенды о нем ни ходили, был все-таки настоящий северный крестьянин, близкий к хлыстовщине, и доклады о том, как надо писать стихи, он делать не мог, но читать свои стихи он умел необыкновенно. И для всех наших друзей, которых Клюев разрешил позвать на полуоткрытое собрание, на котором он согласился читать свои произведения, навсегда останется в памяти его глубоко, глубоко захватывающий и дикий, какой-то почти не человеческий голос. Потом он делился с нами своими воспоминаниями, расспрашивал нас. Встреча эта произвела на всех неизгладимое впечатление. А как он любил и боялся за своего Сереженьку Есенина! Я как раз тогда вернулся из Москвы и привез Клюеву привет от Есенина. Узнав, что я виделся с Сереженькой, Клюев прямо-таки набросился на меня после чтения: "Верно ли, что Сереженька хулиганит, сбился с пути, что, как баба, продает поэзию?" Есенин действительно пьянствовал. И его брак с Айседорой Дункан многим казался хулиганским поступком. Когда Есенин приехал с ней в Петербург, Айседора должна была танцевать в Мариинском театре, он побоялся даже показаться на глаза Разумнику Васильевичу, которого очень ценил, и сам говорил: "Я Разумнику по гроб жизни благодарен. Он мне хребет придал". Когда Клюев услышал от меня подтверждение слухов о Есенине, хоть и в смягченном виде, он только и мог, что воскликнуть своим необычным голосом, каким читал стихи из "Львиного хлеба" –

свои хлыстовские поэмы: "Ох, Сереженька, Сереженька, подумать только, Рязанской земли человек, такой хорошей земли!" Клюев смахнул слезу со щеки – он оплакивал Есенина еще при жизни. Так это и осталось у меня в памяти. Когда говорят о народной поэзии Есенина, я вспоминаю: "Рязанской земли человек!"

Когда Белый приезжал в Петербург из Москвы, трудно было удержаться, чтобы не попросить его почитать нам свои новые последние стихотворения. Он читал в узком кругу членов Философского Содружества, ценивших и любивших русскую поэзию. До сих пор звучит в ушах его голос, голос Бориса Николаевича, читающего свои баллады о королевне и седых рыцарях. И если бы какой-нибудь литературный критик объявил, что между Белым и Клюевым есть нечто общее, это показалось бы нарочитой выдумкой, клеветой. Но когда звучат голоса Николая Алексеевича Клюева и Андрея Белого, читающие свои стихи, невольно поражаешься, что в самой музыке и стихосложении обоих есть нечто общее, нечто, свойственное только русской поэзии, уводящее к Пушкину, даже к Державину.

Анна Андреевна Ахматова писала свои стихи не для глаза, а для уха. Слушатели для нее были необходимы как воздух. Такую аудиторию слушателей она находила на наших полуоткрытых собраниях на Фонтанке. Артур Сергеевич Лурье, тот самый композитор, который занял пустовавшее кресло музыкального гения Арсения Авраамова в совете Вольфилы, предложил создать для Анны Андреевны обстановку, в которой бы она почувствовала, что поэзия ее нужна не только ей самой и не только ее ближайшим друзьям, но и широкой публике. Один из наших вечеров, таким образом, был целиком посвящен чтению ее стихов. К нашему удивлению, она читала не новые свои произведения, как Клюев или Белый, а взяла один из старых своих сборников и подряд читала из него. Чтение явно возбудило в ней чувство, что недаром она посвятила себя поэзии, что стихи ее живут! Ахматова принадлежала к группе акмеистов. Между акмеистами и символистами шла литературная борьба. Вождем символистов считался Блок, хотя сам он никогда не желал быть вождем какой бы то ни было поэтической школы. Он ощущал поэтическую стихию в себе как нечто охватывающее, нечто "накатывающее", как говорили хлысты, вне зависимости от литературных школ и направлений. Вот такое внимание к общему в различном и к индивидуальному раз-

личию в общем было одним из основных признаков нашего Философского содружества с самого начала его возникновения. "Святой Дух хранит всех нас!" Этот основной принцип есть нечто более высокое, чем исторические события, сами по себе, на данном этапе времени.

Когда называешь имена таких поэтов, как Белый, Клюев, Ахматова, Гумилев, имя Ольги Дмитриевны Форш, урожденной Комаровой, может показаться по значению не равным им. Ольга Дмитриевна вошла в русскую литературу с помощью Иванова-Разумника, но очень скоро получила признание таких далеких по взглядам от Разумника писателей, как Горький. Она была настоящим, как бы прирожденным членом нашего содружества. На свои художественные произведения она смотрела без особых претензий, не находя в них особых литературных заслуг, считая заботу о своих детях, Диме и Тамаре, более важным и значительным. Ольга Дмитриевна прошла через множество духовных разочарований не только в окружающих ее людях, но и в самой себе. В ней жил живой дух, который влек ее к служению чему-то высшему. Создавая образ художника Иванова, своих современников в книге "Сумасшедший корабль" или декабристов в "Одеты камнем", она с таким жаром, я бы сказал, с таким проникновением работала, что ее внутренний мир изо дня в день обогащался прямо у вас на глазах. Как цыганка-гадалка, она могла разглядеть людей вокруг нее чуть ли не с первого взгляда и уловить в них то, что другие никогда бы и не предположили. Ольга Дмитриевна, как и ее соплеменница по матери, армянка Мариэтта Сергеевна Шагинян, относились к левонастроенной части интеллигенции, но, несмотря на это, обе они убедили нас выслушать на одном из наших полуоткрытых собраний произведение молодой княжны Гедройц, ее дневники, в которых она записывала, обладая литературным талантом, свои беседы с императрицей Александрой Федоровной. Конечно, никто из нас не был монархистом, никто не был приверженцем погибшей царской семьи, но все мы, кроме двух-трех, глубоко верили в то, что убийство царской семьи не было и не могло быть ничем оправдано. Мы, восстающие против насилия, не могли примириться с казнью царей в России, так же как и королей в Англии или во Франции. Ольга Дмитриевна считала княжну очень талантливой и уверяла, что она очень ярко и правдиво изображает погибшую императрицу. Княжна Гедройц во время войны была сестрой милосердия в маленьком лазарете для офицеров в Царском Селе. Этот

лазарет находился под особым покровительством императрицы. Александра Федоровна полюбила и привязалась к молодой сестрице, княжне Гедройц, и относилась к ней, несмотря на ее молодость, как к матери-игуменье. Княжна знала об императрице вещи, которые, вероятно, никому, кроме нее, не были известны. Царица открыла княжне такие стороны своего характера, о которых никто не знал. И поэтому княжну Гедройц мучила совесть, что, если она не расскажет миру об этой христианской мученице, Александра Федоровна останется в памяти народа как ненавистная в России иностранка, покровительница Распутина, виновница ужасных кровопролитий, злой гений царя Николая Второго. И теперь, когда даже и след княжны пропал, я, может быть, последний из тех, кто помнит о впечатлениях и проникновениях молодой писательницы. В данном случае, наше философское содружество явилось как бы архивом, хранителем фактов, записанных в дневнике молодой княжны, сводящихся к оправданию жены "царя-тирана", похожих чем-то на античную трагедию. Если это упоминание о княжне Гедройц – единственное, оно тем более непременно должно быть включено и подчеркнуто в отчете о деятельности Вольфилы.

Весной 20-го года впервые представилась возможность заинтересовать нашими идеями деятелей из-за границы. Из Англии тогда прибыла делегация профессиональных союзов, включавшая в свой состав представителей прессы и в их числе Бертрана Рассела. Рассел, человек не чуждый нам по духу, математик, философ, общественный деятель, считался активным борцом за мир. И если бы нам удалось уговорить его прочитать доклад на нашем открытом собрании, это был бы очень важный прецедент. В совете Вольфилы мы решили, что стоит пригласить Рассела прочитать доклад на такую тему как, например, "Логика и математика" или любую другую тему из его области. Но как найти Рассела и связаться с ним? Всех членов делегации, включая Рассела, поместили в особняке графа Капниста на Английской набережной. Вход туда посторонним, когда там находилась делегация, был запрещен. Было бы нежелательно, чтобы наш первый разговор с Расселом происходил на глазах властей. Как всегда, помогло счастливое стечение обстоятельств. Среди молодежи, постоянно посещавшей наши открытые собрания, была молодая женщина, статистик по специальности. Она окончила юридический факультет и в данный момент работала в Петроградском совете профсоюзов в отделе ста-

тистики. Именно этот совет подготавливал прием английской профсоюзной делегации, и мы попросили молодую женщину рискнуть и передать Бертрану Расселу записку, когда тот будет сидеть за столом во время приема. В записке мы обращались к Расселу с просьбой указать время и место встречи с членами философского общества, желающего пригласить его прочитать у них доклад. Записка была незаметно положена у прибора Рассела. Он сразу же понял, что тут какой-то секрет, взглянул на молодую женщину, положившую ему записку, и незаметно кивнул головой. Когда минут через пятнадцать она снова прошла мимо него, то нашла ответную записку, в которой говорилось: "Согласен, завтра в 12 часов, в доме, где мы остановились". Теперь нас не могли задержать, у нас было приглашение самого господина Рассела побеседовать на философские темы. Пришли побеседовать с Расселом трое – Андрей Белый, Иванов-Разумник и я. Внизу у швейцара была оставлена для нас записка с просьбой подождать его, он постарается быть к двенадцати. Когда Рассел появился, нам показалось, что он выглядит старше своих лет (ему было тогда лет пятьдесят). Был он весь седой, розовощекий, с веселым лицом и ироническим оттенком в голосе. Мы все понимали иронию обстановки – секретная встреча русской философии с английской! В двух словах мы изложили основные идеи Вольфилы, объяснили, что мы не марксисты, что стараемся поддерживать дух свободной, независимой мысли, и, поскольку имя его, Бертрана Рассела, ставится в правительственных кругах Советской России очень высоко, то его согласие прочесть доклад у нас пойдет на пользу развития тех, еще не окрепших, ростков свободы мысли и творчества, которые мы стараемся взлелеять и вырастить. Все это мне пришлось объяснить Расселу по-немецки, потому что по-английски никто из нас не говорил. Рассел одинаково хорошо знал и немецкий, и французский языки. Основным собеседником Рассела оказался я, так как ни Белый, ни Разумник не говорили свободно ни по-немецки, ни по-французски. Конечно, я переводил им весь разговор, и они принимали в нем равное участие. Бертран Рассел взял нас, как говорится на старом полицейском языке, "на цугундер". "Кто вы такие, какие у вас философские взгляды? Вот вы, – обратился он непосредственно ко мне, – вы говорите по-немецки, ваша фамилия Штейнберг, вы – немец?" Я ответил, что я не немец, но учился в Гейдельбергском университете, что я полумосквич. "И чему же вы научились в Гейдельберге?" – "Я научился там тому,

что человеческая воля – свободна!" – "О да, с этим я согласен, до известной степени". Было непонятно, шутит он или экзаменует, говорю ли я правду, кончил ли университет в Гейдельберге? С Разумником Васильевичем ему было труднее справиться. Иванов-Разумник к тому времени уже написал ряд известных работ по литературной критике, кончил физико-математический факультет Петроградского университета, специализировался по астрономии. – "О, как интересно, а стали литератором? Впрочем, у русских это часто случается". Был это не то упрек, не то похвала. Во время нашего разговора Бертран Рассел все время держал какую-то книжку: "А вы профессора Васильева знаете? Я прямо от него – сюда". Васильев был членом нашего совета и жил по ту сторону Невы, квартира его находилась в университете. Рассел показал нам недавно изданную на очень плохой бумаге книгу, которую написал Васильев, и объяснил, что хоть и не читает по-русски, но по рисункам и иллюстрациям, а также по выдержкам из древнейшей истории математики, сделанным вавилонской клинописью, видит, что это необычайно полезная и интересная книга. Когда Рассел поинтересовался и спросил, а кто же такой Андрей Белый, Борис Николаевич ответил, что он последователь Рудольфа Штейнера. На лице Рассела расплылась улыбка, как если бы он подумал: "Вот из палаты №6 выскочили". Так это показалось мне. Белый в то время был страшно небрежно одет, рано полысел и поседел и поэтому носил ермолку. Вероятно, Расселу он показался комичным. Будучи человеком умным, Бертран Рассел быстро сообразил, что Белый – чудак, каковым он сам себя считал. Он ведь написал "Записки чудака". Мне Рассел сказал по-немецки: "Но вы ведь не последователь доктора Штейнера?" На моем лице он увидел, как далек Гейдельберг от Базеля и Дорнаха. Рассел с удовольствием согласился прочесть доклад у нас на любую тему, по-английски. "С удовольствием – повторил он, – а вам за это не достанется? Вас не будут преследовать за то, что вы приглашаете иностранца, не коммуниста?" Белый пробормотал по-немецки: "Ein Versuch, ein Versuch, aber vielleicht ein glücklicher" – "Попытка, но, может быть, удастся". Рассел проявил большую любезность по отношению к нам, и вдруг спросил: "Почему никто из вас не в партии?" – "Чтобы быть в партии, надо быть марксистами, а мы не марксисты". – "А политически, – спросил он, – вы в оппозиции?" – "Да, мы в оппозиции, потому что считаем, что известная мера свободы абсолютно необходимое условие для существования в обществе. Как, впрочем, думаете и вы". – "Да, ко-

нечно. А вы думаете, – продолжал он, – что ваше правительство против свободы мысли?" – "Как же не думать, если людей казнят за инакомыслие?" – "А не думаете ли вы, что в этом виноваты мы, на Западе? Мы недостаточно противодействуем вмешательству иностранных держав в дела русской революции. Мы – это те, которые считают, что русской революции надо дать полную свободу, а не пытаться уничтожить ее. Может быть, ваше правительство притесняет вас потому, что Запад вмешивается в вашу политику. Разве вы не заметили, что когда интервенция ослабевает, у вас становится свободнее? Значит, это мы на Западе виноваты. Надо сделать так, чтобы на Западе, в Англии и других странах, прекратили давление на ваше правительство. Я – оптимист, я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы добиться прекращения интервенции". Разумник Васильевич, который был политически развит больше, чем мы, спросил его: "Вы уверены, что ваша группа окажется влиятельной, хотя бы в Англии?" – "Теперь мы в меньшинстве, но у нас есть силы и возможность добиться прекращения интервенции в России. Теперь мы едем в Москву, а потом на юг, на Кавказ. Мы хотим видеть как можно больше. Если на обратном пути мы остановимся в Петербурге, я вам заблаговременно сообщу тему доклада для вашего собрания". Назад они ехали не через Петербург, Рассел ничего не написал нам и доклада у нас не читал. На всех нас он произвел впечатление умного человека, но нам показалось, что говорил он с нами неискренне, убеждая, что правительство, которое во время блокады и голода находит средства и время печатать книги по истории математики – правительство прогрессивное и высоко культурное. Он даже чуть не сказал, что у них в Англии при подобных обстоятельствах едва ли возможно было бы получить бумагу и разрешение печатать в типографии книги по истории древней математики.

Короче говоря, Бертран Рассел вел среди нас пропаганду за правительство Ленина и Троцкого . Года через три я читал отчет Бертрана Рассела о поездке в Россию. Он писал, что встречался в России с людьми самых разнообразных направлений и подтверждал существование духовного гнета партийной диктатуры в Советской России. Это абсолютно не совпадало с тем, что он говорил нам. Уже много лет спустя, в Лондоне, вспоминая выражение лица Рассела и весь наш с ним разговор, я понял, что он подозревал нас, считая нас провокаторами, подосланными советской властью. И поэтому все, что он говорил нам, было сказано для советской

полиции. Например, я знаю, что Бертран Рассел встречался с настоящими лидерами политической оппозиции в Москве и других городах России, но был уверен, что советское правительство считает его другом Советского Союза, который ставит своей задачей бороться с политикой интервенции Запада. Однако, надо быть чрезвычайно непроницательным, чтобы принять нас – Андрея Белого, Иванова-Разумника – за провокаторов. После этого я решил, что книги Рассела читать очень нужно, но его оценка политических событий, поскольку она опирается на личные его суждения о людях, очень сомнительна.

К такой же категории встреч со знатными иностранцами можно отнести довольно странную встречу в квартире Белого в начале 20-го года с приехавшей из Америки довольно известной в анархических кругах Соединенных Штатов, Эммой Гольдман. Хотя она выросла в Америке, она была родом из России и сохранила знание русского языка. Бог знает как, может быть, в связи с нашей беседой с Расселом, она проведала, что в Петербурге существует общество, не связанное с партией, поддерживающее свободную мысль. Эмма Гольдман стала искать возможности встречи с нами. Мы встретились с ней, чтобы выяснить ее впечатления от революционной России, а с другой стороны, попытаться объяснить ей наше отношение к революции. Не могу сказать, чтобы беседа с ней была очень интересной и удачной. Эмма Гольдман – якобы угроза существующему строю Соединенных Штатов – оказалась "тетушкой Terre-a-terre", как правильно определил ее Константин Александрович Эрберг. Ее критика, а к тому времени она была уже решительным критиком коммунистического строя в России, сводилась к очень незначительным бытовым пунктам: например, она заметила, что существует дискриминация в распределении пайков, что рабочие на хлебозаводах получают лишний фунт хлеба. Она считала несправедливым, что работники хлебозаводов получают больший паек, чем работницы табачных фабрик. А между тем, уже завелось так, что на табачных фабриках рабочие получали больше папирос, а рабочие хлебозаводов – больше хлеба. Об этом она очень долго говорила и почему-то считала, что в этом корень зла. Между нами, естественно, возник спор: что важнее, правильное распределение хлеба и папирос или борьба за свободу мысли? Как это ни странно, она не понимала нас, а мы думали, что для нее, анархистки, это должно было быть азбучной истиной. Когда мы проводили ее, со всеми полагающимися для за-

граничного гостя церемониями, Белый, да, наверное это был Белый, растерянно развел руками и сказал: "Анархия! Да тут меньше АН, чем АРХИ! Это просто архи-буржуазная мораль!"

Позже, в 21-ом году, во время Кронштадтского восстания, когда Эмма Гольдман хлопотала за повстанцев, мы снова встретились с ней. И эта вторая попытка втянуть знатных иностранцев в сферу наших интересов потерпела неудачу. Но мы не отчаивались, со временем, думали мы, найдутся такие люди, которые заинтересуются нами. Однако, подобные контакты помогали нам яснее видеть, что именно объединяет всех нас и к чему мы все стремимся. А стремились мы к расширению свободы мысли не только в самой России, но и за ее пределами, не только своими силами, но и с поддержкой, если возможно, извне, через авторитетных людей, имеющих влияние в России. Стремились мы выяснить нашу собственную позицию, добиться более устойчивого положения для нашего еще бесформенного и как бы витающего в облаках философского содружества.

Беседы наши, в те годы и позже, уже заграницей, с представителями так называемого формализма в литературоведении, послужившие темой одного из открытых заседаний философской ассоциации, выяснили, до какой степени мы все еще были изолированы от официально признанной русской интеллигенции того времени. Разногласия между представителями формальной школы и нами выявлялись не только в толковании литературных форм, но и в понимании самой жизни, в понимании судьбы революции. Борис Михайлович Эйхенбаум упрекал нас в том, что мы придаем слишком большое значение личности писателя. Эйхенбаум сделал у нас доклад о ритмике прозы Пушкина, очень умело показав, как Пушкин в "Повестях Белкина" строил рисунок своей прозы наподобие персидского ковра. Но Эйхенбаум не придавал никакого значения тому, что это было создано Пушкиным. Не буду входить в подробности нашего спора, но, вопреки учению Шкловского и его школы, все мы полагали, что невозможно превращать литературное произведение в нечто независимое от исторической обстановки, периода творчества автора, его отношения как к современникам, так и предшественникам, его влияния на будущее развитие литературы. Изолировать художественное произведение от исторической обстановки и его автора – значит, отрывать все художественное творчество от истории, что должно, в конце концов, привести к искажению не только правильного понимания литера-

туры, но и жизни.

И вот тут-то мы прикоснулись к политике. Задели в наших спорах связь идей литературной критики с политикой существующего строя. Один из более молодых членов нашего содружества на одном из полуофициальных совещаний сказал: "Не думаете ли вы, что, забиваясь в угол формализма, вы обеспечиваете себе политическое спокойствие, создаете видимость нейтральности? Вас не интересуют идеи вообще, и поэтому вы не можете говорить и проявлять в литературной критике положительного или отрицательного отношения к реальной политической жизни в России". На что представители формальной школы ответили: "Если это упрек, то мы этот упрек возвращаем, потому что вы заняли неопределенную позицию. С одной стороны, вы не выступаете активно против существующего строя, а с другой стороны, не защищая этого строя, все-таки создаете для себя ореол мученичества. Вы находитесь в оппозиции, но в такой, которая никому не опасна, и поэтому вас терпят". "Нас терпят, потому что мы нейтральны", – в этом было нечто сильно нас задевшее, задевшее как и встреча с Расселом, Эммой Гольдман, а также с формалистами, заставившее нас задуматься о том, почему, в самом деле, нас "терпят". Не играем ли мы, сами того не сознавая, какой-то роли в подавлении свободы мысли, выступая за ее неограниченную свободу? Вероятно подобные соображения существовали в правительственных кругах, иначе было бы трудно объяснить, почему нас поддерживали. Полстолетия спустя, оглядываясь назад, я не могу согласиться, что это было единственной причиной того, что нас терпели. Я думаю, что в правительственных кругах, в первые годы Октябрьской революции, среди мыслящих лидеров большевизма было желание оставить небольшую лазейку для реставрации традиций русской интеллигенции. И хотя я нигде в печати не встречался с подобным взглядом, это объяснило бы многое, и в первую очередь то, что так долго терпели Луначарского во главе Наркомата просвещения. Думаю даже, что это обстоятельство бросает свет и на личность Ленина, который все-таки был представителем русской интеллигенции и следовал ее традициям.

Очень интересна история нашего знакомства с академиком Павловым, известным русским физиологом. Это было в начале 20-го года. На одном из заседаний нашего совета было решено попробовать привлечь и включить в состав нашего совета Ивана Петровича Павлова или хотя бы попросить его прочитать доклад

на любую тему, например, о своих опытах, которые имели всемирное признание. Когда мы повели беседу с ним об этом, он сказал: "Теперь я не могу читать никаких докладов. Я только теперь осознал, что руководит мною в моей научной работе. Я всегда думал, что занимаюсь чисто естественной научной работой, которая никакого отношения к политике не имеет и не может иметь. А вот теперь, когда я присутствую при гибели России, при ее развале, я вижу, что мною руководило стремление двигать науку для славы России. А если ее нет, то мне и наука не интересна, и мои собственные работы не интересны. Нет, нет, увольте, не буду я теперь выступать. Не верю я, что нужна кому-то моя научная работа. Если она России не нужна, так она и мне не нужна". И бывают же такие чудеса! Эта беседа Павлова с представителями нашего совета дошла до Кремля. Когда Ленин услышал о ее содержании, он дал распоряжение обеспечить академика Павлова всем необходимым для продолжения его научной работы. А прежде всего снабдить его собак необходимой пищей. В одной из петербургских газет появилось сообщение, что по поручению Ленина академику Павлову отпущены специальные пайки для его собак. Не только собаки, но и сам Павлов ожил! Когда мы прочли об этом в газете, то подумали, что на языке классической физики это настоящий "Actio in distantia". Этот факт привел нас к мысли, что правительство, включая Ленина, заинтересовано во мнении людей, не связанных с партией, как важном источнике для выработки направления в их политической и практической деятельности.

Итак, пришло время подвести итоги нашей работы. Со смертью Блока появилась опасность потерять Белого, нашего председателя и главный источник вдохновения, в особенности для Разумника. Состоялось заседание совета, как обыкновенно, вечером, на котором мы просидели до рассвета, решая свою судьбу. С одной стороны, представлялась возможность расширить нашу деятельность, перенести ее за пределы Петербурга, приняв приглашение москвичей повторить у них собрание, посвященное памяти Блока; с другой стороны, наоборот, следует ли продолжать работу Вольфилы, "стоит ли игра свеч?" Это выражение, немножко вульгарное, я употребил не случайно. Присутствующий на этом заседании Всеволод Эмильевич Мейерхольд, состоявший уже два года членом коммунистической партии и называвший свой партийный красный билет "желтым билетом", услышав о наших сомнениях, сказал по-французски: "Mais oui, Messieurs, le jeu vaut la

chandelle". Это было в его стиле, типично для него.

Итак, итоги. В тот вечер мы подвели итоги нашей деятельности и пришли к тому же выводу, что и Мейерхольд: работа наша полезна, и ее следует продолжать. Мы отметили, что несмотря на все, что происходило тогда в России, мы сумели создать в Петербурге укромный уголок, где свобода мысли еще жила. Свободная мысль в настоящих политических условиях мало проявлялась в литературе, однако сохранилась известная традиция, без которой, быть может, ряд новейших современных течений никогда не обнаружился бы. Даже члены Серапионовых братьев находились под непосредственным влиянием старшего поколения, которое нашло укромный уголок в нашем философском содружестве.

Кроме того, без особых усилий с нашей стороны, мы добились, что представители так называемой русской академической философской школы того времени постепенно от резкой оппозиции, чуть ли не презрительного отношения к нам – "самозванцам, смеющим называть себя философами", – не только признали нашу ассоциацию, но даже захотели примкнуть к нам. Например, Николай Онуфриевич Лосский говорил о нас своим ученикам в университете: "Какая же это философская ассоциация, какие они философы? Разве Петров-Водкин, да и Блок – философы?" Впоследствии Николай Лосский прочитал доклад об интуитивизме на одном из открытых собраний этих "философов-самозванцев". Таким образом, официальная философская школа в Петербурге признала нас. И это было чрезвычайно важно. Такие старые корифеи академической философской школы, как Лосский, Николай Кареев и другие, стали членами нашего Вольного философского содружества, и определение философа по такому чисто формальному признаку, как академическая степень, как бы уничтожалось.

Все это вместе взятое привело нас к единогласному решению расширить нашу деятельность и перенести ее за пределы Петербурга, в частности в Москву. Был назначен день и час совещания будущих членов московского отделения совета Вольфилы, которое должно было состояться до первого открытого заседания в Москве, посвященного памяти Блока. Одним из этих членов был Николай Александрович Бердяев, который очень рано оценил значение Белого в русской литературе; другой – Густав Густавович Шпет, считавшийся в Московском университете авторитетным философом и бывший учеником немецкого фи-

лософа Гуссерля в Геттингенгском университете. Шпет совмещал в своих работах западноевропейские традиции философии с русскими, он прекрасно знал Лаврова и написал очень дельную работу о польских философах, оказавших большое влияние на Лаврова. Одним из них был Юзеф Вроньский (настоящая фамилия – Хёне), основатель "мессианистической" системы. Среди москвичей, интересовавшихся нашей работой и желавших сделать Москву опорным пунктом дальнейшего расширения деятельности Вольфилы, был Сергей Соловьев, племянник Владимира Соловьева и друг Блока и Белого.

Может быть, уместно будет сказать тут о перемене, которая произошла в интеллектуальной атмосфере Петербурга и Москвы. К моменту войны 14-го года и революции 17-го года Петербург, тогда Петроград, считался оплотом формализма, сухого бюрократизма, чиновничества, но конечно, не лишенным своей собственной культурной традиции. Москва же, как и московский диалект, уже одним своим названием выражала широту русской души, настоящую Россию. С переездом правительства из Петербурга в Москву, под давлением наступления немецкой армии, грозившей оккупацией Петербургу, Москва в короткий трехлетний срок переняла неблагоприятные для своего свободного развития черты петербургской чиновничьей атмосферы и стала оплотом бюрократизма, может быть, даже в гораздо большей степени, чем Петербург со времен Петра до революции. Петроград же, освободившийся от гнета двора и вместе с этим от административного рвения и усердия, воспринял те элементы московской жизни, которые позволили Петербургу стать во главе развития русской культуры. Как Москва в свое время, Петербург стал как бы собирателем земли русской. По крайней мере, мы так это ощущали. Над нами смеялись. Когда наконец, в 21-м году, мы приехали в Москву и в одно прекрасное воскресенье встретились с Бердяевым и другими друзьями-единомышленниками, мы вспомнили о том, что когда-то предрекал Мережковский: "Быть Петербургу пусту". Бердяев заметил на это, что Мережковский, как и во многих других своих пророчествах, "оказался пророком с другой стороны" – говоря по Гоголю. Первое же наше открытое собрание в Московском Политехническом музее, посвященное памяти Блока, оказалось для всех нас весьма неприятным.

Незадолго до этого, еще в Петербурге, на заседании, посвященном памяти Блока, вся аудитория была проникнута созна-

нием тяжелой утраты чего-то драгоценного, того, что именно эти "поминки" дадут возможность предохранить от тления память Блока. В Москве же мы натолкнулись на решительную, даже угрожающую оппозицию со стороны аудитории. Речи председательствовавшего Белого, Иванова-Разумника и мой рассказ о ночной беседе с Александром Александровичем Блоком в Чека произвели впечатление какого-то скандала. С разных сторон раздавались крики: "Как смеешь, негодяй, черносотенец!" – только из-за того факта, что я упоминал Чека! Несомненно, была и сочувствующая нам часть аудитории, но, очевидно, так запугана, что никак не проявляла себя. И если в Петербурге мы предполагали, что после собрания, посвященного памяти Блока, кое-кого из нас могут арестовать за выражение свободной мысли, то в Москве была настоящая угроза погрома – набросятся на нас с кулаками! Таким образом, Петербург не стал пустым, как предсказывал Мережковский, а как бы завоевал себе возможность сохранить какую-то минимальную свободу творчества и свободу слова. Иначе говоря, мы решили, что для открытых собраний Вольфилы в Москве время не пришло. А придет ли оно – один Бог ведает. Вне столицы же о таких кружках нельзя была даже и думать.

Вернувшись из Москвы в Петербург и подводя итоги этой поездки, мы решили в тесном кругу, что хорошо было бы теперь, помимо открытых собраний, регулярно общаться с публикой посредством живого печатного слова, хотя бы и эзоповским языком, не договаривая. Один из москвичей, который сразу же примкнул к нам, Сергей Дмитриевич Мстиславский (настоящая фамилия Масловский), старый приятель Разумника Васильевича и других петербургских писателей, был осведомлен о наших планах об издании периодического журнала, который должен был выражать наши надежды. Он стал на свой страх и риск искать такую воможность в Москве и вскоре явился к нам в Петербург с конкретным предложением. Стечения обстоятельств бывают чрезвычайно причудливы, как в частной, так и общественной жизни, и особенно в эпоху революционных потрясений. Еще до того, как мы встретились с Мстиславским, мы узнали, что один из основоположников международного анархизма, Петр Алексеевич Кропоткин, вернулся в Россию после очень долгого изгнания. Он поселился, в отличие от других вернувшихся старых эмигрантов, не в Москве или Петербурге, а в Клину, маленьком уездном городе московской губернии. Он повел себя совсем не так, как обыч-

ные русские интеллигенты, находящиеся под покровительством Алексея Максимовича Горького. А именно, по инициативе Горького, как мы узнали из закулисных источников, был основан Дом ученых, учреждение для помощи остаткам интеллигенции и, в том числе, литературным деятелям. Дом ученых должен был снабжать голодных ученых и литераторов в Петербурге пайком, достаточным для сохранения их жизни. Во всей России было только два человека, которые отказались получать этот паек. Один из них – Владимир Галактионович Короленко, живший в Полтаве, другой – анархист Петр Кропоткин, поселившийся в Клину. Он не только отказался от пайка, но и от привилегии жить в Москве или в Петрограде. В своей книге "Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса" он выдвинул, в отличие от теории борьбы за существование, свою собственную теорию взаимопомощи. Несмотря на долгую жизнь вне России, Кропоткин остался настоящим русским интеллигентом семидесятых годов. Вернувшись в Россиию и поняв, что творится вокруг, он решил создать новый центр взаимопомощи. Звучит смешно, но Кропоткин начинает собирать деньги на издание свободного журнала, периодического издания, которое было бы подстать старым толстым русским журналам, ведущим свою родословную еще с пушкинских времен, таким, как доживающие свой век уже после революции "Вестник Европы", "Русское богатство", "Отечественные записки", "Современник" и ряд других. Мы сразу поняли, что с приездом Кропоткина в Россию "нашего полку прибыло". Решили установить связь с Кропоткиным через Эмму Гольдман, которая продолжала интересоваться нами. Но это кончилось неудачей. К моему удивлению, на собрании, посвященном памяти Блока, Эмма Гольдман сидела в зале, стараясь быть незамеченной. Возможно, она не хотела компрометировать своих друзей знакомством с нами.

И вот, когда мы спросили Мстиславского относительно финансовой помощи нашему будущему журналу, он сказал: "Это все обеспечено", и намекнул, что в Клину нашелся человек, готовый снабжать финансами наш журнал. Мстиславского я ни в чем не обвиняю, он искренне верил в эту возможность. Но в Клину, около Кропоткина происходили странные вещи: загадка, которая останется неразгаданной. Конечно, понятно, что Короленко отказался от пайка Дома ученых – он жил в Полтаве, где у них был фруктовый сад и огороды, он знал, что он сам и его семья будут

сыты. А ведь Кропоткин все-таки должен был как-то существовать. Не знаю, верно это или нет, но ходили слухи, что украинские анархисты, последователи учения Кропоткина, заботились о том, чтобы он не чувствовал материальной нужды. Они еще в старые времена не гнушались даже экспроприациями, причем иногда это сопровождалось кровопролитием и убийствами. Это было первое мое разочарование в Кропоткине, в его необыкновенном образе, созданном моим юношеским воображением. То, что он, живя в Брайтоне под Лондоном, давал свое высокое благословение российским анархистам, молодым людям, проливавшим кровь, чтобы грабить казначейства, бросало тень на этот замечательный образ. Все это казалось мне по крайней мере вызывающим недоумение. Конечно, мы все ни в какой степени не могли отождествить себя с большевизмом, но с этим самопроизвольным, неорганизованным террором анархистов старого закала тем более не могли иметь ничего общего. Было непонятно, что Кропоткин продолжал поощрять такие экспроприации, как если бы ничего не изменилось за это время. И когда название уездного города Клин прозвучало в кабинете Константина Александровича Эрберга, где мы обсуждали вопрос о финансировании журнала, я, интересовавшийся Кропоткиным и подозревавший, что деньги эти – наследство тех грабежей, которые происходили с его благословения, сказал сам себе, что если обнаружится, что это так, я не буду участником этого журнала. Своим друзьям я ничего не сказал, это было бы дерзостью с моей стороны, ведь я был самым младшим среди них. Но если наше философское содружество будет иного мнения, мне придется распроститься с очень хорошими людьми, как это ни жалко. Компромисс для меня в этом случае невозможен.

Вскоре обнаружилось нечто еще более серьезное. Сергей Дмитриевич Мстиславский настолько размечтался о собственном толстом журнале, что все его внимание сосредоточилось на вопросе, как обеспечить существование этого журнала. Признают и разрешат ли его большевики? Он предлагал заинтересовать этой идеей людей с широким мировоззрением, и прежде всего, Анатолия Васильевича Луначарского. Я уже встречался с ним по поводу философского съезда и мог себе представить, что Луначарский одобрил бы такой, как бы реставрированный, журнал старой русской интеллигенции. Явно, что издавать такой журнал на государственные средства было невозможно. И вот, когда прозвучало геогра-

фическое название Клин, я не мог не скаламбурить: "Клин клином вышибают". – "А что вы хотите этим сказать?" – сказал Мстиславский. – "Все-таки меня интересует, не те ли это деньги, которые накоплены путем грабежей? Я не имею в виду советские деньги, не имеющие никакой ценности, я говорю об иностранной валюте и драгоценностях. И как же, скажите пожалуйста, Сергей Дмитриевич, вы связались с Клином? Простите мою дерзость". Мстиславский назвал Евгения Германовича Лундберга, который был мне довольно хорошо известен. Он был соседом по имению семьи Тарасевичей, которую я уже упоминал, когда говорил о Брюсове. Тарасевич – доктор медицинских наук, бактериолог и эпидемиолог – был дружен со многими и многих знал в Москве. В его доме Белый встретился со своей будущей женой Тургеневой. С Лундбергом мы познакомились в Берлине. Там же Лундберг очень подружился с грузинской семьей Гогоберидзе. Когда Кавказ был завоеван и присоединен к Федеративной Республике (тогда еще не было Советского Союза), один из членов этой семьи стал военным министром аннексированной Грузии и оказался одним из злейших палачей, преследовавшим своих сородичей. У меня были друзья среди грузин, и я был свидетелем ужасных преследований тех грузин, которые не хотели подчиняться покорившим их россиянам, а на большевиков смотрели, как на представителей великодержавной России, снова лишивших их независимости. Видя, до какой степени Мстиславский увлечен идеей выпуска журнала, я не решался ничего говорить вслух, пока не проверил своих подозрений. Да и не только он, Разумник Васильевич, такой стойкий и гордый, прямо каменное что-то, тоже поддался этому соблазну, увлекся. Ему очень хотелось и казалось логичным иметь свой журнал. Ведь дали же нам разрешение на свое автономное учреждение! За те два дня, что Мстиславский оставался в Петербурге, еще до того, как судьба журнала была решена, мы уже начали распределять свои функции в журнале, кто каким отделом будет заведовать. Назывались суммы, и мне не нравилось, что суммы эти были не в советских миллионах – "лимонах" (в то время извозчику от Николаевского вокзала до Васильевского острова надо было заплатить "лимончик"). Решили даже съездить в Москву и привлечь в редакцию москвичей; имелись в виду Бердяев и, прежде всего, Белый.

Приехав в Москву, я навестил Мстиславских и выразил желание повидаться с Лундбергом. К моему великому удивле-

нию, я услышал, что это зависит от того, согласится ли Лундберг повидаться со мной. Я объяснил, что приехал в Москву по просьбе Разумника Васильевича с поручением по поводу журнала. Мстиславские очень хорошо отнеслись ко мне, и из разговоров с ними выяснилось, что именно Лундберг связал нас с упомянутым финансовым источником, но я также понял, что с именем Лундберга связана какая-то тайна и что, очевидно, Мстиславский знал, что Лундберг никаких переговоров со мной вести не будет.

Такова жизнь, что иногда незначительные события, случайности вклиниваются в общественные дела и обнаруживают вещи, которые иначе не обнаружились бы, – совпадения обстоятельств. Я уже упоминал, что Лундберг был связан с семьей Гогоберидзе, друживших с Чхеидзе. Чхеидзе был социал-демократ, кавказский меньшевик, член первой Государственной Думы, лидер социалистической группы. Я знал его племянницу Анну Ильиничну Чхеидзе, которая в то время находилась в Москве. Узнав о моем приезде, Анна Ильинична Чхеидзе обратилась ко мне с просьбой привезти из Москвы в Петербург и передать из рук в руки курицу матери ее большой приятельницы, княгине Эристовой. Княжна Эристова, дочь очень видного прогрессивного адвоката, была невестой офицера гвардии, князя Мингрельского. Ее жених был арестован в Петербурге, где он скрывался под чужим именем, и привезен в Москву. Молодая княжна последовала за ним в Москву, где ей сообщили, что он уже расстрелян два дня тому назад, а труп его находится в морге. Княжне разрешили прийти в морг попрощаться и указали на ящик. "Этого быть не может, этот гроб ему не по росту, он был исключительно высокого роста". – "Что ж, что высокий, так согнули его". Они согласились открыть гроб – в гробу лежал не Мингрельский, а другой человек. Эристова не могла оправиться от этого удара, и Анна Ильинична боялась оставлять ее одну. "Вы должны пообещать мне, сказала Анна Ильинична, что не уйдете пока я не вернусь, даже если меня не будет часа два или три". Я и провел эти два-три часа с княжной, которая даже и в этом состоянии была очень хороша собой, и этим приобрел доверие Анны Ильиничны. Когда я справился о Лундберге, она сказала: "Будьте осторожны, ему нельзя доверять, он несомненно секретный сотрудник Чека".

Вернувшись в Петербург, я ничего не говорил о Лундберге. Разумник Васильевич и Эрберг знали его как очень способного и

талантливого литератора. Членам нашего содружества я передал о своей поездке и высказал мнение, что время для восстановления толстого русского журнала, такого, как народнические "Заветы", старое "Русское богатство" или "Вестник Европы" времен Пушкина, еще не пришло. Разумник Васильевич, человек доброго сердца, очевидно, заметил, как глубоко я был потрясен. Склонный скрывать глубокие чувства банальными фразами, он сказал: "Пожалуй, вы правы". Это означало конец проекта собственного толстого журнала. Впервые у меня возникла мысль, что может быть и наше содружество тоже несвоевременно, как несвоевременен собственный журнал. Я считал долгом, продиктованным лояльностью по отношению к своим ближайшим друзьям, поделиться с ними своими сомнениями. "А что же будет тогда с нашими занятиями семинарского типа?" – в один голос спросили Эрберг и Иванов-Разумник.

Тут мне придется упомянуть немного о своей собственной роли в занятиях семинарского типа. Дело в том, что помимо общих собраний, открытых и полуоткрытых, помимо приемов и встреч, мы, как и предвиделось в уставе нашего содружества, организовали занятия семинарского типа, подобные университетским. Это открывало такие перспективы и встречи, что если бы их не было, то надо было бы их придумать. Начали мы с семинара "Учение о духе", который вел Андрей Белый. Никто не предполагал, ни товарищи по работе, ни его заграничные друзья, что Белый, под флагом Вольной Философской ассоциации, намерен основать отделение Антропософского общества, центр которого находился в Дорнахе. Борис Николаевич не мог, был не в состоянии делать что-либо по указке, повторять мелодию с чужого голоса. Таково, по крайней мере, мое впечатление, которое, я думаю, оправдано. Он был необыкновенно творческой натурой. То, что он говорил на своих семинарах, конечно, как-то перекликалось с "Geisteswissenschaft" – учением Рудольфа Штейнера. Но когда впоследствии я передавал ученикам и последователям Штейнера то, чему учил нас Андрей Белый в Петербурге, они утверждали, что этого быть не может, что я его не понял, что все это совершенно не похоже на учение Доктора, как они называли своего духовного руководителя. Вероятно, они были правы, так же как и я. Я передавал то, что я слушал и слышал на семинарах Андрея Белого, и это не совпадало с тем, что ученики Штейнера слышали из уст самого доктора. В мировоззрении Бориса Николаеви-

ча было нечто магическое, но он не был чужд естественным наукам. Как известно, он был сыном видного профессора математики Московского университета Николая Бугаева. Естественными науками он интересовался, но особенно хорошо знал биологию, так как занимался ею в Московском университете. Впоследствии он учился на философском факультете в немецком университете в Фрейбурге. Широта его образования была незаурядной. И говоря это, я скорее преуменьшаю, нежели преувеличиваю. Все, о чем говорил Борис Николаевич, исходило из глубины его собственной души, было индивидуально и неповторимо, как, впрочем, неповторима душа любого человека. В то время, слушая в его изложении учение Штейнера, я не мог отделаться от мысли, что если бы Борис Николавеич излагал не учение Штейнера, мало освоенное широкой образованной публикой, а учение Гегеля или Платона, это было бы таким же новым открытием в истории мысли, как то, что он говорил о Штейнере.

Я уже говорил, что мировоззрение Белого носило магический характер, но не шло в противовес естественным наукам. Сверхъестественное было для него тем же, чем была метафизика для Аристотеля. Первоначально метафизика Аристотеля, как известно, значилась в канонах учения Аристотеля после физики, и получила смысл "сверхфизики". Можно сказать, что антропософия для Белого была наукой о сверхъестественном, знанием не теоретического, а сверхъестественного – знанием непосредственным и живым. Не на занятиях, а лично он рассказывал нам такие вещи, которые казались слушателям невозможной чепухой и выдумкой. Однако он их не выдумывал – для него сливалось его собственное отношение к сверхъестественному и магическому с антропософским учением. Антропос по-гречески – человек. Для Белого ЧЕЛО-ВЕК было антропософским понятием: "ЧЕЛО ВЕКА" – каждый человек воплощает лицо века. Когда я однажды на семинаре спросил его: "Скажите, Борис Николаевич, не внушено ли ваше толкование человека-антропоса, являющегося основным элементом учения антропософии, гегелевским "Zeitgeist"?", – он очень обрадовался: "Совершенно верно, я об этом не подумал, это именно Zeitgeist". Вокруг Белого постепенно собралась и окрепла группа его последователей. И если бы он продолжал свои занятия регулярно, то в России, вероятно, зародилась бы своя собственная, оригинальная школа мысли.

Занятия происходили сначала раз в неделю, но стало соби-

раться все больше и больше народа, и было необходимо вести занятия два раза в неделю. Лекции превратились как бы в школу мудрости Андрея Белого и имели для нас очень большое значение. Сидя на семинарах Белого у Чернышева моста, в довольно обширном зале, наполненном слушателями и слушательницами разных слоев общества, иногда даже в рясах, я не раз вспоминал рассказы о лекциях немецкого философа, творца мысли, Иоганна Готлиба Фихте, субъективного идеалиста и последователя Канта. В его произведении "Wissenschaftslehre" – "Наукоучение" была какая-то связь с антропософией. Своим студентам Фихте вдруг приказывал, выкрикивая: "Denk die Wand" – "Думай стену!". И когда наступало напряженное молчание – десятки слушателей впивались глазами в стену и старались мыслить – Фихте снова выкрикивал: "Und jetzt, denken Sie das Denken der Wand!". Так и слушатели Белого рассказывали мне, что впервые на его лекциях знакомились с природой мысли, оторвавшейся от объекта и ставшей своим собственным объектом – самосознанием. Я тогда не считал Белого гением, но в его лекциях всегда присутствовало творческое начало. Надеюсь, что все эти лекции остались где-нибудь у него записанными. Белый любил и умел не только писать, но и говорить. Он был не только мыслителем, не только учителем, человеком в общении со сверхъестественным, но и великим поэтом. Поэтому в чтении его лекций была своеобразная музыкальность. Его лекции звучали как стихи! В то время разруха была полная, нужные книги раздобыть было трудно, даже в университетских библиотеках Петербурга. Лекции Белого записывались многими. Лекции его нельзя даже сравнить с лекциями Иванова-Разумника, Эрберга или моими, настолько выше были они по своему духу и содержанию. Повторяю, в лекциях Белого было зерно, из которого могла бы вырасти и развиться новая традиция русской философии.

Разумник Васильевич читал лекции по истории русской общественной мысли и русской литературы очень последовательно, выбрав нарочно период, который не давал ему повода ссылаться на текущие события. И люди, которые хотели услышать объективное изложение всей этой массы фактов, которые Разумник Васильевич называл историей русской интеллигенции, ходили на его занятия, как ходят в высшие учебные заведения. Должен признаться, что я присутствовал на некоторых из этих занятий больше из учтивости, чем из-за настоящего интереса. Так в Гейдель-

бергском университете я ходил слушать Виндельбанда, который считался выдающимя историком философии, был хорошим стилистом, широко образованным человеком. Но я, молодой студент, посещавший его лекции, хорошо знал, что ничего не потеряю, если пропущу их, потому что достаточно взять его книги и почитать, может быть, даже с большей пользой. Сам Разумник Васильевич тоже смотрел на это так. "Да, может быть, теперь, когда невозможно достать книг, наши семинары и лекции полезны и нужны". Думаю, что у Разумника Васильевича было желание подчеркнуть, что Андрей Белый в нашем содружестве не единственный, которого следует и стоит слушать. Он считал, что необходимо организовать и другие семинары.

Одним из подходящих лекторов для этого был несомненно Константин Александрович Эрберг, имя которого я упомянул на одном из заседаний и отметил, что его образование в сфере истории искусств, включая философскую эстетику, как и теорию искусства, отличалось необычайной широтой. Память его была необыкновенной. Его коллекция китайских и японских гравюр считалась лучшей в Петербурге. В отличие от Разумника Васильевича, который любил музыку и, обладая исключительной музыкальной памятью, мог воспроизвести по памяти 30-40 знаменитых, симфоний (что помогло ему не лишиться разума, когда он был арестован и заключен в одиночную камеру), но не был в глубоком смысле музыкальным, Константин Александрович, зафутляренный с виду человек, чиновник высшего разряда, просто жил искусством. И творчество для него было общим знаменателем всего искусства. Под этот общий знаменатель он подводил не только искусство, но и общественные явления: революция для него являлась творческим началом, и поэтому — "Да здравствует революция!". Зато его педантизм, стремление к порядку сыграли значительную роль в жизни всего нашего содружества. Константин Александрович предложил ввести для учета и контроля наших семинаров особое учреждение — секретариат.

Об этом следует упомянуть хотя бы потому, что это новое учреждение дало возможность политической полиции, как мы называли "блюстителей порядка", вести наблюдения за тем, что делалось в нашем философском содружестве. Желанием Константина Александровича было навести порядок в наших семинарских занятиях, а вышло так, что была создана возможность наблюдать за нашей деятельностью и за нами. В связи с этим особо глубокие

корни пустила у нас секретарь курсов по теории философии творчества, которые возглавлял Эрберг, энергичная женщина, сумевшая завоевать его доверие. Как потом стало известно, эта женщина была непосредственно связана с политической полицией.

Конечно, я должен упомянуть и о своих собственных семинарах. Я решил тогда читать курс по метафизике. Этим я вызвал насмешки Разумника Васильевича, который не доверял классическому идеализму и считал, что я чересчур подвержен его влиянию. Он, следуя примеру Андрея Белого, тоже приходил на мои лекции. Когда он услышал мое определение сути метафизики – "Все или ничто", Разумник сказал: "Так вот вы чем занимаете нашу молодежь – всем и ничем?" Замечу, что сказал я это за двадцать лет до того, как появилась книга Сартра "L'Etre et le Néant".

Когда я перешел к толкованию "Критики чистого разума" Канта, Белый сразу же нашел общие точки соприкосновения этого толкования с учением Штейнера. "Критику чистого разума" я уже тогда толковал в стиле и духе того направления, которое получило впоследствии название экзистенциализма. Десять лет спустя с этим согласился Карл Ясперс, который независимо от меня пришел к тому же мнению. Ведь мы были последователями одной и той же философской школы.

Прибавлю еще немного о составе нашей аудитории. Наш милейший "человек в футляре" Константин Александрович Эрберг заинтересовался составом слушателей наших семинаров и задумал вести статистический учет слушателей по категориям: какие слои населения Петербурга и в каких количествах откликаются на наш зов и находят время регулярно посещать занятия. Эта идея была ему отчасти внушена вышеупомянутой секретаршей семинара по теории философии творчества. Мы не сомневались, что большинство наших слушателей состояло из учащейся молодежи. Например, на моих занятиях присутствовали люди, способные следить за ходом мысли лектора, знакомые с первоначальными принципами философии, принимающие участие в обсуждениях и прениях. Но были исключения, отражающие вздыбленную Россию того времени. В основном это были студенты, военные, но почти всегда присутствовали на всех наших семинарах рабочие с заводов – Путиловского, Обуховского и др. Это было не удивительно, потому что марксистские кружки стали обычным явлением на этих заводах с начала века, продержались, пройдя через революцию 1905 года, вплоть до революций 17-го года. В этих кружках образова-

ние получали не только рабочие, но и члены их семей. Только если в 1899-1901 годах люди занимались изучением "Коммунистического Манифеста" Маркса и Энгельса, то теперь, как это ни странно, приходили слушать Белого, чтобы понять и усвоить значение поэзии символистов. Однажды, когда я присутствовал на лекции Белого, Борис Николаевич упомянул о том, что понять психологию творчества нельзя без понимания того, что образы писателя есть нечто более реальное, чем то, что в учебниках психологии называется воображением. Создаваемые писателем образы в какомто смысле уже существуют, независимо от субъективного состояния автора. Вдруг раздался голос, грубоватый такой басок: "Это что ж вы, про ангелов говорите?" Чувствовалась нотка критицизма – не восстановление ли это церковных суеверий? Борис Николаевич, уловив, очевидно, куда клонит вопрос, ответил: "А вы ангелов не бойтесь, если будете их бояться, то не заметите, как черт выследит вашу душу". – "А что ж, прикажете и в дьявола верить?" И тогда, ни на секунду не задумываясь, Белый стал рассказывать о том, что он испытал, сочиняя свой "Петербург": "А вот я вам расскажу, что я переживал, создавая образ Дудкина. Вдумывался, вдумывался в него и вдруг почувствовал, что я сам Дудкин, что против воли начинаю говорить его языком, его интонациями; что я не выдумываю его, а вместе с ним брожу по неизвестным закоулкам, до которых моему роману дела нет. Это продолжалось и днем и ночью. Что же это такое? Создаваемый мною Дудкин? Нет, это, если хотите, бес, который овладевает мною. Ничего не имел бы против, чтобы и ангелы мною овладевали, только это редко случается!" И басок из угла вдруг поблагодарил: "Спасибо, Борис Николаевич", чем выразил то, что он что-то понял, чего не знал и не умел вообразить.

Аудитория Константина Александровича состояла из людей, интересующихся искусством и знающих уже достаточно историю живописи, музыки и т.д. Прения на его лекциях происходили на определенном уровне. Обнаруживались иногда самородки-певцы с заводов Петербурга, как всегда и везде в России, как в "Записках охотника" Тургенева. Музыкальность русского народа все еще жила и свободно заявляла о своем существовании на семинарах Эрберга.

Итак, секретарть Эрберга, сама ли, или под внушением извне, составила анкету для статистического анализа и учета слушателей. Перед началом лекций присутствующим раздавали эти ан-

кеты и просили заполнить их. При этом подчеркивалось, что если кто-либо не хочет ее заполнять, то это его добрая воля. Объяснялось, что нам, да и им самим полезно знать, в какой среде мы находимся. Окончательных статистических сводок я никогда не видел, но слышал, что большинство наших слушателей принадлежало к категории людей, не имеющих среднего образования. Что сталось с этими окончательными сводками, я не знаю. Могу только высказать гипотезу, не слишком смелую, что они должны находиться где-то в архивах петроградской Чрезвычайной комиссии.

Определяя задачи метафизики, описывая ограничения, так сказать, законной территории метафизики в системе философских наук, я должен был постоянно бороться с преобладающим в аудитории агрессивным солипсизмом. Это была настоящая борьба. Было стремление масс увильнуть от общественной деятельности того времени. Чтобы облегчить свою совесть, они создали себе некий философский "тайник", в который они, как улитка в раковину, прятались и там сидели: "Нас никто и ничто не может тронуть". Это, пожалуй, было для них самым важным. Реакция на ужасы – бесчувствие. Реакция на дурную общественность – отрицание даже возможности общественности. Большинство моих слушателей были такого мнения. Возможно, что такие настроения были связаны с теми огромными общественными потрясениями, через которые мы тогда проходили. Мне представлялось, что именно такие философские школы, как наша, насаждали мудрость, или любовь к мудрости, выражающуюся словом "философия" в глубокой древности. И если бы не было революции, то наша работа оставалась бы только в рамках развития философской культуры в России. Знал я только, что наша работа не пропала даром.

Когда я оказался за границей, в конце 22-го, начале 23-го года, наши молодые философы довоенного периода Сергей Осипович Гессен и Борис Викторович Яковенко, издатели "Логоса", отделения международного журнала "Internazionale Zeitschrift für Philosophie der Kultur" на русском языке, встретившись со мной в Берлине, попросили меня дать им ряд статей для первого тома "Логоса" о докладах, прочитанных на семинарах в нашем философском содружестве за последние годы. У Яковенко даже оказался список докладов, прочитанных у нас в философском содружестве, в котором числился и мой доклад "О трансцендентальном методе". А когда я спросил Бориса Викторовича Яковенко, от-

куда же они знают о нас и нашей работе, он ответил: "Не спрашивайте, слово – не воробей, вылетит – не поймаешь". Наши эмигрантские философы каким-то неизвестным нам образом узнавали о том, что происходило в России и использовали кое-какие материалы за границей.

III. БЕЛЫЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Неудачная попытка основать постоянный ежемесячный журнал дала мне возможность ясно понять, что мы все время находимся под наблюдением государственного охранного отделения. Я намеренно употребляю старый ненавистный для всей интеллигенции термин – "охранное отделение", потому что наша российская интеллигенция давно уже была заражена антиполицейской фобией. Кто бы ни говорил от имени полиции, от чьего бы имени полиция ни говорила, самый факт вмешательства ее в культурные, чисто интеллигентские дела казался поношением самых творческих стремлений интеллигенции. Раньше у нас создалась иллюзия какого-то минимального успеха в нашей борьбе за свободу мысли. Теперь, после того, как история с журналом чуть не кончилась позором и скандалом, боязнь, что мы находимся под влиянием иллюзии, еще больше возросла. Смерть Блока, стремление Андрея Белого сохранить свои творческие силы за пределами Советского государства, мои личные переживания в связи с журналом – все это подсказывало вывод: пришел конец. Однако я не считал возможным открыто говорить об этом товарищам по работе, которые вложили в дело Вольфилы столько сил и столько надежд. Разумник Васильевич, один из умнейших представителей русской интеллигенции, связывал почему-то со мной, человеком молодого поколения, определенные планы на будущее. Я не мог его так просто огорчить сообщением, что я тоже собираюсь бежать, говоря языком самого Разумника Васильевича, "как крыса с тонущего корабля".

Я был не в силах этого сделать еще и потому, что Разумник Васильевич переживал в это время свою личную трагедию. Его единственный сын Лева попал под влияние дурной среды. Когда Лева учился еще в гимназии в Царском Селе, он гордился тем, что был сыном не большевика, а левого эсера. И когда гимназистов старших классов спрашивали, к какой партии они принад-

лежат, большинство отвечало, что они кандидаты или члены комсомола. Лева же Иванов громогласно заявлял: "А я левый эсер". Разумник Васильевич тогда говорил мне с гордостью: "Вы знаете, теперь, если они придут с обыском в дом, так уж неизвестно, из-за меня или из-за Левы!" Ему казалось, что Лева идет по стопам отца, по стопам русской интеллигенции. И вот, через какой-нибудь год, Лева попал в уголовную среду. Как сына известного писателя, его товарищи подговорили воспользоваться этим и набрать побольше денег в долг от имени отца. Упоминаю я об этом не случайно, потому что на примере Левы отразилось, "как в капле воды", – Разумник очень любил это выражение, – моральное затемнение всего поколения, легшее густой тенью на всю Россию. Лева, очень милый, приятный молодой человек, в один прекрасный день пришел ко мне и сказал: "Я сейчас из дому, Разумник Васильевич шлет вам поклон, он был бы рад, если бы вы могли дать ему немного денег взаймы", он назвал какую-то сумму, которую я и дал ему тут же. А через день-другой явился сам Разумник Васильевич. Он всегда-то был какой-то серый, а теперь выглядел совсем пожелтевшим: "Скажите, был у вас Лева на этой неделе? Он занял у вас деньги от моего имени?" – "Да, мелочь какую-то". – "Нет, нет, скажите, сколько? Я вас очень прошу, сколько?" Я понял, что это волнует его так потому, что он напал на след каких-то мошеннических проделок. У меня сжалось сердце за него: "Разумник Васильевич, это не важно". – "Нет, вы ошибаетесь, это очень важно. Дело не в том, чтобы вам вернуть деньги, а в том, чтобы узнать, к кому он еще пошел". Оказалось, что он уже многих обошел, опорочив доброе имя Разумника Васильевича. Вскоре после этого я встретился с Аркадием Георгиевичем Горнфельдом, сотрудником закрывшегося журнала "Русское богатство", человеком своеобразным и добрым, который спросил меня: "Ведь вы большой друг Разумника Васильевича, как он все это переносит?" Лева и у него взял деньги. Разумник Васильевич настоятельно требовал, чтобы сумма, взятая Левой, была названа. Деньги он тут же вернул. "Вы знаете, – сказал мне Аркадий Георгиевич, – я Разумника Васильевича хорошо знаю, ведь он очень умный человек, но и очень гордый. Какое это для него должно быть несчастье. И не знаю, что мне делать. Посоветуйте". – "Ничего не делайте, я при случае упомяну, что вы просите ему кланяться". Деморализация, проникшая в одну из наиболее кристально чистых семей, носительницу заветов и традиций старой русской ин-

теллигенции, сыграла в моей судьбе большую роль. Среди факторов и мотивов, побудивших и определивших мое желание покинуть Россию, деморализация единственного сына Разумника Васильевича – Левы – повлияла на мое решение. Но чтобы не огорчать Разумника, я дипломатически сказал ему: "Теперь, когда вы сообщили мне, что все хлопоты Бориса Николаевича, как он сам пишет вам в письме из Москвы, ни к чему не привели, что все двери для него наглухо заперты, что люди, которые любят и ценят его как писателя и желают сохранить его творческие способности, наотрез отказываются двинуть мизинцем, чтобы помочь ему уехать за границу легально, я решил и готов перейти границу нелегально вместе с Белым, если Борис Николаевич согласен". В письме Разумнику Борис Николаевич упоминал, что скоро появится у нас в Петербурге. И хотя там ничего не было сказано явно, Разумник и я понимали, что он готов перейти границу нелегально. Это означало нечто жуткое для нас. Мой добрый Разумник Васильевич, скупой на проявления чувств, как-то еще больше посерел. Только тогда я понял, сколько он пережил за это время. Нечего повторять, как любил он Белого, как много Белый значил в жизни Разумника Васильевича. По сравнению с судьбой Бориса Николаевича, моя судьба была для него только "походцем", как говорят лавочники. Прибавлю здесь, что уж после моего отъезда сын Разумника был арестован по уголовному делу и сидел в тюрьме. Выйдя из тюрьмы, он оказался сотрудником одного из отделов Чрезвычайной комиссии. Сверхдьявольская история – "Водевиль дьявола", по выражению Достоевского. Сын Иванова-Разумника стал чекистом! Опускался со ступеньки на ступеньку!

Несмотря на то, что в большевистской России происходили такие моральные неистовства, Разумник Васильевич смотрел на эмиграцию, как на грех. В нем сидел какой-то странный национализм, заставлявший его смотреть на иностранцев как на людей второго сорта в нравственном отношении. Он считал, что если эмигрирует человек с полу-немецкой, грузинской или шведской фамилией, так это еще куда ни шло. Настоящий же русский человек НЕ ДОЛЖЕН эмигрировать! Его не должны пугать никакие трудности и противоречия. Он должен оставаться и пройти через все испытания в России. А как же эмиграция Андрея Белого? Для него закон не писан. Он для Разумника – исключение. Он может даже эмигрировать! И вот Борис Николаевич появился в квартире

Разумника в Царском. Он произнес целый монолог. Тут было и проклятие незавидной роли человека как ползучей твари на земле, и восхваление Бога, который дал человеку сознание, что он – ничтожная тварь; было и прославление России, которая дала возможность человеку это постичь во всей глубине, и жалоба на свою личную судьбу, и приветственный гимн тому, что он родился в этой России! Сводилось все это к тому, что надо идти на костер во имя превращения потенциального творчества в актуальное. Это был гимн мученика, идущего на костер во имя творчества. Как сейчас вижу этот жест, в котором отражался весь его характер: "Мне нужны широчайшие полотна, – выкрикивал он, – тут их невозможно, невозможно добыть". Он имел в виду те "широчайшие полотна", которые он хотел бы создать и в которых уместилось бы это колоссальное событие – революционная Россия, Россия в целом, его вера в нее – "Россия, Россия, Россия – Мессия грядущего дня". Убеждение в необходимости создания грандиозных полотен ни на секунду не покидало его; ему нужны были какие-то новые монументальные формы литературы, не в стиле кубизма в живописи, а в стиле архитектуры Браманте и Микельанджело. С тех пор я никогда и ничего подобного не переживал, как в тот раз, слушая Белого. Этот монолог его я воспринял как некий эстетический экспромт, главной целью которого было, вероятно, убедить Разумника Васильевича в том, что он, Белый, прав, решившись эмигрировать. Разумник Васильевич испугался; я думаю, это самое верное слово, испугался за Белого, который по его мнению был особенно подвержен опасности, так как не мог и не умел в нужный момент принимать благоразумное решение. В его состоянии и настроении нельзя было надеть на него солдатскую форму, заставить шагать в строю и принимать меры самообороны, присущие каждому рядовому солдату. Я же воспользовался этим словесным вулканическим взрывом как подходящим моментом заявить Разумнику еще раз, что готов сопровождать Бориса Николаевича, если он ничего не имеет против и идет на риск эмиграции, чтобы добиться свободы творчества. Несмотря на его отрицательное отношение к эмиграции вообще и на все то значение, которое Разумник Васильевич придавал моему вкладу в нашу общую работу, на лице его появилась радостная улыбка: "А вы это хорошо придумали". Ход мысли его – ясен: по сравнению с сумасшедшим гением, я, более трезвый и к тому же не чужой человек, могу быть полезным Борису Николаевичу. А Белый повер-

нул голову ко мне: "Аарон Захарович! Мы вместе поедем!" Очевидно, в глубине души он сознавал, что ему нужен опекун.

Таким образом, в тот вечер было принято решение, что мы отправляемся вдвоем, а мне поручалась и доверялась подготовительная работа. Практическая сторона дела оказалась довольно простой. У меня были соседи на Васильевском острове, которым я доверял. Это были честные люди, которые принимали участие в организации нелегальных переходов через границу. Один из них свел меня с инженером, занимавшимся укреплением советско-эстонской границы около города Ямбурга. Не буду называть имени этого инженера, кто знает, может быть, родственники его еще живы. Он был дружен с начальником пограничной охраны и все дороги и пути были ему ведомы. Этот инженер уверял, что охрана не обратит на нас внимания, если он возьмет с собой для закупки провизии в Эстонии двух таких людей, как Борис Николаевич и я. Нам только следует запастись документами, необходимыми для того, чтобы эстонские власти не отправили бы нас обратно через границу в Россию. Инженер объяснил нам, что полагаться на литературную славу Белого не следует, в Эстонии неважно, Белый это или нет. Гораздо важнее запастись письмом к сановникам на той стороне. Такое письмо было написано не эстонскому, а латвийскому министру иностранных дел Мееровичу, человеку умному, как уверял его друг, написавший письмо, и настоящему представителю русской интеллигенции, кончившему Петербургский университет. Получив письмо, мы только ждали сигнала от инженера, чтобы двинуться в путь. Нам посоветовали переходить границу в понедельник, поскольку накануне, в воскресенье, часть команды пользуется случаем и напивается, так что в понедельник пограничная бдительность и дисциплина ослабевают. Воскресенье мы должны были использовать для того, чтобы продвинуться поближе к пункту перехода границы. Об этом плане знали только пять человек: Борис Николаевич, Разумник Васильевич, мой сосед, инженер и я.

И вот в субботу – нервный звонок ко мне в дверь. Я открыл парадную дверь и увидел перед собой хорошо мне известную Надежду Михайловну Меринг, ту самую, которая так полюбилась Константину Александровичу Эрбергу и стала секретарем его семинара по теории и философии искусства. Она очень интересовалась философией и даже училась в университете. Ко мне она иногда заходила, чтобы взять книги немецких классиков по фило-

софии, в частности Фихте. Надежда Михайловна была в крайнем волнении. Едва поздоровавшись, она спросила: "Борис Николаевич у вас? Где он? Мне немедленно нужно его видеть". Я объяснил, что если ничего не изменилось, то Белый предполагал провести субботу и воскресенье до вечера, как всегда, у Разумника в Царском. Я нарочно сказал "до вечера" для конспирации. На самом же деле Белый должен был приехать ко мне уже в воскресенье утром, а инженер, который жил по соседству, должен был приехать ко мне в своей машине и подвезти нас поближе к границе. – "Тогда простите, у меня нет времени, я должна немедленно ехать в Царское". Она исчезла. А к вечеру в тот же день специально приехал ко мне Разумник Васильевич: "Вы уже знаете о посещении Надежды Михайловны Меринг?" – "Да, да, она была у меня, но сказала только, что немедленно хочет видеть Белого". – "Надежда Михайловна была и у нас. Она сообщила, что в Чека знают о плане Белого нелегально перейти границу во всех подробностях. Вашего имени она не упоминала, очевидно, в Чека о вас не знают". Когда Разумник Васильевич спросил ее, каким образом она об этом узнала, она ответила: "Не спрашивайте, я вам говорю, в Чека знают". Это был конец нашего предприятия.

От кого и как стало известно в Чека о нашем плане, мы до конца так и не обнаружили. Скорее всего, это был тот инженер, который взялся устроить наш побег. Может быть, даже для того, чтобы спасти жизнь Белого, так как случалось, что при переходе границы в перебежчиков стреляли. По мнению Разумника Васильевича, магический образ Бориса Николаевича настолько повлиял на молоденькую переписчицу Надежду Меринг, зарабатывающую на хлеб в Чека, что она, рискуя собой, постаралась спасти Белого. До известной степени и это было возможно. Но я думал иначе. Помоему, Надежда Михайловна просто имела связи с Чека. Перед нами стал вопрос, не закрыть ли на все это глаза и оставить Надежду Михайловну работать у нас по-прежнему, или открыто заявить ей о нашем подозрении. В вольном философском содружестве, целью которого является понять смысл революции в духе философии, такая активная деятельница, которая делит свою лояльность между нами и Чека, – недопустима. Состоялось совещание, на котором присутствовали Ольга Дмитриевна Форш, Белый, Иванов-Разумник и я. Поскольку Ольга Форш особенно хорошо понимала женскую натуру, ей было поручено переговорить с Надеждой Михайловной с глазу на глаз. Я предложил нечто вроде

компромисса: сказать Надежде Михайловне, что мы все очень признательны ей, включая Бориса Николаевича, за ее предупреждение, хотя переход через границу Белого не был еще решен окончательно. Мы не подозреваем ее в сотрудничестве с Чека, но связь ее с ними для нашего содружества – нежелательна. После этого разговора с ней – посмотрим, будет ли она продолжать работать с нами. Если в ней есть хоть капля чести, она сама уйдет. За это "соломоново решение" Ольга Дмитриевна похвалила меня. Она так и сказала Надежде Михайловне: "Вы нас простите, но невольно возникает мысль, что у вас есть какие-то особые связи с петроградской Чека, и вы, конечно, хорошо понимаете, что мы не можем скрыть от вас, что мы так думаем". – "Я не предполагала, что вы так будете думать. Какие же это связи? Я прирабатываю перепиской в Чека. Я и не думала, что должна об этом кому-либо из вас рассказывать, даже Константину Александровичу". Надежда Михайловна объяснила Ольге Форш, что попросту работала в Чека переписчицей и, перенося бумаги из одного отдела в другой, обнаружила сведения о предполагаемом побеге Белого. Она по своей собственной инициативе решила предупредить нас об этом. Вот и все. Однако после этого разговора мы ее больше не видели. Сама ли она сделала какие-то определенные выводы, или ее начальство решило, что их секретный сотрудник провалил свою миссию, мы так и не узнали. Мы же добились нужного результата без того, чтобы опозорить человека. Приходили к нам и другие незнакомцы работать в Вольфиле, но у них на лицах было написано, зачем они пришли: чтобы следить! А надежда Бориса Николаевича хотя бы нелегально уехать за границу – рухнула. Ему ничего не оставалось, как примириться с мыслью, что его не выпустят, но он ошибся. Довольно скоро и совершенно неожиданно явилась помощь из Москвы. Кто помог там Белому, какая Вера или Любовь, – неизвестно. Скорее всего это был Горький, который не раз писал прямо "дорогому Владимиру Ильичу" на кремлевский адрес, заступаясь за того или иного невинно арестованного. Как бы Горький ни относился к символизму в литературе и творчеству Белого, он считал себя всеобщим покровителем культуры и искусства в России и потому обязанным помогать писателям. Во всяком случае, в один прекрасный день на пороге квартиры Бориса Николаевича в Москве появился посыльный из паспортного отдела Народного комиссариата внутренних дел с сообщением, что Белому выдан заграничный паспорт, за которым ему следует явиться. Пас-

порт он получил и вскоре выехал из России.

Стоит упомянуть здесь и о том, как я выехал за границу. После отказа мне в заграничном паспорте я и не мечтал, что кто-либо может позаботиться обо мне и заступиться за мои "культурные подвиги". Однако, неожиданно для себя, я получил приглашение явиться в Смольный. Оказалось, что главой петроградской Чрезвычайной комиссии в это время был некий Мессинг. Это был один из трех братьев, которые наводили ужас и страх, но не на население, а на самих чекистов. Все трое славились необыкновенной решительностью, большим чувством справедливости и желанием сделать из Чека блестящий, чистый инструмент, поддерживающий порядок в большевистском государстве. Если где бы то ни было обнаруживалось, что чекисты грабили население, забирая себе ценные вещи, компрометировали "великое имя и честь Дзержинского", братья Мессинг принимали строжайшие меры, старались, по словам одного из них, "вычистить нечисть из Чека". Братьев Мессинг боялись. Говорили, что старший брат, работавший в московской Чека, вызывая к себе в кабинет дрожащего чекиста, мог тут же на месте предъявить заслуженное обвинение и прямо из кабинета послать в подвал Лубянки на расстрел. Так как братья были евреями, то возник своеобразный антимессингский антисемитизм внутри Чека. В то время библиотекой петроградского отдела Наркомата иностранных дел заведовала наша хорошая знакомая, относившаяся ко всем нам, и в частности к Белому, с большой симпатией. Она посылала в кабинет начальника петроградской Чека через посыльную иностранные газеты, получаемые библиотекой Наркоминдела для Чека. К пачкам с газетами она иногда прилагала частные письма с той или иной просьбой. Мне она предложила, что если бы я хотел написать заявление Мессингу, которое бы прямо дошло до него, то она могла бы положить это заявление через Дуню или Дашу непосредственно к нему на стол. И если заявление будет написано достаточно убедительно, он прочтет его и подпишет.

Надо упомянуть, что политика по отношению к интеллигенции в это время несколько изменилась. Очевидно, в одном из отделов Чека было решено, что среди ученых, экономистов, социологов и особенно литераторов было чересчур много неисправимого элемента — "лишних людей". Мысль, "зачем же их держать, мучить, допрашивать, арестовывать" — могла бы прий-

ти и в голову Ленину. К примеру, мой очень близкий друг Лев Платонович Карсавин, последний из выборных ректоров Петербургского университета, откровенно исповедовал православие, изучал Отцов Церкви. Зачем же держать его в России? Таким образом, высылка из России за границу по существу заменяла смертную казнь. Если бы Белый подождал еще немного, то и он бы попал в эту категорию "лишних людей". Как это ни жаль, но меня в эту категорию не включили. Тогда я решил напомнить, что в сущности я тоже подходящий кандидат. Воспользовавшись предложением заведующей библиотекой, я написал заявление в Чека, в котором подробно объяснил, что мой главный интерес в жизни – философия, но я не марксист и думаю, что никогда уже не вернусь к этому своему юношескому увлечению. Я читал "Капитал" Маркса в гимназии и одно время очень увлекался им. Кроме того, я придерживаюсь еврейской религиозной традиции, от которой никогда не откажусь. Я ссылался на статью Луначарского, появившуюся в "Правде" и опиравшуюся, вероятно, на политику Ленина, на основании которой мне следовало бы дать возможность продолжать свои занятия философией вне пределов Советского Союза, так как здесь это ни для кого не представляет интереса. Мессинг прочел мое заявление и написал: "Выдать заграничный паспорт". Оставались кое-какие мелкие формальности: я должен был поехать в Смольный и представить поручительство двух членов Коммунистической партии в том, что за границей я не буду заниматься контрреволюционной деятельностью. Я поколебался немного, но потом решил, что если мне разрешается заниматься немарксистской философией за границей, то я имею право на свое собственное толкование революции и контрреволюции. И все же в душе я боялся, что могу подвести своих поручителей. Поручителей я нашел легче, чем ожидал. Одним из них был комсомолец, рекомендованный мне его теткой. Когда я встретился с ним, он спросил: "Вы куда хотите ехать?" – "В Германию, фисофией заниматься". – "Не знаю, как в Германии. Я тут с ребятами ездил в Англию. Скука... Совершенно нечего там делать, скука. Гуляли, гуляли по Лондону. Неинтересно..." – "А я не гулять собираюсь, а по библиотекам ходить". Подписал. Второй тоже подписал без всяких разговоров. К сожалению, гораздо позже, когда я был уже в Англии, я прочел в газетах, что молодой человек, насколько я помню, Ханык по фамилии, кото-

рому так скучно было в Лондоне, был расстрелян по делу об убийстве Кирова. Когда я представил свое заявление с резолюцией Чека выдать мне паспорт, рядом со мной оказался Евгений Иванович Замятин с женой, которые получили отказ на выезд. Возвращаясь вместе в трамвае, Замятин спросил меня: "Почему же вам так посчастливилось? Не знаешь, где найдешь, где потеряешь". Впоследствии он тоже попал за границу, но вскоре умер сравнительно молодым человеком. Я получил паспорт и в конце 22-го года приехал в Германию. Германия была не та, которую я знал с ранних лет. Берлин был не тот...

Начинается новая история, которая служит как бы эпилогом моей повести о Вольной философской ассоциации. В самом конце 22-го года, когда я попал в Берлин, я никак не ожидал встретить там Андрея Белого. Я предполагал, что, выбравшись заграницу, Борис Николаевич сразу поедет и остановится в городке Дорнах под Базелем, столице антропософии, где жили не только Штейнер с женой, но и ближайшие друзья его и соратники по антропософии. Но он не поехал в Дорнах, а поселился в Берлине. Он стал колебаться в своей глубокой вере в вождя антропософии Штейнера. У него возникла мысль заново начать в Берлине нечто похожее на нашу Вольфилу. В надписях на его книгах, которые он дарил мне тогда, помимо личного доброго чувства ко мне, явно выражены чувства "совольфильства". Каково же было мое удивление, когда вскоре после моего приезда в Берлин мне сообщили, что Бориса Николаевича можно всегда найти в кафе "Прагер Диле", что Белый совсем не тот, которого мы знали в России. С ним что-то случилось, произошла перемена... Все, что мне о нем говорили, я чувствовал, было наполовину клеветой. Во всяком случае, было какое-то злорадство, враждебность, не только по отношению к Белому, но и ко всему тому новому в русской мысли, к чему Белый принадлежал, из чего он вырос. Враждебность, потому что именно в эмиграции все несчастья русского государства за последнее десятилетие в первую очередь ставились в вину этому передовому, новому направлению во всех областях творчества и политики. А кем бы ни был Белый как писатель, он, безусловно, принадлежал к этому новому, передовому течению. Вначале я надеялся, что в слухах о Белом было больше черной клеветы, чем правды. Не могу сказать, что я пришел в первый раз в "Прагер Диле" с ровно бьющимся сердцем. "Прагер Диле" –

кафе в Берлине на Прагер-плац в стиле немецких кафе послевоенного времени, где веселилась разнообразная публика: немецкие патриоты, оплакивающие поражение Германии, вперемежку с русскими эмигрантами, оплакивающими падение царской России. В "Прагер Диле" была площадка для танцев, подавались алкогольные напитки. Когда я прошел через вращающиеся двери "Прагер Диле" и сразу же заметил в углу налево полуседую, лысеющую голову Бориса Николаевича, в тесном кругу очень странных людей, с какими-то, я бы сказал, рылами, а не лицами, у меня сжалось сердце. Подробности этой первой встречи с Борисом Николаевичем в Берлине навеки запечатлелись в моей памяти. Он заметил меня сразу же, когда я подошел чуточку поближе. Первым жестом его был жест недоверия. Я чувствовал, что он смотрит на меня как на привидение: "Не может быть! Здесь? В "Прагер Диле"? На этой танцплощадке – Вольфила?!" Для него я был воплощением нашего содружества. "Уму непостижимо!" Я подошел поближе и увидел, как за его спиной какой-то человек, показавшийся мне не совсем незнакомым, толкнул в бок другого, сидящего рядом на зеленом бархатном диванчике, и кивнул в сторону Белого. Мне показалось, что за ним тут утстановилась репутация какого-то клоуна. Если не ошибаюсь, кажется, у Леонида Андреева есть клоун, который все время получает пощечины. Белый щупал воздух растопыренными пальцами мне навстречу, как если бы хотел удостовериться в том, что я не привидение. В то же время он как-то все шлепал губами, будто хотел вспомнить какое-то слово и не мог. Я не услышал, а скорее понял, что это было мое имя и отчество. И когда я воскликнул: "Борис Николаевич, дорогой", он назвал меня по имени и отчеству, обнял, и горькие слезы покатились по его щекам. Это была не радость встречи, не оплакивание беды, весть о которой я ему принес, – это было сознание своей собственной беды, слезы стыда за свое положение, за свое несчастье! Когда мы сели с ним за отдельный столик, к нам сейчас же подошел один из сидевших с ним раньше, высокого роста, безупречно одетый человек, и злорадно улыбаясь, надменно сказал: "По-моему, мы с вами никогда раньше не встречались". Белый засуетился: "Это Илья Григоревич Эренбург". Эренбург тогда тоже был эмигрантом, как будто. Он много раз то эмигрировал, то приезжал заграницу честным беспартийным гражданином Советской России. Бог знает, кем он

был? Кончил он жизнь прославленным русским писателем. Мне показалось, что по отношению к Белому Эренбург был безжалостен. Мне он сказал: ”Я вижу, вы приятели, скажите Борису Николаевичу, что ему вредно так долго засиживаться в ”Прагер Диле”. И опять на лице его появилась та же надменная улыбка, как будто он хотел сказать: ”Кто бы ты ни был, ты лучшего не заслуживаешь, чем то, чтобы тебя ошельмовать и обесчестить”. Думаю, он знал что-либо о нашей совместной работе с Белым. Когда Эренбург ушел, Борис Николаевич сказал: ”Вы знаете, я должен еще расплатиться, а потом – на свежий воздух”. Когда ему подали счет за напитки за один этот вечер, я понял, что, по меньшей мере, он должен был быть очень пьяным, а Борис Николаевич страдал сердечными припадками, ему это было вредно. Отчего же он запил? Ясно, что мне не хотелось продолжать наш разговор в этой обстановке. Я только спросил его, где он живет в Берлине. Когда он назвал пансион на Виктория-Луиза плац, неподалеку от кафе ”Прагер Диле”, я предложил проводить его и сговориться о следующей встрече. Какая это была горькая встреча с председателем Вольного философского содружества, который готов был на риск, чтобы только выбраться заграницу! Я понимал, что нечто трагическое случилось с ним здесь, но, вероятно, он сам без лишних расспросов расскажет мне об этом. Шатаясь, Белый прошел это очень небольшое расстояние между ”Прагер Диле” и его пансионом. Я боялся пустить его одного по лестнице, но он заверил меня, что его комната всего только на третьем этаже и он без труда доберется туда один. Он как-то все-таки ориентировался. Однако я попросил его: ”Борис Николаевич, позвольте я поднимусь с вами по лестнице”. Он вдруг заявил: ”Нет, нет, я не хочу. Это не Вольфила”. Я понял, что мое присутствие все еще внушает ему чувство стыда: ”Вот до какой жизни дошел!..” Дверь за ним захлопнулась.

На следующий вечер, как мы договорились, я был у него в пансионе. Он был трезв, он был нормален и сразу же сказал: ”Вы помните, когда вы навещали меня в больнице в Москве*, я вам сказал, что мне необходимо выбраться за границу, потому что, во-первых, моя жена Ася жила там, а во-вторых, я должен был повидать Доктора”. Было ясно, что ему необходимо было поделиться с кем-нибудь, кто воспринял бы без злорадства его

---

* Будучи еще в Москве, я два раза навестил Белого в больнице, когда он, поскользнувшись в ванне, повредил слегка позвоночник.

упоминание об Асе, его оправдание в отрицании антропософии, кто не торжествовал бы, видя падение этого "всезнайки Белого". И Борис Николаевич стал говорить. Он рассказал мне, что получает всю новую литературу, издаваемую антропософским обществом. Что в одной из последних своих работ, "Die Kernpunkte der Sozialen Fragen", Рудольф Штейнер критикует программу "Dreiteilung". Как Монтескье разделял политическую власть на три части, так и Штейнер придумал разделение государственной деятельности на три функции: экономическую, духовную и, не помню точно, кажется, общественную. Государство не должно вмешиваться в культурную жизнь страны и наоборот. Что-то в этом роде, приблизительно по Монтескье или вернее по Блекстону. Образование Бориса Николаевича в социально-исторической сфере было не так обширно, как в других областях. Все, что он прочитал у Штейнера, казалось ему откровением; только один доктор Штейнер мог додуматься до такого "Колумбова яйца". Все социальные потрясения послевоенного времени могли бы быть предотвращены, если бы удалось провести в жизнь программу Доктора. Он с таким восторгом рассказывал мне о том, что вычитал из последней книги Штейнера! Однако, главное, о чем он говорил, была Ася, а не Доктор. Еще в Москве, во время моего посещения Белого в больнице, мне ярко запомнились два основных момента в разговорах с ним – Ася и Доктор. И вот теперь, тут в пансионе, Борис Николаевич вдруг сказал: "Понимаете, Доктор у меня жену отнял". С тех пор прошло как-никак почти пятьдесят лет, а я эту фразу как сейчас слышу. И повторяю я эти слова намеренно очень точно, так как друзья Бориса Николаевича по антропософии, когда я им рассказал об этом, уже после его смерти, ничего не возразили, но записали меня в заклятые враги антропософии и отъявленные лгуны, потому что, по их мнению, Белый не мог ничего подобного сказать, а Доктор и не думал отнимать у него жену. Все это сплошная чепуха и недостойная клевета на Доктора, а заодно и на Белого. Хотя сами они, как я услышал непосредственно от антропософов в январе 1925-го года, уже после смерти Штейнера, утверждали: "Пожар антропософского храма "Гетеанум" в Дорнахе в 1922-ом году был вызван злыми кознями врагов антропософии" – это дословная историческая фраза. Было только неясно, каких именно врагов и какие темные международные силы собирались в

корне пресечь антропософию? А Белый, конечно же, не имел в виду, говоря: "Доктор у меня жену отнял", что доктор Штейнер соблазнил Асю, отнял ее у него, что Ася отказалась от Бориса Николаевича ради Доктора. Для Белого Доктор, маг и чародей, должен был быть ответственным за поступки своих последователей, за все, что происходило с ними. Его волей направлялись действия и поведение учеников. Доктор был ответственен за Асю – свою ученицу. А с Асей случилось нечто очень странное. Она сошлась с молодым, намного моложе Белого и самой Аси, незначительным поэтом Кусиковым. Это был поэт, кавказец, примыкавший к московской группе имажинистов. Оказавшись в эмиграции, он попал в Дорнах к антропософам, где встретившись с Асей – Анной Алексеевной, урожденной Тургеневой, – соблазнил ее. Она не скрывала этого ни от кого, всем это было известно. Люди злорадствовали, наслаждались тем, что Ася Тургенева променяла одного поэта – Андрея Белого на другого – Кусикова. И посему, следуя геометрии Эвклида, поэт Белый равен поэту Кусикову. Хоть бы сказали, что Кусиков тоже поэт, как и Белый. Так нет же, говорили о "поэте Кусикове", недостойном этого звания, как о равном Белому! Так вот, этот самый кавказец Кусиков отнял жену у Бориса Николаевича. И когда Белый попал заграницу и узнал об этом от самой героини нового романа, он сказал: "Доктор у меня жену отнял". А как же иначе? Если Доктор распоряжался зубами и насылал на Бориса Николаевича флюсы за тридевять земель, то мог ли он оставаться безучастным к тому, что разыгрывалось в его собственном Дорнахе? И хотя последователи Штейнера до конца не верили, что Белый приписывал сверхъестественную силу воли их вождю, я-то знал, что он был в этом уверен. И то, что Ася покинула его, Белый объяснял только влиянием злой воли Доктора, главы антропософского движения.

Мне не хотелось бы дурно говорить об Анне Алексеевне, ее уже нет в живых. Она долго жила, и за ней сохранилась слава, даже среди верных антропософов, что она отличалась свободой нравов и поведения. В общем, дело кончилось тем, что Белый потерял не только жену, но и учителя. И когда я спросил его, был ли он в Дорнахе, он ответил: "Нет, мне незачем после всего этого ехать в Дорнах, он для меня закрыт, разрушен. Что такое Дорнах без Доктора?" – "А вы совершенно разочарова-

лись в нем?" – "Нет, наоборот, я только думаю, что личность его не так важна, а книги его следует изучать. Может быть, действительно книги его – откровение, но не для нас –русских!" И он вдруг, с необыкновенным жаром, как тогда в Петербурге, когда читал: "Россия, Россия, Россия – Мессия грядущего дня", воскликнул: "Мы остаемся свободными, даже когда идем в школу к Рудольфу Штейнеру, мы ничего не в состоянии принимать без критики". Конечно, для русских последователей Штейнера такое заявление было неприемлемо.

Борису Николаевичу было нелегко за границей, да еще при его плохом знании немецкого языка, плохом произношении. Что именно заставляло его проводить свой досуг и просиживать вечера до позней ночи в кабаках и плясать с очень грузными представительницами расы Брунгильд? Скорее всего, не вдаваясь в мелкие подробности, это были потеря Аси и разбитая на мелкие осколки вера в вождя антропософии. Будучи Борису Николаевичу очень добрым и благожелательным другом, я подумал, не смогу ли я пробудить в нем память о тех широких полотнах, которые он так мечтал найти заграницей. Правда, мне было тогда чуть-чуть за тридцать, а он был старше меня лет на десять и ответственен за свое грандиозное литературное наследие. Уже были написаны "Петербург", "Серебряный голубь", его симфонии, несколько сборников статей о символизме и много, много другого, не говоря о его стихах. Какой же я мог быть ему указчик?! Но я и не хотел им быть, я не претендовал на большее, чем помочь ему так, как помогает пузырек с валерьяновыми каплями. Звучит немножко смешно, но иногда человек может, при большом желании, противостоять дьяволу вот таким скромным и безобидным средством, как валерьяновые капли. Исподволь я спросил его: "Борис Николаевич, а ведь мне передавали, что в Берлине за последний год вышли ваши книги. Это новые книги или перепечатанные старые?" Я знал, что у Белого был большой его поклонник Сумский (псевдоним), меньшевик, кажется, который стал переиздавать его произведения. "Борис Николаевич, – попросил я, – я понимаю, что вам не до того, но по старой памяти, как большому вашему почитателю, может, вы дадите мне что-нибудь из недавно напечатанного в Берлине". Он охотно согласился и надписал для меня. Даже по почерку было видно, что он надписывал эти книги в каком-то приливе нового энтузиазма. И если я правильно

толкую это, моя просьба могла напомнить ему, что он же большой писатель, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ! И если новых книг нет – так ведь есть же старые! И человеку, к которому он так хорошо и тепло относится, хотелось бы во что бы то ни стало получить экземпляр с надписью.

Конечно, были и другие, которые старались помочь и поддержать Бориса Николаевича. Я определенно знаю, что Анна Ильинична Чхеидзе, оказавшаяся тоже в эмиграции в Берлине, заботилась о Белом, как только может женщина с добрым сердцем. Она была моложе его, но, как няня, ухаживала и следила за его физическим благополучием. Она рассказывала мне, что находила его утром в пансионе, еще не протрезвившимся от попойки в одном из ближайших кабаков. Она его нянчила, накладывала холодные компрессы на лоб, кормила. Поднимало ли это его дух? Вряд ли. Может быть, наоборот, это напоминало Борису Николаевичу о том, что это не та, настоящая подруга, отнятая у него Доктором, это – не Ася! Полное имя Аси – Анна Алексеевна, а добрая Чхеидзе была тоже Анна, а для Белого такие совпадения имели большое значение. Анна Ильинична с большой горечью говорила, что Бог знает что может случиться с Борисом Николаевичем, что даже автомобиль может на него наехать! Она полагала, что Белый намеренно старается помутить, затуманить свое сознание.

Другой пример. Многие несправедливы к Горькому, помоему. Еще до Первой войны, Горький опубликовал статью ”Две души русского народа”. Одна из них – азиатская душа – жестокая. Так ведь о самом Алексее Максимовиче можно сказать, что у него, по крайней мере, было две души. У всех нас больше, чем две души. Одна из его душ – очень человеческая. Алексей Максимович в то время был тоже за границей, но не в эмиграции. Жил он в окрестностях Берлина, в Цоссене, где снимал большую виллу на лето. В то время Горький считался как бы некоронованным царем всероссийской культуры. И вот Борис Николаевич получил от него приглашение приехать к ним погостить. Замечательно! Ведь в Цоссене никаких ”Прагер Диле”! Отвезла его к Горькому Анна Ильинична. Не знаю, сохранились ли в печати следы о встрече Горького с Белым. Я видел письма Горького, напечатанные за границей, где упоминалось о том, что у него гостил Андрей Белый. Долго ли, коротко ли гостил Белый у Горького, я не знаю, знаю только, что Бо-

рис Николаевич начал писать. Он ухватился за уголок того "широкого полотна", которое ему было так необходимо. И когда он начал писать "Наваждение", "Дурной сон" и др., мысли о Кусикове исчезли, "как тараканы от яркого света".

Прошли месяцы. Белый находился то у Горького, то у других своих друзей. А я отбыл в свою, так сказать, старую вотчину – Гейдельберг, где встретился с приятельницей Анны Ильиничны Еленой Давыдовной Гогоберидзе. Она виделась с Борисом Николаевичем и рассказала мне, что он ожил после всех перипетий и занят литературной работой. Он надеется, что, когда я снова буду в Берлине, я навещу его. Произошла наша вторая встреча в Берлине. Я с радостью увидел, что он ожил, изменился к лучшему. В тот вечер в гостях у Бориса Николаевича был молодой человек, очень приятной наружности. Белый представил его мне: "Вы не знакомы? Это Вадим Леонидович Андреев". Это был сын Леонида Андреева, который, между прочим, стал одним из видных деятелей Объединенных Наций в Женеве. Он пробовал тогда свои силы в литературе, да и по сей день продолжает заниматься ею. Я увидел, с каким необыкновенным уважением, даже преклонением, относится молодой Андреев к Белому, и сразу понял, что не только здоровье Бориса Николаевича восстанавливается, не только он снова нашел ключ к своему творчеству, но восстанавливается и его репутация. Вадим Леонидович интересовался подробностями, касавшимися литературного творчества Белого московского, раннего периода, ему хотелось узнать побольше об этом от самого Бориса Николаевича. Этим он как бы помогал восстановить веру Бориса Николаевича в самого себя, в свои силы.

Когда мы остались одни, Белый поразил меня, сказав совершенно неожиданно: "Может быть, мы должны были бы воспользоваться тем, что в Берлине сейчас Бердяев, вы и я, Шестов наезжает часто в Берлин, и организовать тут отделение Вольного Философского содружества". Белый держался за идею Вольфилы, которая была для него как бы путеводной звездой в его собственном развитии. Она казалась ему воплощением непрерывности в развитии всей русской культуры. И прав был Разумник, когда в самом начале, еще до моего знакомства с Белым, сказал о нем: "Не Белый для Вольфилы, а Вольфила для Белого". Совершенно очевидно, что после внутреннего разрыва с антропософией русская стихия для Бориса Николаевича

стала еще более близкой и дорогой, чем раньше. Он не стал националистом, не стал реставратором старой России, но ощутил тот щит, который Россия держит между двух миров, как у Блока в "Скифах". И Белый, конечно же, настоящий птенец Петрова гнезда, европеец, задумал перенести российскую Вольфилу в европейский Берлин. Я относился к его плану с большой осторожностью. Я не думал, что Борис Николаевич сумеет продолжать дело Вольфилы без поддержки людей, из которых "одних уж нет, а те далече", а третьи соблазнились чечевичной похлебкой. Я не верил, что здесь, в Европе, можно будет так же легко и просто, как под колпаком большевизма, пронзить сердца и умы не связанной между собой группы русской эмигрантской интеллигенции. Кроме того, Борис Николаевич неожиданно сказал: "Если даже я вдруг уеду..." Я понимал, что он преувеличивает мое значение, полагая, что я смог бы самостоятельно, без его участия, организовать дело Вольфилы. Я вспомнил также, что при посещении Белого в московской больнице я застал у него Клавдию Васильевну, которая, как я заметил, слушала жалобы Белого на то, что он отрезан от жены, с большим недовольством. Может быть, именно она, а не Ася Тургенева, была предназначена сохранить жизнь и творчество Андрея Белого, и не за границей, а в Москве? Теперь мы знаем, что так это и было. Клавдия Васильевна стала второй женой Белого. Очевидно, она и сыграла роль притягательного элемента. Не берусь сказать, Борис Николаевич не упомянул тогда о ней ни одним словом. Кто читал и изучал "Котика Летаева", тот знает и поймет меня, если я скажу, что помимо антропософии, на которой построено все произведение, помимо личных особенностей ума и памяти Бориса Николаевича, в нем присутствует то, что новая психология, психоанализ, называет инфантилизмом. В Борисе Николаевиче инфантильность проявлялась совершенно непроизвольно. Чем дольше он жил, тем больше он ощущал потребность в материнской поддержке и опеке. Эта потребность определяла его детский характер. Это выразилось косвенно в последней моей беседе с ним, о которой я еще расскажу подробнее. Белый пожаловался мне, что один общий наш знакомый упрекнул его: "Вы ведь говорите так, как только могут говорить люди, пораженные инфантилизмом!" – "Может быть, а что ж в этом плохого?" – ответил ему Белый. Тогда я позволил себе пошутить: "Так ведь это же верное средст-

во против того, чтобы не впасть в детство на старости лет. Никто не может впасть в детство, если он из него никогда не выпадал". Борис Николаевич очень обрадовался: "Да, да, конечно, я никогда из него не выпадал". Я вижу в этом, хоть это и звучит очень банально, подтверждение того, что ему необходима была материнская ласка. Он был лишен ее в раннем детстве, матушка его, не в обиду будь ей сказано, была слишком хороша с молодости, чтобы интересоваться ребенком, наделенным математическими способностями, как и его отец. Эту недостающую материнскую ласку он искал, продолжал искать и в ней нуждался. Васильева, художница, могла заменить ему мать; само собой разумеется, она и была тем элементом, который привлекал его и заставлял решиться ехать, хоть он и колебался до конца.

Были и другие факторы, повлиявшие на его отъезд. Доверяя мне как совольфильцу, Белый обо всем этом поведал мне еще до того, как окончательно решился ехать. И об этом следует рассказать поподробнее. Основное ядро совета нашего содружества сплошь состояло из людей-одиночек, представлявших как бы отдельные острова в море большевистской России. Не только Белый был замкнут в себе, как остров в океане, но и Разумник, и Эрберг, не говоря уже о Блоке. Каждый из нас представлял собой особый, присущий ему одному, мир. И это было заметно даже со стороны. Ведь говорили же о нас: "собрание чудаков". Этим бы и ограничилось, если бы среди нас не было людей с громкими именами, обладающих большим литературным талантом. Было к нам много неприязни. "Чудаки" – этого недостаточно. О нас говорили: "Это люди, которые хотят приспособиться, но слишком горды, чтобы просто расписаться в своем поражении. Они за принцип "и вашим, и нашим". Не хочу называть имени человека, который говорил это. Я ему ответил: "Ни нашим, ни вашим". По-моему, эта формула вполне и окончательно подходила к Белому на протяжении всей его жизни.

Блок оставил впечатление, что в какой-то период он был большевиком. В литературе по истории творчества того времени, которую мне приходится читать здесь, за границей, отмечается, что Блок совершил подвиг, написав "Двенадцать". Однако ничего не говорится о том, что Блок был арестован. Правда, не за поэму "Двенадцать", а за дружбу с людьми, которые не со-

вершили подвига перехода из старого мира в новый, найдя этот новый мир уже вполне сложившимся в большевистскую партию. И если Мейерхольд стал членом коммунистической партии, так он же был известный шутник. Для него это была шутка. Не знаю ничего о Маяковском, но ни Блок, ни Белый никогда не были "готовы плясать на всех свадьбах и плакать на всех похоронах". За это я готов ручаться под присягой. Борис Николаевич, конечно, не был, не хотел быть, да и не мог быть большевиком. Однако же, не был, не хотел быть, не мог быть врагом большевизма. Употребляя терминологию Дорнаха, он враждовал с Ариманом, он хотел служить Ормузду, т.е. был против духа зла, но за бога света и добра. Он верил, как только невинные дети верят, что судьба сама вынесет его на правильный путь и укажет дорогу в космос. После смерти Блока ему хотелось найти укромный уголок, где бы он мог выразить до конца все то, что им владело. Но выразить до конца никому не дано. И ему не могло быть дано. И то, что он испытал в послевоенной Европе, окончательно убедило его в том, что спокойствие духа он сможет найти только в России. И не будем стыдиться избитых слов: Борис Николаевич, как Блок, как Разумник и ряд других наших друзей, был русским патриотом. Патриотом своего отечества, так же как и Иван Петрович Павлов, который убежден был, что занимается физиологией во славу России. Очень скоро после приезда в Германию Белый понял, что без русской речи вокруг он жить не сможет. Надеюсь, что это не преувеличение, но в русском народе он больше всего любил русский язык. Когда один из основоположников народнической социологии Петр Лаврович Лавров наказывал русской интеллигенции служить народу, он прежде всего отмечал, что своим языком интеллигенция обязана русскому народу. Наблюдая себя, свое окружение и его отношение ко мне, я пришел к выводу, что не могу называть себя русским, таким русским, какими были Блок, Белый, Иванов-Разумник. У них любовь к своему языку напоминала религиозный восторг, что-то, что можно сравнить с обоготворением атрибутов Создателя мира.

Итак, оказавшись в Европе, чтобы заполнить многообещающими творениями, красками и жизнью огромное широкое полотно, Борис Николаевич увидел себя, после всех постигших его разочарований, как бы перед пустым экраном. Он работал,

писал, но явно сознавал, что все это не нуждается в том грандиозном полотне, ради которого он уехал из большевистской России. Как Блок, по словам Белого, "задохнулся в 21-ом году в большевистской России", так и Белый, положительно на моих глазах, стал задыхаться в Германии оттого, что не с кем было говорить по-русски, кроме эмигрантов, которые либо тосковали по стихии русского языка и, значит, несчастные, задыхались так же как и он, либо вообще не чувствовали в этом потребности.

И вот наступил день, когда я увиделся с Белым в последний раз. Он жил тогда уже не в пансионе на Виктория-Луиза плац, а снимал две комнаты неподалеку. "Знаете, я еще не вполне уверен, но вероятнее всего я вернусь в Россию и очень скоро. Вы благословляете меня?" – кажется, такими словами спросил меня Белый. Мы разговорились. Что я мог сказать ему? Мог ли я оказать на него влияние? А ему хотелось побеседовать на эту тему с кем-то, кому он доверял, был в добрых отношениях. И я решил высказать свое мнение: "Вам трудно без народа, без русского языка, верно?" Он посмотрел на меня и как будто не мог отвести взгляда: "Как вы догадались?" – "Борис Николаевич, я же ваш старый читатель, я еще в гимназии читал, знал и любил то, что вы писали. И здешнюю среду я хорошо знаю". – "Но вы же не могли знать об этом уже у нас, в Вольфиле?" – "Нет, я не мог знать, но я понимал уже и тогда, что не только вы, но и Александр Александрович Блок – русские патриоты, а я, при всей моей глубокой преданности и любви к России – чужестранец. Если бы я был русским, как вы, то, вероятно, тоже не мог бы чувствовать себя как дома вне России. Жизнь для вас намного важнее, чем так называемая политика и все, что с ней связано. Русский язык – это живая стихия, в которой вы чувствуете себя, простите за не очень остроумное сравнение, как рыба в воде. Однако, сумеете ли вы в этой, столь неприемлемой для вас политически, России найти возможность для вашего будущего творчества?" – "Так ведь все, что я хочу, это оставить после себя документ о той Москве, в которой я вырос и жил; мне хотелось бы подвести итоги моей работе о русской стилистике, о Гоголе; я не хочу поучать, я хочу еще учиться. Конечно, я хочу писать о духовном знании, о духовной науке мудрости о человеке, антропософии, от которой я не отрекаюсь, неважно, с Доктором или без Доктора".

Когда он говорил "с Доктором или без Доктора", Борис Николаевич как-то колебался. "Без Доктора" – высказать было для него не легко. В слове "БЕЗ" звучала трагическая нотка. "Что бы вы ни писали, – заметил я, – вы, наверное, будете писать ваши новые книги, не подражая самому себе? Ваш "Петербург" – не "Серебряный голубь", а ваша Москва..." Он широко раскрыл глаза: "Почему Москва?" – "Да вы же все время теперь пишете о том, что было накануне революции в начале века в Москве. Очевидно, вам хочется свободно писать о Москве, независимо от исторических имен и событий". Этим замечанием я как бы вырвал у Белого: "Мне нужно показать Москву под ударом. И для этого мне нужно найти что-то новое, еще неиспытанное мною самим, какие-то новые узоры. Я этого не могу, не могу найти здесь, ни в уюте цоссенской виллы Горького, ни в берлинских залах, где собираются наши эмигранты, ни даже в беседах с Николаем Александровичем Бердяевым, которого я очень люблю. Мне необходимо, чтобы стихия языка была не только во мне, но чтобы и я был в ней. Для этого мне нужна Россия! А если меня примут за обычного политического возвращенца, то это меня совсем не беспокоит".

Когда мы заговорили о нашей философской ассоциации, Бориса Николаевича очень обеспокоило то, что я сказал о юдофобстве: "Вам может показаться оскорбительным, но когда Александр Алекандрович Блок говорил в Чека о своей неприязни к евреям, у меня возникло чувство, что это была скрытая от него самого, обратная сторона русского патриотизма. И в вас это есть, и у Разумника Васильевича. И я это понимаю и целиком принимаю". Иными словами, я хотел сказать, что в нашей ассоциации были представители юдофобства, которое и есть обратная сторона русского патриотизма. Козьма Сергеевич Петров-Водкин был одним из них. Его мучила совесть, что его жена Мари, хотя он и окрестил ее Марией Федоровной, была француженкой, и потому он брал реванш тем, что публично поносил Ветхий Завет. А уж если говорить до конца, то у меня сложилось мнение, что только такой человек, как покойный Сергей Есенин – "Сереженька", человек, который никогда не отрывался от земли, мог оставаться совершенно свободным от "русского патриотизма". Сергей Есенин был человеком деревенским, Рязанской земли. Он не принимал большевистскую революцию, но не принимал ее по каким-то духовным причи-

нам. Его поэма ”Пугачев” в сущности сводит счеты с Октябрьской революцией. Разбойник и будущий атаман Хлопуша встречается с Пугачевым. Свидание происходит на кровавом фоне осени, когда клены становятся сначала золотистыми, а потом красными, кровавыми, как рябина поздней осенью, густо увешанная красно-оранжевыми, кровавыми гроздьями. Осенняя революция – осуждена на гибель, а Октябрьская революция – осенняя революция, в этом есть нечто очень коренное, настоящее. Есенин, который покончил жизнь самоубийством, в своей поэме ”Пугачев” провел борозду между Февральской и Октябрьской революциями, сделал поистине философское, социологическое, историческое открытие – только весенняя революция может быть справедливой, осенняя же должна быть кровавой, террористической, диктаторской.

Не думаю, что у Ремизова, с которым я невольно сравниваю Есенина, найдется, даже при самом внимательном и тщательном исследовании, что-либо подобное, равное по своему значению открытию Сергея Есенина. Ремизов тоже на все сто процентов русский человек, но москвич, горожанин. По словам Разумника Васильевича: ”Сколько надо иметь за спиной Замоскворечья, о, сколько пудов кислой капусты надо съесть, чтобы понять Ремизова, чтобы ощутить самую суть его красочек”. Алексей Михайлович был уж настолько почвенным продуктом московской Руси, что для него и Блок, и Белый, да и вся современная литература, были какой-то чуть ли не иностранщиной. Он уехал заграницу, приобретя каким-то образом гражданство Эстонской республики. Друзья ценили его как писателя и помогли ему выбраться из России вместе с женой Серафимой Павловной для ”поправки здоровья”. Господь Бог даровал ему долгую жизнь. Он пережил и свою горячо любимую Серафиму Павловну. Смерть Блока Ремизов воспринял как нечто оправдывающее его побег из большевистской России. В 1921-ом году, после смерти Блока, пришло письмо от Алексея Михайловича. Он был по пути из Эстонии в Париж, вскоре после своей эмиграции. В письме этом он писал о смерти Блока: ”Подумать только, такой был крепыш, так много и охотно любил плавать и заниматься гимнастикой, а вот не дожил даже до пятидесяти лет”. Не ручаюсь за совершенно точную передачу его слов. В письме чувствовалось какое-то злорадство. Я помню еще в России, когда Алексей Михайлович назначил себя глав-

ным председателем Обезьяньей палаты и свои ремизовские рисунки в красках, называя их орденами, раздавал каждому из нас. У меня еще и теперь где-то есть орден какой-то степени этой Обезьяньей палаты. В эту игру он играл очень серьезно. Я слышал, как он в Чека на допросе отвечал следователю своим полуплачущим, ремизовским тоном: ”Да какой же я контрреволюционер, я сказочник”.

Сказка эта не веселила моего сердца. И снова, противопоставляя Ремизова Есенину, я сказал: ”Такой человек, как Есенин, не мог бы уехать из России”. Не знаю почему, но Борис Николаевич вдруг прервал меня: ”Значит, вы благославляете меня?” Я был уверен, что Белому не выжить в Европе, я ответил: ”Да”. Я должен был бы, если бы знал, что это наша последняя встреча, иначе распределить свой день, но мне пришлось, к великому моему сожалению, подняться. Что греха таить? Борис Николаевич налил в рюмки чего-то крепкого: ”Выпьем за следующее свидание”. Мы чокнулись. Когда он поставил рюмку, я понял, что это была в тот день не первая его рюмка, что он опять стал коротать дни, как в начале появления за границей. Борис Николаевич крепко меня поцеловал и сказал: ”Так благословите же меня”. И в эту секунду, магическим своим влиянием он сделал меня как бы священнослужителем. Борис Николаевич склонил голову, и я, под влиянием его воли, положил руку ему на голову и торжественно произнес: ”Борис Николевич, будьте благословенны, и дай вам Бог сделать все, что вам положено судьбой”. Такого жеста я никогда в жизни не делал, ни до, ни после этого.

Конечно, я продолжал следить за тем, что происходит с Белым. Кое-что узнавал о нем, но очень мало. ”Москву под ударом” я читал и изучал, когда она появилась за границей. Я о многом догадывался, что, пожалуй, навсегда останется непонятным для людей, не знавших так близко Бориса Николаевича, как я. С необыкновенным чувством я прочитал его монографию о Гоголе. И снова вспоминались его голос, его интонации, когда он читал свои стихи, вспоминалось, что в какой-то мере, в какой-то момент каждый из нас может стать воплощением судьбы всего человечества. У меня определенно было такое чувство, что Борису Николаевичу суждено прожить на свете значительно дольше, чем Блоку. На похоронах Блока Борис Николаевич говорил: ”Без воздуха нельзя жить органическому

человеку". А воздуха в России, когда Белый вернулся туда, было не больше, чем в двадцать первом году, когда умер Блок. Однако, Борис Николаевич, как я дерзаю думать, был органическим человеком, таким же как и Александр Александрович Блок. Но тут, поистине, сталкиваются материя и дух.

IV. ДВЕ ДУШИ ГОРЬКОГО

Когда наша Вольная Философская асоциация еще только зарождалась и Разумник Васильевич с карандашом в руке записывал имена кандидатов в намечающийся совет, было упомянуто также имя Максима Горького. Разумник Васильевич записал его, но тут же прибавил: "Очень сомневаюсь". Не имея ясного представления о взаимоотношениях, соперничестве и даже вражде между отдельными группировками в дореволюционной русской литературе, я позволил себе по наивности спросить: "А почему вы сомневаетесь, Разумник Васильевич?" – "А потому, – ответил он, – что у нас тут нет подходящего запаха для Горького. Алексей Максимович, да простит ему, грешному, Бог, любит когда жареным пахнет". А на вопрос Константина Александровича Эрберга, что ж Горький любит в жареном, Разумник Васильевич рассказал маленький анекдот, который не мешало бы включить и в биографию Горького, и в историю того времени: "Не помню точно, где мы встречали новый 1918-ый год, у Горького ли или в каком-то общественном учреждении, помню только, что уж после того, как мы встретили Новый Год, кто-то предложил игру: каждый из присутствующих должен был выразить в одном слове свое самое заветное стремление, написать на кусочке бумаги и бросить в вазу. Потом с большим интересом вынимали записки из вазы и читали вслух. Каждый мог подписывать или не подписывать записку по своему желанию. В одной из записок стояло слово "Власть", и оно было подписано Максимом Горьким. Как видите, Алексея Максимовича интересует власть, но не политическая, не полицейская, не дай Господь! а власть чисто духовная, основанная на духовном авторитете писателя. Максим Горький, как писатель, должен иметь такой авторитет, должен проявлять свою власть. И это для него – самое заветное стремление. Так он думал, так именно и подписал: Максим Горький, не Алексей

Пешков. Мы же здесь затеваем нечто такое, что отрицает всякую власть. Поэтому я и сомневаюсь".

Надо сказать, что таким носителем власти в Москве долгое время был Брюсов, но мы знали, что Брюсов никогда бы не признался, что его самым заветным стремлением в жизни является власть. Для Брюсова, кроме того, писательская и политическая власть сливались воедино. Ведь он же приспособился и даже примкнул к партии. Бог знает, может быть, Горький так и не стал членом Коммунистической партии, но он никогда бы не сделал ни единого шага в сторону организации, которая не давала бы ему возможности расширения империи его литературной власти. А мы ведь в этом отношении – анархисты. "А попробовать все-таки надо", – сказал Эрберг, швед с русской душой. Решили обратиться к Горькому и нащупать почву. А вдруг он согласится примкнуть к нам. Разумник Васильевич предложил мне взять на себя это задание: "Лучше всего, чтобы вы, Аарон Захарович, пошли к Горькому с этим предложением. Всем известно, что Алексей Максимович любит евреев". От имени создающейся ассоциации было написано письмо Горькому, и, если память мне не изменяет, подписано Мейерхольдом, так как он был вне литературы и, значит, нигде не мог столкнуться с Горьким; кроме того, его передовой театр был признан Горьким, да и связи его с Художественным театром могли повлиять на решение Горького. В письме указывалась моя фамилия, имя и отчество и просьба повидаться со мной. Ответ Алексея Максимовича был положительным, местом встречи была назначена его собственная квартира на Кронверкском проспекте 5, у самой Петропавловской крепости на Петроградской стороне. Принял он меня не только потому, что любил евреев, но и потому, что хорошо был знаком с моим покойным дядюшкой, братом моей матери, а также с моим родным братом. Сразу же после Октябрьской революции, в то короткое время, когда партия левых эсеров была в коалиции с партией большевиков, мой брат, будучи видным деятелем партии эсеров, многим помогал, хлопотал за арестованных, главным образом через врача Алексея Максимовича Горького Манухина. В своих воспоминаниях Манухин об этом упоминает. Сам Горький где-то писал об этом, а также и Шаляпин. О моем брате говорили, что это человек с гуманным сердцем.

Итак, мы встретились. Горький очень приветливо принял

меня. Он был знаком с моими легковесными заметками, которые прочитал в "Русской мысли". На мой вопрос, можем ли мы надеяться на то, что он примкнет к нашей ассоциации, Горький ответил: "А я еще подумаю". Он сильно "окал". Сначала он стал расспрашивать меня подробно о членах будущего общества. Почему нет ни одного большевика среди них? Я указал на одного, который, однако, не был достаточно активным. И вдруг, то ли из любви к евреям вообще, то ли желая вознаградить меня за добрые дела моего брата, Алексей Максимович перевел разговор на мои личные дела. Жить в Петербурге тогда было вовсе нелегко. Новых приезжих в Петербурге не прописывали, а значит и хлебную карточку, без которой невозможно было прожить, не выдавали. Было ясно, что Горький хочет меня как-то устроить. Он спросил, не знаю ли я что-либо об истории еврейского народа и мог ли бы написать статью о социальной морали еврейских пророков? Я ответил, что мог бы, хотя на эту тему уже достаточно много написано, особенно в Германии. "Я считаю, что для вас это самое лучшее. Вместо всяких там академий и ассоциаций пишите-ка такую книгу. Я дам вам письмо к товарищу Ионову. Поезжайте в Смольный институт. Там вы его найдете в издательском отделе при петроградском Совете рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Поговорите с ним о подробностях, а я ему напишу, что считаю вас очень подходящим автором". Я согласился, но позже стал сомневаться, уместно ли мне популяризировать нечто общеизвестное. Однако, чем же театральный отдел хуже или лучше издательского отдела Ионова? Я поехал в Смольный с письмом от Горького. Когда Ионов прочитал это письмо, он спросил меня с еврейской интонацией, хотя был русским, из питерских рабочих: "А аванс вам нужен?" – "Да, пригодится". И я получил первые керенки – деньги, выпускаемые при Керенском. Они печатались на очень плохой бумаге, на огромных листках по двадцать и сорок рублей. Таким образом я заработал и на юдофильстве Горького, и на знании пророков в оригинале, полученном мною в раннем детстве. Замечание Алексея Максимовича, что мне лучше писать о еврейских пророках, чем всякими философскими академиями заниматься, дало мне возможность понять, что он не даст нашей ассоциации положительного ответа. А когда я рассказал Разумнику Васильевичу о нашей беседе, он, как бы с упреком, заметил: "Вот видите, я же

вам говорил, что Горький любит евреев". Может быть, и правильный упрек... Когда Алексей Максимович так хорошо отозвался о моем дядюшке и брате, мне почему-то показалось, что он как бы считает себя близким мне, чуть ли не родственником. Беседа эта с ним открыла и показала мне одну душу Горького. Это была душа, почитавшая евреев, – значит, душа с совестью.

Но вот случилась беда. По наивности своей, веря в душу Горького, я сделал ошибку. Надо сказать, что я не принадлежал ни к одной партии, но после войны приложил все усилия, чтобы как можно скорее попасть в Россию. У меня была идея, как бы даже миссия. Я считал, что революция погибнет, если произойдет раскол партии эсеров, в которую я тогда верил, что если партия останется единой – революция будет спасена. Я боялся большевиков. У меня были личные дружеские отношения и с социал-демократами, и особенно с социал-революционерами, среди которых я завел доброжелателей и на правом, и на левом крыле, и в центре. Мои друзья – эсеры считали меня левым, так как они знали, что мой брат был активным левым эсером. Жил я тогда у дядюшки, доктора Эльяшева. Поздно вечером, часов в одиннадцать, мне позвонил некий Голубовский, которого я знал очень поверхностно, и сказал: "Вы хорошо знаете Горького. Надо немедленно обратиться к нему и просить его заступничества. Арестовали Хацкельса – левого эсера, который потерял на войне обе руки. К нему пришли на квартиру с обыском и обнаружили прокламацию, написанную от руки, призывающую к свержению диктатуры большевистской партии и провозглашающую свободные советы. Он арестован и обвинен в том, что это он написал прокламацию. А у него же обе руки ампутированы! Вероятно, очень скоро вместе с другими он будет расстрелян. Это ж необыкновенно глупая ошибка, как может человек без обеих рук написать прокламацию! Обвинение поэтому ложное и вздорное. Однако нет никакой возможности проникнуть в Смольный к Зиновьеву. Может быть, только через Горького. Хацкельса могут расстрелять даже этой ночью. Так вы, пожалуйста, постарайтесь". Был уже двенадцатый час ночи, но я был под впечатлением благочестивой души Алексея Максимовича, так благожелательно относившегося к моим родственникам, да и ко мне, и позвонил Горькому. Я услышал: "Вам кОго?". Я назвал свою фамилию: "Я бы хотел

сказать два слова Алексею Максимовичу". – "Горькому? Его нет дома". Тогда я сказал: "Алексей Максимович, я бы не тревожил вас так поздно, но дело идет о жизни человека. Я очень просил бы вас принять меня сейчас". – "А где вы находитесь?" – "На Васильевском острове". – "Нет, нет. В такую ночь вы не можете прийти. Я уже сказал вам, что Горького нет дома, а кроме того, теперь, в это время, все равно уже ничего нельзя сделать, приходите завтра утром в десять, тогда и поговорим". Меня охватило чувство разочарования. Я увидел другую душу Алексея Максимовича. Конечно, я повесил трубку и одновременно "повесил нос на квинту" – говоря языком героев Горького. Что за комедия! Как это недостойно, вульгарно! Зачем Горький это сделал? Непонятно. Но конечно, утром я первым делом отправился к Алексею Максимовичу. Он принял меня в комнате, которая соединяла очень обширную столовую с его кабинетом. Горький сидел в кресле. Над ним висел незаконченный его портрет. Голова была почти закончена – выступали скулы, густые брови нависали над глазами, а туловища не видно было. Я стал рассказывать ему о случае с Хацкельсом. "Позвольте, а почему его арестовали?" – спросил Горький. Я рассказал, что за несколько дней до этого левые эсеры провели демонстрацию на Преображенской. Безрукого Хацкельса, очевидно, арестовали как активного левого эсера. "Так если у вас есть возможность сноситься с этими людьми, – сказал Алексей Максимович, – вы им передайте лучше, чтобы они глупостей не делали". По натуре я очень не дерзкий человек и не люблю проявлять своего темперамента, но я уже был достаточно взволнован в связи со вчерашней комедией, когда я рассказал Горькому по телефону, что безрукого человека обвиняют в том, что он своей рукой написал антиправительственную прокламацию. И меня взорвало. Да и вся обстановка – квартира роскошная, в столовой на столе – остатки очень сытного завтрака, такая огромная разница с тем, что было в то время в Петербурге, во всей России. Ведь был настоящий голод! Не знаю, был ли Алексей Максимович разведен с Екатериной Павловной, но хозяйкой его шикарной квартиры была Мария Федоровна Андреева, видная актриса Московского Художественного театра. Еще за несколько лет до войны она прекрасно читала произведения Горького: "Песню о буревестнике", "Песню о соколе" и другие. И мне почему-то пришли на

ум слова: "Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...". Вот именно, "глупый пингвин", который прячет свое "тело жирное" в роскошной квартире. И когда Алексей Максимович сказал: "А вы скажите лучше этим людям, чтобы Они глупОстей не делали", я вскочил со стула, забыв обо всех правилах приличия, забыв, что я – это я, а он – знаменитый Максим Горький. "Простите, Алексей Максимович, я пришел по неверному адресу. Я думал, что вы были и останетесь противником смертной казни вообще, а между тем вам дела нет до того, что собираются казнить невинного человека. Будьте здоровы", – выпалил я. Не успел я, однако, и шага отойти, как Горький схватил меня за правую руку, положил ее на ручку своего кресла, в котором сидел, и стал гладить ее: "Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, я вовсе не за смертную казнь, я так же, как и вы, против смертной казни, но одно не мешает другому. Пусть не делают глупостей! А если что-либо удастся сделать – я сделаю, конечно". Теперь, после долгих лет жизни на Западе, оглядываюсь назад и думаю, что только русский прославленный писатель, каким был Горький, мог бы вести себя так, как он тогда. Я бы даже не мог представить себе, например, чтобы Томас Манн позволил молодчику без роду, без племени читать себе нотации. Но, может быть, я и ошибаюсь. Люди бывают разные. Только от Горького я ушел с чувством, что сделал все возможное, а что будет дальше, одному Богу известно.

А дальше было то, что я попал в тюрьму сам. Сначала на Гороховую 2, а потом меня перевели в Дом предварительного заключения на Шпалерной. Там, в большевистской тюрьме сохранялись некоторые "свободы". Во-первых, можно было курить, что для курящих было большой поддержкой, а во-вторых, как в гостинице, по утрам в камеру приходил газетчик и приносил заключенным свежие газеты, за что получал небольшую плату из кассы канцелярии. Было это хорошо для меня, но не для Максима Горького. В одной из этих газет я прочитал заголовок: "Заседание Петроградского Совета Рабочих, Крестьянских и Солдатских депутатов с участием Максима Горького – смерть предателям!". В статье описывалось заседание Совета. За столом президиума, под председательством Зиновьева, сидел также и товарищ Горький. Была вынесена резолюция этого заседания – всех, без исключения, арестованных по делу выступления эсеров признать виновными и применить к ним выс-

шую меру наказания. И когда голосовали за вынесенную резолюцию о применении высшей меры наказания – она была принята единогласно! Будушие историки и биографы Горького должны будут заключить, что и Максим Горький голосовал за эту резолюцию. Но теперь, вспоминая бесконечные подобные случаи, я думаю, то, что Алексей Максимович голосовал тогда ”за”, – недостаточно для его обвинения. Если бы даже и голосовал ”против” – об этом никто бы не узнал, все равно было бы сказано: ”Единогласно”. Даже если бы Алексей Максимович и попробовал протестовать, уж кто-кто, а он-то знал, что его протест никуда не поведет, само его присутствие на заседании, на котором выносится резолюция о высшей мере наказания, оправдывает эту резолюцию. Хоть это и звучит как шутка, но Горькому было плохо. Это верно. А о фальсификациях в питерских газетах было каждому известно. Так, например, когда Вольфила отмечала трехсотлетие со дня появления ”Солнечного града” флорентийского философа Кампанеллы, в одной из партийных газет, вопреки правде, ваш покорный слуга выставлялся чуть ли не восторженным поклонником большевизма!

Но в тот момент, в тюрьме, когда я прочел статью о заседании Совета, я об этом не думал. Я со дня на день ждал, что вечером меня вызовут, как обычно это делалось: ”такой-то, сын такого-то, без вещей”, что означало – в Петропавловскую крепость, на расстрел! Я с этой возможностью примирился. Для меня было вполне естественно относиться к возможности смерти равнодушно, нейтрально. Может быть, в этот самый вечер меня вызовут на расстрел только потому, что я был доставлен в тюрьму с буквами КР – контрреволюционер! Может быть – смертная казнь! Когда чекист в черной куртке принимал меня, он, посмотрев на КР в моих бумагах, закричал: ”Чего они с этими возятся – пулю им в лоб, и конец!” Слава Богу, Блоку этого не сказали. В тот момент я думал, ведь я же тот самый человек, которого добрая душа Горького так расположила к себе, так дружески приняла. Зачем же он разыграл со мной такую комедию по телефону? Подумал ли он о том, что человек, которому он обещал сделать все возможное, узнает о его участии в заседании Совета, голосовавшего за высшую меру наказания! И если это последний день моей жизни, то это – последнее мое большое разочарование в человечестве, литературе и культуре. Я поник головой. Я дал себе зарок, что бы там

ни было, этому человеку, Максиму Горькому, я никогда больше руки не подам, несмотря на то, что он гладил мою руку как добрый дед. Судьба же решила совсем иначе.

В Москве арестовали моего брата. Это был старший, мой единственный брат. Бывший член правительственной коалиции, он написал потом воспоминания об этом времени. Брат мой был активным членом партии эсеров и принадлежал к центру ее. Надо сказать, что левые эсеры в то время стали разделяться на фракции. Самая крайняя левая фракция левых эсеров решила, что с большевиками надо бороться террором. Я знал кое-кого из этой фракции, в частности, огненную грузинку Тамару, фамилия которой осталась мне неизвестной, и ее соратника по борьбе с большевиками Доната Ивановича Черепанова. Черепанов готовился в доценты по философии, был оставлен при Московском университете. Будучи заграницей, он учился там у Гуссерля. Решив действовать террором, крайние левые эсеры, прежде всего, сосредоточились на взрыве главной цитадели большевиков на Лубянке в Москве – Чека. Они уже кое-что предприняли в этом направлении, но, вероятно, среди них были и провокаторы, так как очень скоро об их планах стало известно Дзержинскому. Как следствие, все эсеры, уже находившиеся в тюрьме, в том числе и мой брат, были объявлены заложниками: если произойдет взрыв, организованный членами левой фракции эсеров, все заложники, вне зависимости от того, к какой они принадлежат фракции, будут уничтожены. Это стало известно жене моего брата, которая добилась свидания с Дзержинским. Она старалась убедить его в том, что не следует бороться с эсерами угрозами, а необходимо выпустить на свободу более умеренных эсеров, пользующихся моральным авторитетом, ее мужа в их числе. Тогда Дзержинскому не надо будет ждать взрыва и расстреливать людей. На свободе они, наверное, сумели бы убедить своих левых товарищей в том, что их тактика никуда не поведет. Дзержинский принял ее очень вежливо, но сказал, что гарантии у него все-таки больше, если все заложники останутся под арестом, и потому он ничего изменить не может. Я получил письмо от жены брата с просьбой немедленно обратиться к Горькому и сообщить ему о положении дел. Вот вам и зарок! Вот вам "никогда больше руки ему не подам!" Было мне не легко. Неужели же, из-за того что дело касается моего родного брата, мне придется предъявлять

Горькому меньшие требования? Или, с другой стороны, дать ему возможность искупить свою вину? Конечно, я позвонил Горькому, и он немедленно меня принял. Как сейчас помню, были сумерки, когда я снова оказался на Кронверкском проспекте в кабинете Горького, который, нахмурившись, но тем не менее довольно приветливо спросил меня, в чем дело и чем он может мне служить. Я рассказал ему о деле брата. Горький чрезвычайно удивил меня: "Да, но к кому же обратиться, ведь они все там сумасшедшие, все, Зиновьев – сумасшедший..." И назвал еще несколько имен. – "Ну, не Ленин же?" – "И Ленин – сумасшедший". И махнул рукой. Когда я об этом рассказываю, мне никто не верит, а это – факт. "Все равно, напишу Ленину. – Алексей Максимович посмотрел на часы. – Теперь 8 часов. Поезд скоро отходит, и я сразу же отправляю письмо с сыном". – "Большое спасибо, Алексей Максимович". – "Что ж спасибо, вам спасибо, что сказали мне. Ваш брат – хороший человек, может быть, удастся для него что-либо сделать. Я вот смотрю, ваша философская ассоциация процветает! Ну, пускай процветает". Я ушел. Письмо он, очевидно, действительно написал и послал, потому что брата очень скоро выпустили. Повлияло ли письмо Горького или были другие соображения – я не знаю. Известно, что впоследствии Горький писал подобные письма. Вполне возможно, что письмо с просьбой за брата уже напечатано среди писем Горького к Ленину. Тем не менее, я решил все-таки руки под доброй воле ему не подавать.

А вот еще одна, совсем другая душа Горького. Бог знает, сколько было у него душ. Расскажу еще об одном довольно интересном происшествии. Сравнительно часто, 3-4 раза в год, я ездил в Москву. Однажды, когда я возвращался из Москвы в Петербург, мой отец пошел меня провожать на Николаевский вокзал. Выходя на перрон, я заметил отцу, что у него нет пропуска. – "Ну, ты плохо знаешь русский народ, вот увидишь, меня и без пропуска пропустят". Отец еще не был стар, но рано поседел. Густые седые волосы, круглая борода – вид очень благообразный. Отец пошел со мною рядом. У выхода на перрон стоял красноармеец с винтовкой, на которой был надет штык. Пропуска пассажиров он накалывал на штык. Он взял мой пропуск, а отца, который шел за мной, спросил: "А ты, папаша, куда? Куда? Где пропуск?" – "Это мой сын, он едет в Петроград, а я его только провожать иду". – "Ну, проходи, про-

ходи, папаша". Отец был прав. Вот это было знание русского народа. И вот мы на перроне. Поезд давно уже подан. Кое-где в окнах виднеются пассажиры, но времени до отхода еще порядочно. Мы с отцом прогуливаемся по платформе. И вдруг отец спрашивает меня: "Кто этот человек, там на площадке вагона? Ты его знаешь? Он, по-моему, тебе поклонился". Я сделал вид, что не заметил его: "Это Горький". – "Как Горький?" – сказал отец и направился к нему. Я остался его ждать, но отец позвал меня, и мне пришлось подойти – не огорчать же отца. Горький встретил меня сияющей улыбкой: "Я такой комплимент получил от вашего батюшки! Никогда в жизни такого не слышал. Вот почтил меня!" Мой покойный отец был человеком благочестивым и просвещенным. Он был исключительным знатоком еврейских священных писаний и религиозных законов, которые аккуратно исполнял. Так, например, еврейский религиозный закон предписывает, когда гремит гром, произносить благословение: "Благословен Ты, Господи, что природой Твоей наполняешь мир громовыми звуками". А при встрече с великим человеком благословение гласит: "Благословен Ты, Господи, что от величия Твоего уделяешь существу из плоти и крови". И отец, увидев Горького, произнес над ним это благословение. А Горький обрадовался неслыханно, сказав, что такого комплимента за всю свою жизнь никогда не получал. Ну что мне, бедному, было делать? Я опять нарушил свой зарок. Алексей Максимович завел со мной оживленный разговор и пригласил меня зайти к нему в купе вечерком побеседовать. Я не пошел, но он сам разыскал меня: "Что ж вы не пришли? Чайку бы вместе выпили". Я ответил, что, к сожалению, очень устал. Они присел на кушетку... Если бы мне эту историю рассказал кто-нибудь, мне показалось бы это выдумкой. Мой отец необыкновенно уважал людей из народа, создавших себе литературное имя. А большевик Горький или нет – это не важно, ведь он за его сына заступился все-таки. Я же не простил Горькому за Хацкельса, но подумал: многогранное создание – человеческая душа! Да и сам Горький считал, что у русского народа две души. А у него самого – по меньшей мере – две, на самом деле – больше.

С Горьким в России я больше не встречался. Но от профессора Льва Александровича Тарасевича я знаю, что Горький был инициатором Общественного комитета помощи голодаю-

щим в критическую зиму с 20-го на 21-ый год. Профессор Тарасевич, бывший раньше вице-председателем Пироговского общества, был назначен вице-председателем этого комитета. Он был также известен тем, что боролся с эпидемией сыпного тифа. Заседание комитета помощи голодающим проходило в большом зале Московской консерватории. Зал был полон народа. Были представители из провинций, из Петербурга, конечно. Вдруг у всех дверей появилась охрана. Вошел человек в черной крутке, заявивший, что все присутствующие здесь арестованы и будут выпускаться поодиночке. Тарасевич, бывший при этом, рассказывал, что Алексей Максимович сделал жест, как если бы хотел сказать: "Всех вас перебить бы надо!" Верно ли это или Тарасевичу только показалось – не знаю. Только сразу после этого заседания Горький решил эмигрировать. Жест Горького, если таковой был, мог означать, что Ленин как бы предал его, сыграв с ним такую шутку. Горький эмигрировал. Тарасевичу он прямо сказал, что в Россию вернуться не может, так как все они там предатели и сумасшедшие, все они – злодеи. Это мнение Горького я уже сам ощутил, когда он обещал мне написать письмо Ленину в защиту моего брата. Однако заграницей Горький поддерживал хорошие отношения с Советским посольством. О том, что Горького отравили какие-то люди на большевистских верхах, после его возвращения в Россию, я не хочу ничего говорить. Все это будут догадки – догадка на догадке и догадкой погоняет.

Есть 2-3 случая в моих воспоминаниях о Горьком, о которых я хотел бы упомянуть. Незадолго до моего отъезда за границу Горький задумал издавать в России сборник, ясно и популярно объясняющий населению России, "откуда есть пошел" еврейский народ, зачем он нужен. Это иллюстрирует, до какой степени одна из душ Максима Горького была душой, проникнутой идеями эпохи Просвещения восемнадцатого века. Он глубоко верил в силу всеобщего образования и был убежден, что все человеческие несчастья и особенно несчастья русского народа коренятся в недостатке знаний, в невежестве. Поэтому, если дать в руки народа настоящую книгу, которую он прочтет, мир пойдет по широкой и светлой дороге. Как у Некрасова:

Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте, спасибо вам скажет сердечное
Русский народ.

Может быть, самому Горькому и не нужно было это "спасибо сердечное", но он был за то, чтобы ни на секунду не переставали сеять "разумное, доброе, вечное". Еще в самом начале войны, в 14–15-ом году, у Горького вышел конфликт с моим родным дядюшкой, считавшимся отцом еврейской литературной критики, одним из ее прародителей. Горький попросил тогда моего дядюшку Эльяшова (Бальмахшовес) написать для одного из его сборников не слишком обширную, популярную статью об истории еврейской литературы. Дядюшка эту статью написал и послал Горькому, но одновременно приложил письмо, в котором критиковал юдофильство Горького: "Издание книг для пропаганды, для рекламы еврейскому народу не поможет, а только повредит, так как внедрит в сознание большинства, что существует группа людей, обладающая особенностями, которые объясняют напряженность в отношениях между этой группой и окружающим ее населением". Хоть это и мой родной дядюшка, но я должен быть справедливым и не стесняться его похвалить. Он говорил то, что гораздо позже я узнал из работ по современной антропологии, а именно: бороться с расовыми предрассудками просвещением – недостаточно. Современная антропология утверждает, что чистым гуманизмом – маниловщиной, как сказали бы в России, делу не поможешь.

Несмотря на это, уже после революции, Горький задумал издавать новый сборник, чтобы окончательно искоренить, как ему казалось, все неразумное, злое, преходящее, в противоположность "разумному, доброму, вечному". Он обратился к Аркадию Георгиевичу Горнфельду с предложением взять на себя редактирование этого сборника. Передовой статьей, самой важной, по мнению Горького, должна была быть статья о еврейском национальном характере. Получив это предложение, Горнфельд выразил желание повидаться со мной, чтобы поручить мне написать такую статью. Мы хорошо знали и уважали Аркадия Георгиевича, хотя Разумник Васильевич, очевидно, считал его иностранцем, так как Горнфельд не признал гения Блока и, особенно, "Стихов о Прекрасной Даме", отнеся это его непонимание за счет еврейского происхождения Горнфельда. А ведь сколько было русских писателей и критиков, которые тоже не понимали символизма! Было это в 21-ом году. Поскольку имя Аркадия Георгиевича теперь мало кому известно, в двух словах расскажу о нем. Он был калекой почти с са-

мого рождения. Его кормилица уронила; в результате повреждения позвоночника Горнфельд на всю жизнь сохранил рост четырехлетнего ребенка. Он жил в то время в Петербурге, совершенно один, на седьмом этаже в большом доме на Бассейной. Лифты в то время, конечно, не действовали, и попасть к нему было героическим подвигом. Сам он совсем не мог двигаться и потому был совершенно отрезан от мира. Вдоль стен в его комнате стояли книжные полки и легкие лестницы, которыми он умел ловко пользоваться, доставая довольно легко нужные ему книги. Горнфельд еще не был стар, хотя и говорил на языке, немного устаревшем. Раньше он сотрудничал в "Русском богатстве", был народником старого закала. Аркадий Георгиевич был очень далек от большевизма. Все, кто общался с Аркадием Георгиевичем, преклонялись перед величием его духа. Физический недуг не только не искалечил его, а наоборот. Книга Горнфельда "Муки слова", где он утверждал, что все без исключения писатели всех времен и национальностей всегда страдают от того, что не могут точно выразить свои мысли, была широко известна. В Еврейской энциклопедии он написал по-русски статью о Достоевском, которая начинается так: "Достоевский, Федор Михайлович, один из значительнейших выразителей антисемитизма..." И хотя я во многом не согласен с Горнфельдом, я почти в самом начале своей книги "Достоевский и еврейство" цитировал эти его слова. По просьбе Аркадия Георгиевича статью о еврейском национальном характере для сборника Горького я написал незадолго до своего отъезда из большевистской России. Рукопись, напечатанную на машинке, довольно объемистую работу, я оставил у него. Не знаю, вышел ли этот сборник, и есть ли там моя статья.

Горнфельд рассказывал мне очень много о Горьком. Я не спрашивал, как он встречался с ним. Вероятно, вне своей квартиры. Ему помогали из литературного фонда. Все, что говорил Аркадий Георгиевич, было абсолютной правдой, он не склонен был ничего выдумывать. Не помню, когда между нами зашел разговор об отношении Горького к евреям. Аркадий Георгиевич, очень скромный человек, не считал себя художником, несмотря на "Муки слова". Публицист и критик, он ставил Горького наряду с Толстым и Чеховым. И когда он однажды спросил Горького, откуда у него такой интерес к евреям, Алексей Максимович ответил: "Помилуйте, разве случайно то, что мы

говорим с вами как равные?" – "То есть почему же как равные?" – "А потому, что мы оба литературу понимаем. И потому, что меня открыл еврей, часовых дел мастер, в Нижнем Новгороде". В биографиях Горького, известных нам, а также в его трилогии "Детство", "В людях", "Мои университеты" этот часовых дел мастер нигде не упоминается. Горнфельд объясняет это тем, что он был отцом Свердлова, председателя Всероссийского Центрального Исполнительного комитета. Вероятно, Горький дал слово отцу Свердлова никогда и никому об этом не рассказывать. Отец Свердлова, часовых дел мастер Нахамкес, разговорился с мальчуганом Алешей Пешковым, который зашел к нему по какому-то незначительному делу. "Ты будешь большим писателем", – сказал Алеше старик. И с тех пор Горький считает, что среди евреев очень распространена способность предсказывать будущее. Отчасти на Горького в этом отношении оказал влияние Владимир Соловьев, который в одной из своих утопий предсказывает, что будущая теократия будет состоять из трех властей: Царя, Первосвященника и Пророка. Царем будет русский царь, Первосвященником – Римский Папа, а Пророком – еврей. Так что в православии есть намек на то, что еврейство сохранило в себе тот источник, тот дух, который создает пророка. Я этим вопросом до сих пор занимаюсь и считаю, что некоторым евреям присуща эта пророческая способность, в частности, Исайе Берлину, хоть сам он это отрицает. Возможно, что благословение моего отца произвело на Горького такое глубокое впечатление в связи с воспоминанием о старом часовых дел мастере. Горький весь так и сиял, когда мой отец назвал его великим человеком.

Горнфельд рассказал мне также об отрицательном отношении Горького к Достоевскому, которого он считал врагом евреев. Симпатии и антипатии Горького к определенным людям зависели якобы от того, как они относились к евреям. Если это так, то многое можно объяснить в его отношении к членам нашей группы. Вероятно, он знал что-то, чего даже я мог не знать, о проявлении антисемитизма среди вольфильцев. Блок почти не скрывал своей неприязни к евреям в долгих беседах со мной. Белый еще в 1904–1905 годах напечатал в "Весах" статью "Штемпелеванная калоша", в которой он объяснял, что так же, как каждая хорошая калоша имеет треугольный штемпель, так и все музыканты: скрипачи, пианисты или виолонче-

листы, должны быть одобрены и признаны еврейскими музыкальными критиками. Иначе их и слушать нечего! Белый хоть и написал эту статейку, но потом очень жалел об этом. После смерти Блока он сам говорил мне: "Мы все прошли через эту детскую болезнь, и все писатели должны пройти через нее, чтобы знать, как это омерзительно". Таким образом, антипатии Горького к некоторым символистам определялись тем, что в них мог быть этот дух антисемитизма.

Уехав тогда из России, я старался нагнать то, что упустил за годы пребывания в России в развитии философии; было достаточно материала, в который я и погрузился с головой. Советских газет я почти не читал, но впоследствии слышал, что в советских сборниках появилось много нового и интересного. Кстати, в книге "История русского советского театра", написанной Адриановым, сыном Зелинского, упомянуто воззвание нашей Вольной Философской ассоциации, напечатанное в свое время Мейерхольдом в его "Вестнике". Это воззвание было полностью перепечатано, были названы наши имена. Может быть, есть и моя статья "О еврейском национальном характере", которую я написал для сборника Алексея Максимовича Горького. Напечатана эта статья или нет, я хотел бы закончить свои воспоминания об Алексее Максимовиче Горьком признательностью ему за то, что эта статья побудила меня значительно позже взяться за работу о национальном характере русского народа, которую я написал по-немецки и напечатал в Берлине в 1928 году. Работа называется "Das Individuum im Alten und Neuen Russland"

V. САМОЦВЕТНЫЕ СЛОВА

Для писателя нет большего удовлетворения, чем обогатить литературный язык новым, открытым им словом. Еще значительно большее счастье для литературного критика открыть и ввести в литературу нового писателя. Вполне естественно, что Разумник Васильевич был доволен и даже горд тем, что он открыл Замятина. В книгах, касающихся литературной деятельности Замятина, я встречал упоминания о его дружбе с Ивановым-Разумником, о том, что Замятин часто ездил к нему в Царское Село. Но я нигде не встретил того достоверного рас-

сказа, который я слышал непосредственно от Разумника Васильевича о том, как был открыт Замятин.

Года за два до войны Разумник Васильевич начал издавать новый толстый журнал типа "Современник", названный им "Заветы". Редакция, совсем маленькая, тесная, помещалась в центре Петербурга. Штат – совсем крошечный. Вместе с заявлениями на подписку стал прибывать в огромном количестве материал, с просьбами поместить его в новом журнале. Очевидно, потребность в новом журнале была не только у читателей, но также и у писателей, авторов как признанных, так и непризнанных. Справиться с этой хлынувшей волной рукописей было почти невозможно. Рукописи заполняли все столы и углы маленькой редакции "Заветов". Но ее редактор, Иванов-Разумник, был человеком строгих правил и принципов, хотя и не хвастался этим, считая редакторскую честность само собой разумеющейся. Он решил, что оставлять рукописи не читанными невозможно, по крайней мере необходимо с ними ознакомиться. Большую часть материала, поступающего в редакцию, составляли стихи. Тут дело довольно простое. Берешь – и почти всегда первое же стихотворение убеждает тебя, что рукопись нужно просто вернуть автору. Гораздо сложней с прозой: а нельзя ли с некоторыми изменениями дать возможность новому таланту появиться в литературе? Как же справиться со всем этим огромным материалом?

Не оставалось ничего другого, как привлечь домашнюю рабочую силу. Имелась в виду Варвара Николаевна – жена Разумника Васильевича. Каждый вечер, возвращаясь из редакции домой, Разумник Васильевич стал привозить один или даже два портфеля, туго набитых довольно объемистыми рукописями неизвестных авторов. Вернувшись домой и получив от Варвары Николаевны обед, Разумник Васильевич, как у них завелось, положил на стол рядом с прибором кучу рукописей для своей жены. Варвара Николаевна знала, что Разумник Васильевич строго относится к своим обязанностям. Поэтому, если ей казалось, что в рукописи есть что-то ценное, она докладывала Разумнику. Он иногда шутливо говорил: "Варвара Николаевна кажется поймала что-то на крючок своей удочки". Я рассказываю об этом так подробно потому, что хотелось бы отдать должное литературному чутью Варвары Николаевны, очень скромной, не имевшей, конечно, никаких литературных амби-

ций. В один прекрасный вечер Варвара Николаевна сказала: "Посмотри, тут, кажется, что-то интересное. Странный какой-то язык, но очень своеобразный". Это был один из рассказов Замятина, который впоследствии вошел в первый его сборник "Уездное". В письме, приложенном к рукописи, было сказано: "Будучи инженером, я привык к точности. И если вы найдете мою рукопись совершенно непригодной, то очень прошу вас не возвращать ее мне, у меня есть копия, но написать хотя бы одно слово – не годится". Разумник Васильевич сразу пришел в необыкновенный восторг от рассказа Замятина: "Да ведь это совершенный самородок! Вот тебе и уральский инженер! А вдруг новый..." Он даже не решился сказать, кто "новый". Так Евгений Иванович Замятин начал свою литературную деятельность. Он был принят в "Заветы". И сразу же за ним установилась репутация писателя, пишущего своим, замятинским языком. Основывалось это, главным образом, на изобилии провинциализмов, неизвестных, но выразительных, резко и четко определяющих не только образы героев, но и обстановку, и пейзажи, и быт. Для Разумника Васильевича навсегда осталось памятным, что в его семье был открыт новый большой талант. Сам Евгений Иванович, в отличие от писателей, которые не желают признавать ничьих заслуг в своем успехе, не отрицал роли Разумника в своей литературной карьере. При первой же встрече со мной в Петербурге Евгений Иванович сказал: "Очень приятно, я знаю, вы большой друг Разумника Васильевича, ведь он мой Колумб". Назвав Разумника Васильевича своим Колумбом, Замятин как бы признал себя целым материком! Впрочем, возможно, он только считал, что подобно тому, как Колумб открыл Америку, он, Замятин, нашел новый путь к русскому слову, нашел необъятные, неоткрытые ценности в глубинных пластах русского языка. Он их разыскивал, как ищут благородные металлы и алмазы в горных породах Урала.

Но в то время, о котором я рассказываю, Евгений Иванович был уже настолько признанным писателем, что Горький собирался назначить его своим помощником и советником по подбору литературы в издательстве "Всемирная литература". Это было время, когда Горький увлекался идеями спасения и сохранения культурного наследия России. В первые революционные годы, годы больших проектов, когда целью Ленина была электрификация страны, когда он утверждал, что "Ком-

мунизм это есть советская власть плюс электрификация всей страны", Горький находил, что смысл революции есть наука и культура. Литература была для него самым важным и близким делом его жизни. Читать он начал еще в Нижнем Новгороде мальчишкой, и эту страсть сохранил на всю жизнь. Необходимость создания издательства "Всемирная литература" Горький объяснял тем, что русский народ, который, как и он в молодости, читает без разбора и толка, нуждается в руководстве его чтением. По словам Горького: "Как революция должна стать всемирной, так и литература в этой революционной России должна стать всемирной". Кроме того, "Всемирная литература" могла бы послужить одновременно материальной поддержкой для средних литераторов, лишь бы они обладали знанием хотя бы одного иностранного языка. Сначала "Всемирная литература" должна была включать только иностранную переводную литературу. Однако постепенно, после того, как Горькому был задан вопрос – разве русская литература не входит в состав всемирной литературы? – Горький решил включить и русских писателей в библиотеку "Всемирной литературы". Боюсь быть неточным, но кажется, это была идея Евгения Ивановича Замятина. В подборе литературы для библиотеки надо было действовать исключительно осторожно. Были такие, которые настаивали, что ничего реакционного не следует включать в списки "Всемирной литературы". И могло, например, случиться, что если бы этот проект попал в некомпетентные руки, то в списки классиков русской литературы Достоевский, считавшийся реакционером, мог бы не войти. Я слышал от Блока, который с самого начала был привлечен к участию в издательстве "Всемирная литература", что Горький, несмотря на то, что много времени тратил на административную работу, собрания, решения, добывание финансов, продолжал читать огромную массу не только русской, но и особенно иностранной переводной литературы.

Во главе русского отдела издательства Горький намеревался поставить Анатолия Федоровича Кони, первоклассного знатока русской литературы, человека с необыкновенно тонким пониманием стиля прозы. В это время Кони уже был маститым членом Академии изящной словесности, однако свой жизненный путь он начал как юрист и на этом поприще прославился. Кони был прокурором, потом обер-прокурором. Его

тексты обвинительных речей и дух, которым они проникнуты, был поистине духом новых судебных законов и уставов, где прокурор выступает не только как обвинитель, но и одновременно как защитник обвиняемого. Это очень соответствовало стилю жизни и мысли Анатолия Федоровича. Кони заботился о чистоте русского языка, объясняя, как важно в языке, особенно созданном самим народом, сохранять порядок слов. От него самого я слышал его любимый пример: "Скажите – кровь с молоком – и сразу – красавица – кровь с молоком. А переставьте слово – молоко с кровью – отвратительное что-то. Не о живом думаешь, а об испорченном молоке. А ведь этого многие писатели не понимают. Так переставляют слова, что вместо красоты – одно безобразие!" До революции Анатолий Федорович Кони был сановником на высоком положении и стал одним из немногих, который не отрекся от большевистской революционной России. Конечно, злословили, как и о других достойных людях: "Примазывается, приспосабливается". А мне кажется, что Анатолия Федоровича Кони можно подвести под ту же категорию людей, как Андрей Белый. Конечно, важен и политический строй. Кони всю жизнь был в оппозиции, будь то монархия или большевизм. Кони продолжал лелеять, беречь и развивать русский язык, а против этого, конечно, никто ничего не имел. Как и Шаляпин, Анатолий Федорович был обеспечен особыми привилегиями: лошадью, кормом для нее, экипажем и даже извозчиком. Не ходить же пешком старому человеку! Встречались мы с Анатолием Федоровичем довольно часто. Я открыл, что Кони, этот гуманист, любитель языка и словесности, был в то же время очень острым и строгим критиком русского народа. Как-то одно из наших заседаний происходило в кабинете бывшего директора коммерческого банка около Александринского театра. С прекрасных, дорогих кресел с удобными спинками и сидениями, стоявших вокруг стола, кто-то позаботился срезать кожу на обувь. Анатолий Федорович тогда заметил: "Французы говорят – La propriété c'est le vol (Proudhon), а они говорят – Le vol c'est la propriété". Мне было совсем не ясно, кто "они"? Думал ли он, что большевики срезают кожу с кресел? А Анатолий Федорович разошелся и продолжал: "Вот посмотрите на все их поговорки – "Не обманешь – не продашь", "Моя хата с краю – ничего не знаю", – безответственность, воровство, дикость". Кого же имел в виду Ко-

ни, кто же эти – "они"? Я спросил одного из знакомых Кони, как это объяснить? Ответ был: "А вы не знаете? Анатолий Федорович – иностранец. Может быть, вы думаете, что Кони – это множественное число от слова "конь"? Ничего подобного. Это название небольшого итальянского городка. Отец Анатолия Федоровича, приехав из Италии, поселился в России и женился на русской балерине Мариинского театра. И вот Кони стал русским. Но очевидно, революция настолько оттолкнула его от народа, что у него только и остался один язык". Сколько раз впоследствии я наблюдал, как язык заменял людям страну, родину. Белый задыхался без языка, Горький тоже. Но Алексей Максимович умел окружать себя звуками русской речи, где бы он ни был. Анатолий Федорович Кони примирился с тем, что должен был служить русскому языку до конца, но служить русскому народу он, по-видимому, никогда не хотел и не мог. Довольно интересное явление! Я был дружен со многими людьми разных национальностей, народов и культур, но ничего подобного не встречал никогда, ни во Франции, где язык играет очень важную роль, ни в Германии. Культ языка встречался среди народов политически не свободных, борющихся за свою независимость, за освобождение. Например, валлийцы, ирландцы и даже шотландцы стараются искусственно воскресить свой почти забытый язык. В девятнадцатом веке существовал целый ряд таких народов. Иногда я спрашиваю себя, может ли существовать такой человек, который владеет пером и является не патриотом своего отечества, не патриотом своего народа, а патриотом языка; патриотизм которого сжался до одной любви к своему языку, до любви к слову, и который оставался бы при этом цельной личностью? Анатолий Федорович Кони – был таким человеком. Был Кони небольшого роста, с окладистой бородой, ходил с палочкой, сильно прихрамывая. Он ездил читать доклады о чистоте русского языка красноармейцам и матросам, которые жили в казармах. Это ставило его в несколько неловкое положение при встречах со старыми его коллегами. Однажды, поздней осенью, возвращаясь вместе с Кони с открытого заседания, мы свернули с Надеждинской на Невский. Почему-то извозчик его не ждал на этот раз. Он шел пешком, шаркая ногами. "Вам, наверное, тоскливо с таким стариком идти? – сказал он вдруг, – погодите, не говорите, не могу – у меня сердце замирает". Он присел на ступеньки па-

радного входа в дом на Невском. "Вот смотрите, ведь, может быть, я уже не поднимусь с этих ступенек". Очевидно у него начинался сердечный приступ. Он покачал головой и, помолчав, добавил: "Вы будете свидетелем того, как моя жизнь оборвется..." Но он не умер. Он еще довольно долго прожил и написал, как я впоследствии узнал от Исайи Берлина, еще два больших тома своей серии "На жизненном пути". Я их не читал, но знаю, что в разговорах Анатолий Федорович упоминал множество людей и всегда находил для каждого необычайно точные слова, напоминавшие мне иногда старинные силуэты, которые в восемнадцатом веке француз Silhouette вырезал из черной бумаги – не совсем живые люди, но резко очерченные, сохраняющие своеобразие личности. Общество Любителей русской словесности, основанное Кони, звучит старомодно, но Анатолий Федорович оживил его для меня, и я люблю слово "словесность" именно потому, что Кони любил русскую словесность.

Вполне естественно, что такой человек, как Анатолий Федорович Кони, мог бы быть кладом для Максима Горького в его "Всемирной литературе". Вот если Кони возьмется за это дело, лучшего судьи и не нужно! На предложение Алексея Максимовича Кони сказал: "У вас дело большое, на много лет, а я человек старый, вы возьмите кого-нибудь помоложе, вот например, Замятина". Так Анатолий Федорович сыграл роль свата, сведя Замятина с Горьким. В издательстве Всемирная литература" Замятин сразу стал ведущим его членом не только в подборе русских авторов, заслуживающих, по его мнению, достойное место среди образцовых российских писателей, но и в подборе иностранных писателей и даже поэтов. Этой работой Замятин заинтересовал другого мастера словесности – Николая Степановича Гумилева.

Николай Степанович Гумилев, вождь акмеистов, был тоже очень строг в выборе слов. И ему хотелось обогатить русский язык, хотя вводить неологизмы в язык поэзии значительно труднее, чем в язык прозы. Николай Степанович соперничал с Блоком за место ведущего поэта в современной русской поэзии. Однако Иванов-Разумник считал, что Гумилев не только не может ставить себя на один уровень с Блоком, но что его бюрократизм в поэзии, пожалуй, даже исключает его из поэтического царства. Николай Степанович имел причуды, иногда, может быть, даже не литературного характера, которые дейст-

вительно носили оттенок какого-то поэтического бюрократизма. Известно, что Гумилев в молодости служил в армии. Незадолго до Первой мировой войны он был послан в Абиссинию с военной миссией. Оттуда Николай Степанович привез первый томик своих стихов, навеянных экзотикой Абиссинии. В одном из этих стихотворений описывался "изысканный жираф", что послужило причиной для Иванова-Разумника свою критическую статью о поэзии Гумилева назвать "Изысканный жираф". Николай Степанович в каком-то смысле напоминал изысканного жирафа, с тонкой шеей, очень легкого на подъем. Мне пришлось с ним впервые столкнуться в Доме литераторов на Бассейной. Там находилась столовая для тех литераторов, которые не имели другой возможности получить хотя бы одно горячее блюдо в день. Они, как правило, находились под покровительством комиссара народного просвещения Северной коммуны, включавшей, кроме Петербурга, несколько северных губерний: Новгородскую, Псковскую и другие. Комиссаром этой коммуны была Лилина, жена Зиновьева. Зиновьев, конечно, являлся магом и чародеем этой коммуны – маленький Ленин и Троцкий в одном лице. Вероятно, под влиянием Горького, Лилина сочла необходимым снабжать питанием полуголодных литераторов. Никто не интересовался, откуда берется картофель для распределения между членами-литераторами, лишь бы был съедобный. Дом литераторов помещался в очень небольшом особняке на Бассейной. Случилось однажды мне сидеть там за столом против Гумилева. Я тогда не был еще знаком с ним, но Николай Степанович почему-то знал о моей связи с Разумником Васильевичем. Гумилев, без всяких церемоний, сразу, через стол протянул мне руку и сказал: "Вы ведь друг автора статьи "Изысканный жираф"? – "А вы – Гумилев? Давно читаю ваши стихи". – "А я вот вашу статью прочитал". Это была моя статья о новом и старом искусстве. В сборнике, не помню как он назывался, издаваемом Домом литераторов, была рецензия на эту статью. Таким образом "Изысканный жираф" Иванова-Разумника познакомил нас. Казалось бы, что через меня Гумилев постарается возразить Иванову-Разумнику на его статью. Ничуть! "А вы во всем сходитесь с Разумником? с Блоком?" Я ответил ему по-французски, весь вид и манера Гумилева как-то невольно вызывали желание вставить "bon mot": "Chacun pour soi, et Dieu pour nous tous". Лицо Ни-

колая Степановича расплылось в широкой улыбке: "Я так и думал, что мы с вами сойдемся". И тут же начал говорить: "Вот когда обнаружится, что самый умный большевик – это Троцкий, тогда все пойдет по-иному. Вы знаете знаменитое изречение Троцкого, что Красная армия, как редиска, извне – красная, а внутри – белая?" Я тогда еще совсем не знал ничего о Троцком, и он мне тут же пояснил: "Вот армия и спасет Россию. Красная армия, во главе которой станет новый Наполеон. Бонапартизм!" И это Николай Степанович открыто и громко говорил в небольшой комнате, полной совершенно незнакомыми людьми. Хотя Гумилев и шепелявил немного, он говорил зычно и вполне отчетливо, как если бы нарочно хотел, чтобы все его слышали. Я пытался его остановить – неужели он не понимает, что тут нельзя так говорить? "Многие думают, – сказал я, – что революция пойдет по примеру французской и все кончится Бонапартом. Но для бонапартизма нужен Бонапарт, а я его не вижу". Мне все хотелось отвлечь Гумилева от его неосторожной бравады, и я напомнил ему, что когда спросили Льва Толстого уже после выхода "Войны и мира" о возможности русского Бонапарта, он ответил, что Наполеон в России возможен, но только это не будет военный генерал, а какой-нибудь журналист или политический деятель. Но Николай Степанович не унимался: "Вот вы говорите, что невозможен бонапартизм без Бонапарта. А Бонапарт у нас уже есть! Это маршал Красной армии Тухачевский". В 1921-ом году, под командованием Троцкого, Тухачевский участвовал в подавлении Кронштадтского восстания, а потом и сам был ликвидирован.* И Гумилев стал в подробностях говорить о том, что нужно сделать для продвижения кандидатуры Тухачевского в Бонапарты. Это было до такой степени странно, что у меня даже возникло

* Будет уместно внести историческую вставку, связанную с последней попыткой в России подняться во имя борьбы за свободу. Это было во время Кронштадского восстания в 1921-ом году. Загремели пушки в Кронштадте. Васильевский остров вдруг ожил. На Девятой линии работницы фабрики Лаферм вышли на Средний проспект и потребовали, чтобы явился Зиновьев, бывший тогда председателем петроградского Совета депутатов. Власти растерялись. (Тухачевский еще не явился на подавление восстания в Кронштадте.) Явился человек, посланный из Смольного, где заседал Совет депутатов, и заявил: "Если вы будете подрывать дисциплину – сам царь вернется". Раздались крики: "Лучше царь, чем Зиновьев. Царь – дурак, да был наш!".

подозрение, не хочет ли Гумилев меня спровоцировать? Не является ли он провокатором? Но разве провокатор ведет себя так? Или, может быть, он считает, что имеет дело с идиотом? Было непонятно и все-таки немножко боязно как-то за него самого. Полчаса подряд, ни больше ни меньше, Николай Степанович рассказывал об идее единовластия, монархии, как она должна быть восстановлена; о том, что сердце всякого государства должно биться в груди, украшенной знаками военных подвигов; о том, что настоящий святой, охраняющий Россию, – Георгий Победоносец; что найдется, наконец, какой-нибудь еще неведомый кавалер Георгиевского креста, который вместе с Тухачевским организует новую армию в традициях старой царской. И необходимо также поддерживать идею монархии: "Мы устраиваем панихиды по членам погибшей царской семьи". Он назвал церкви, где служат панихиды по "рабу Божьему Николаю, сыну Александра", а также и по всем четырем его дочерям. Почему-то он не упомянул царицы. Сидевшие вокруг стали прислушиваться, но, очевидно, полагали, что тут читают какой-то отрывок из повести. Понемногу стали расходиться. Мы остались одни. Я уверен, что если бы среди нас нашелся какой-нибудь чекист, он обязательно остался бы. Итак, Николай Степанович проявил как заговорщик необыкновенную смелость изысканного жирафа, которому все нипочем! Главное держаться так, чтобы, благодаря длинной шее, возвышаться над прочим зверьем. В конце Николай Степанович сказал: "Простите, я немножко заговорился. С вами я хочу поговорить совсем о другом. Вы ведь читаете Библию в оригинале? Для этого вы мне и нужны. Если ничего не имеете против, я дам вам свой адрес. Загляните как-нибудь вечерком, я вам подробно обо всем расскажу". Так что у Гумилева была своя литературная цель, а монолог о грядущем бонапартизме был только предисловием. До того как я посетил Гумилева, я поделился своими странными о нем впечатлениями с Эрбергом и Разумником Васильевичем. Константин Александрович заметил: "Я всегда говорил, что есть две категории людей, которых я не переношу: инженеры и офицеры. Николай Гумилев – офицер; был и остался". Разумник же Васильевич добавил: "Вы думаете, это случайно? Он ведь необыкновенно неумный человек. Весь его акмеизм можно свести к недостаточной развитости ума. Его соперничество с Блоком – бессмысленно, даже глупо. То, что

вы рассказываете о Гумилеве, подтверждает поведение глупого человека, "офицера", как говорит Константин Александрович. Гумилев, как в бою на фронте, на передовой, хочет показать свою храбрость. Он желает свергнуть большевиков их же средствами – хочет подходящего офицера, который поведет Красную армию против большевиков. А главное – не боится, подготавливает переворот – и не боится". – "А зачем он позвал меня? Как вы думаете – пойти?" – "Конечно, вот увидите, у себя дома Гумилев будет вести с вами разговор, в котором не будет ни капли политики. Будет какая-нибудь литературная выдумка". Интонация голоса Разумника Васильевича была спокойной, раза два он потянул свою трубочку с махоркой и добавил: "Жираф". Мне не нравилось в нем это пренебрежительное отношение к людям, но в Разумнике Васильевиче это было.

С Николаем Степановичем Гумилевым я провел целый вечер в его кабинете. Как сейчас вижу эту лампу на письменном столе под стеклянным абажуром. Разумник Васильевич был прав, я нужен был Гумилеву для того, чтобы узнать значение числа "двенадцать" в Ветхом Завете. Гумилев объяснил мне, что когда он сможет выяснить значение определенного числа, то многие понятия, так как они живут в связи с этим определенным числом, станут яснее. Например "двенадцать" – связано с двенадцатью коленами Израиля. Ему бы хотелось послушать как звучит на древнееврейском языке, в оригинале, место, где говорится о двенадцати коленах Израиля. Я высказал мнение, что "двенадцать", может быть, двенадцать месяцев, связанных, вероятно, с двенадцатью знаками Зодиака. "Ах, это – астрономия, а мне нужна звуковая связь!" Гумилев ожидал, что в языке Библии будет какая-то очевидная связь числа со смыслом, какая мерещится ему в русском языке. Над этим нужно, по его мнению, систематически работать. Кроме того, ему необходимо составить словарь рифм. Поэтам не хватает словаря рифм. Ведь есть слова, которые не рифмуются – "слова-одиночки". Например, "солнце". Так вот, Игорь Северянин выдумал губернию под названием – Олонецкая губерния, а житель ее олонец, и родительный падеж от слова "олонец" – олонца. Вот и есть рифма для "солнца" – "олонца". Я вспомнил брюсовскую рифму для "истины" – "пристани".

Непоколебимой истине
Не верю я давно,

Все гавани, все пристани
Люблю, люблю равно.

Гумилеву, хоть он и знал ее, эта рифма не нравилась: "Это скорее ассонанс". Не нужно забывать, что Маяковский в это время был уже в полном расцвете своей славы. Да и вообще, рифма в русской поэзии проделала революцию еще более крутую, чем политическая революция в России. Я подумал, связав, может быть, без всяких оснований поведение Гумилева с его поэтической политикой, что Николай Степанович непременно хочет реставрировать дореволюционное искусство рифмовать. "Все это требует много работы, много времени. Один только словарь рифм потребует колоссальной работы", – сказал Гумилев. Он задумал создать особый комитет для этой цели и пригласить специалистов, настоящих, хороших знатоков русского языка: "Я льщу себя надеждой, что и я не считаюсь последним среди знатоков русского языка. Но мне бы хотелось, чтобы и Анатолий Федорович Кони и Евгений Иванович Замятин согласились бы принять участие в этом комитете. Когда состоится первое учредительное собрание, я очень прошу и вас присутствовать на нем и высказать свое мнение". Забегая вперед, скажу, что это комическое предприятие кончилось ничем. Гумилев трагически погиб. Но благодаря этому знакомству Николай Степанович стал для меня не просто поэтом с именем, не просто офицером, – а живым человеком, со своими очень своеобразными странностями, со своей поистине безумной храбростью, заставлявшей его очертя голову бросаться в опасность.

Коротко расскажу о первом, учредительном собрании комитета Гумилева по созданию словаря рифм, слов-одиночек и понятий, связанных с числами. На это собрание пришли только Гумилев, старый Анатолий Федорович Кони и я. Замятина, который тоже должен был присутствовать, ждали, но так и не дождались. Гумилев начал собрание с того, что произнес филиппику против Горького, изобразив его диктатором русской литературы, в особенности же своего издательства "Всемирная литература": "Горький, наверное, разузнал о нашем предприятии и не дал Замятину прийти, просто запретил ему! Он чувствует, где есть что-то ценное. Драгоценные слова Замятина необходимо прибрать к своим рукам, никого другого не допу-

скать!” И вдруг Анатолий Федорович, как бы в противовес антигорьковской филиппике, произнес хвалебную речь в честь Замятина: ”Как жаль, а я, по совести, хотел именно с Евгением Ивановичем познакомиться. Я явился сюда, главным образом, чтобы посмотреть на Замятина. Ведь это же совершенно необыкновенный писатель. У него столько драгоценных слов – самородков”. Кони увлекся словом ”драгоценные” и стал развивать теорию о том, как и откуда должно добывать настоящие полновесные неологизмы: ”Драгоценные слова невозможно выдумать, они должны быть естественным, органическим свойством писателя, так же как отложения драгоценных металлов и образования драгоценных камней в горных породах. Замятин явился к нам с Урала, где драгоценные, благородные металлы и камни скапливаются, собираются тысячами, миллионами лет, лежат под давлением очень тяжелых и грубых пород и ждут. Жизнь идет. Драгоценные камни начинают светиться, становятся самоцветными и ждут веками настоящего ценителя и знатока, который подымет их из каменной толщи, высвободит и даст им простор сиять на весь свет. Вот это и есть Евгений Иванович Замятин – горный инженер нашего языка!” Я был под сильным впечатлением от слов Кони и очень жалел, что Евгений Иванович их не слышал. Гумилев улыбался как-то иронически, так как Кони высказался также против искуственности в поэзии, против того, чтобы целое новое направление в русской поэзии называть акмеизмом, от греческого слова ”акме”. В заключение Анатолий Федорович добавил: ”А то, что Алексей Максимович Горький соперничает с вами за обладание Замятиным, делает ему честь. Он видит и знает, где настоящее!” Мы разошлись.

Хотя Николай Степанович тоже был знатоком языка, любил новые слова и, конечно, не был выходцем из Италии, он не любил русский язык в такой степени, в какой любил его Анатолий Федорович Кони. Я объясняю это тем, что Гумилев жил другими страстями. Он жаждал подвига. Он был уверен, что подвиг предписан ему судьбой. Мне пришлось встретиться, уже после ареста Гумилева, с отцом его последней жены, Николаем Александровичем Энгельгардтом. Несмотря на свою немецкую фамилию, Николай Александрович Энгельгардт был очень русским человеком. Сотрудник ”Нового времени” и специалист по китайской культуре, он знал подробности заключи-

тельной трагедии Гумилева. В один прекрасный вечер, передавал мне Николай Александрович со слов своей дочери, в квартиру Гумилевых постучали троекратно. Это был условный сигнал заговорщиков-бонапартистов. Гумилевы открыли дверь. Вошли два человека. Они объявили, что пришло время Николаю Степановичу перейти финскую границу. Пора решать судьбу России. Николай Степанович, который был уже в халате и собирался спать, вскочил с места. "Когда же мы выступаем?" – вырвалось у него.

Как сейчас вижу Николая Александровича Энгельгардта, высокого, широкоплечего, с седой бородой, очевидно, рыжей, который как-то даже содрогнулся, когда сказал: "Подумайте только! – Когда выступаем? – Ведь он, как полководец, собирался уже вести полк в поход!" Николай Степанович Гумилев ушел вместе с этими двумя людьми, и жена его больше не видела. Он пропал без вести. Жена Гумилева верила, что муж ее вернется. Проходили месяцы, а он не возвращался. За это время стало известно не только то, что Николай Степанович расстрелян, но и подробности расстрела. Гумилев, вместе с другими арестованными, был отвезен на артиллерийский полигон, вблизи железнодорожной станции, между Охтой и Онегой, где арестованных заставили вырыть глубокий, во всю длину полигона, ров. Всех арестованных раздели, оставив их в нижнем белье, и приказали бежать. Когда они добежали до рва, пулеметы открыли огонь. Распространился слух, как и откуда, не знаю, что двое из приговоренных спаслись каким-то чудом. Одним из спасшихся был будто бы Гумилев. Николай Александрович рассказывал, что его несчастная дочь не хочет примириться с тем, что Гумилева нет в живых, верит, что он вернется, и неустанно ждет его. Жену Николая Степановича я не знал и никогда не видел. Однажды Энгельгардт сообщил мне, что дочь его хотела бы со мною встретиться, чтобы услышать подробности встречи моей с Гумилевым. Он жил вместе со своей дочерью в то время и пригласил меня прийти к ним. Я не согласился, так как считал, что ничем не смогу ей помочь. У меня было такое чувство, что он погиб вместе с другими на полигоне. Кроме того, мне не хотелось передавать ей все подробности о том, как Николай Степанович открыто бравировал, рассказывая о своих бонапартистских планах. "Возможно вы и правы, – сказал на это Энгельгардт, – Николай Степанович был немножко того-с,

глуповат!" Но мне не хотелось бы на этом заканчивать свое повествование о Гумилеве. Теперь о нем много пишут, собирают материалы, печатают, особенно в Америке. Не знаю, имеет ли значение то, как о нем отзывались раньше его литературные коллеги, но думаю, что Николай Степанович Гумилев заслуживает почетного места в русской литературе. А если посмотреть на гибель Гумилева через призму времени, то станет ясно, что никто и ничто не могло предотвратить его гибели.

Евгений Иванович Замятин был прямой противоположностью Гумилеву. Очень положительный, очень точный, всегда с карандашом в руках, скорее молчаливый, чем разговорчивый, писавший замечательными самоцветными словами, Евгений Иванович внушал всем, общавшимся с ним, мысль о том, что надо держать ухо востро по отношению к нему. Но Замятин, так же, как и Гумилев, в конце концов тоже погиб преждевременно, очень преждевременно. Мне пришлось уже за границей не только еще раз встретиться с Замятиным, но и получить через него последние живые приветы от оставшихся в России друзей. Было это в Берлине в 1931-ом году. Совершенно неожиданно для меня позвонил по телефону Евгений Иванович Замятин. Я чрезвычайно обрадовался, забыл все намеченные на этот день дела и условился встретиться с ним в кафе, неподалеку от Байришер платц. Пришел Замятин вместе со своей женой Людмилой Николаевной, которую я раньше никогда не встречал. Перед самым отъездом из России Замятин побывал в Царском у Разумника Васильевича, который попросил Замятина передать мне привет: "Скажите ему, что мы все-таки не унываем, и я не жалею, что не эмигрировал". Евгений Иванович стал рассказывать о себе, о наших друзьях, как и почему он уехал из России. Он был бодр и очень рад, что оказался на свободе. Евгений Иванович с большим удовольствием рассказывал о том, как вдохновляют его произведения Салтыкова-Щедрина. Он восторгался очень меткой сатирой Щедрина в "Помпадурах и помпадуршах", где один из героев считает, что должен бороться против крамолы, но вдруг обнаруживает, что сам крамольник, и кричит, что его следует арестовать, "я – крамольник". Как Евгений Иванович радовался, вострогался тем, что он сумел внести некоторые добавочные подробности в толкование и представление о щедринской помпадурщине! Замятин считал, что если на Невском он вдруг повстречался бы с

Михаилом Евграфовичем Салтыковым-Щедриным, они, не сказав ни слова, подмигнули бы только друг другу: "Знаем, мы оба – умные". Я вспомнил при этом, что Василий Васильевич Розанов говорил: "Людей умных мало. Мне думается, если бы я встретился с Толстым, то оказалось бы, что я не глупее его". Заговорили об устройстве Замятина за границей. Из газет я знал, что Замятин был автором театральной сатиры и даже помогал ее ставить в театре. Знал я также, что ему простили его очень умную и острую сатиру на военный коммунизм. Я спросил Евгения Ивановича, есть ли у него здесь какие-нибудь связи, рекомендации, и быстро понял, что Замятин предполагал, что легко сможет здесь продолжать свое дело: если по-русски не удастся печатать, то ведь можно переводить на немецкий или французский. Я подумал о том, что Алексей Максимович Горький, у которого были большие связи, поможет, вероятно, Замятину устроиться за границей. Евгений Иванович неохотно говорил со мной об этом, может быть, был связан обещанием? Он продолжал настаивать на том, что самое главное для него – это то, что он оставил Россию.

Среди рассказов о многих наших общих друзьях, Евгений Иванович сообщил мне нечто очень существенное о нашей общей доброй приятельнице Ольге Дмитриевне Форш. Она все еще жила в Царском и стала признанной советской писательницей. Замятин говорил, что Ольга Дмитриевна держится достойно, не идет на компромиссы до известного предела. "Представьте себе, мы уже распрощались с Ольгой Дмитриевной. Расцеловались. Она подробно наказала, кому и что передать. Я уже повернулся к ней спиной, как вдруг она, очевидно, вспомнив что-то, позвала: "Евгений Иванович, Евгений Иванович, ни за что не забудьте ко всем моим приветам Аарону Захаровичу прибавить, что если он, паче чаяния, в какой-нибудь советской газете встретит мое имя среди подписавшихся под смертным приговором кому бы то ни было, пусть он знает и помнит, что это подлог, что я лучше погибну, но не подпишу такого заявления". Это были ее последние слова ко мне. В одном из произведений Ольги Форш описывается время, когда мы были вместе в Петербурге, а в одном из героев она изображает меня под каким-то другим именем. Я не доискивался и до сих пор не знаю, так ли это. Меня очень обрадовало то, что Ольга Дмитриевна хотела, чтобы кто-то знал о ее "заклятии", что благода-

ря приезду Замятина именно я узнал об этом. Ведь Ольга Форш не только была единственной писательницей из разумниковского гнезда, признанной в большевистской России, она также была одобрена Горьким. (Отчасти она была тоже находкой Разумника.)

Очень скоро, как и другие сугубо русские писатели, в частности Андрей Белый и Горький, Евгений Иванович Замятин ощутил, что ему не хватает воздуха в Европе – душно. Германия того времени была накануне фашистского переворота. Ни одна дверь для Замятина в Германии не открылась. Его выслушивали вежливо, откланивались и даже не обещали дать ответа, могут ли его идеи пригодиться в Германии. Я знал о затруднениях Замятина через моего дальнего родственника, который имел связи в театральном мире и мире кинематографии. От него я и услышал, как один из директоров немецкой кинематографической фирмы, который интересовался произведениями Замятина и читал их на немецком языке, сказал ему: "Вы очень русский, вас нельзя приспособить к нашей жизни". И вот, как в свое время Борис Николаевич Белый, Евгений Иванович стал перед вопросом, не ехать ли ему обратно? Человек он был трезвый, решение следовало принимать строго рациональное. И когда мы встретились снова, наедине, он спросил, что я думаю о его устройстве с женой в Германии. Зная и чувствуя суть характера Замятина, я ответил отрицательно и передал ему слова директора одной из самых крупных кинематографических фирм о том, что он чересчур русский. "Да ведь вы и сами это знаете, – прибавил я, – умные люди здесь в Германии знают и понимают положение вещей не хуже, чем мы с вами". К сожалению, угроза фашизма в Германии казалась Замятину пропагандой советской прессы, но он все-таки сказал: "Я готов верить вам, что в Германии теперь не место для меня. А может быть, Франция? Что вы думаете?" – "Конечно, я не могу и не чувствую себя вполне компетентным советовать вам что-либо, но мне кажется, что ваше место не в той Европе, которую я довольно хорошо знаю". – "Попытаю все-таки счастья в Париже, а не выйдет, пожалуй, придется вернуться", – заключил Евгений Иванович. Мы распрощались. Замятин уехал во Францию и вскоре умер. Человек он был еще совсем молодой, с большим жизненным потенциалом, любивший свое творчество, которое доставляло ему почти детскую радость. Но и во Франции

не оказалось места для такого замечательного и талантливого человека, писателя с таким необыкновенным языком, языком Евгения Ивановича Замятина! Значит, по логике, Замятину следовало вернуться в Россию. Очевидно, он этого сделать не мог. Сообщений о причинах его смерти я не читал. Думаю только, – это моя гипотеза, которую и не следовало бы, может быть, громко высказывать, – Евгений Иванович Замятин испросил и получил благословение на свой конец! Нарочно говорю это так неопределенно.

VI. НА ПЕТЕРБУРГСКОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ
Встреча с В.В.Розановым

Осенью 1913-го года внимание широких кругов русского общества и международной прессы было приковано к так называемому "делу Бейлиса" – судебному процессу, организованному в Киеве. Судили приказчика кирпичного завода Бейлиса, еврея. Обвинение было основано на том, что убийство малолетнего русского мальчика Андрюши Ющинского было совершено по чисто религиозным мотивам еврейского ритуального характера. Я в это время жил в Петербурге и сам слышал, как мать маленького кадета, которого собирались поместить в пансионе знакомой мне вдовы военного врача Перельман, услышав, что хозяйка пансиона Мария Григорьевна – еврейка, сказала: "Нет, простите, во времена таких ритуальных убийств я боюсь оставить мальчика в еврейском пансионе, как-то боязно!" "Кровавый навет", как называли дело Бейлиса либеральные газеты, успел, очевидно, завладеть умами широких слоев населения всей страны. Не только правая пресса, но и газеты, считавшие себя умеренными, под давлением общественного мнения не возражали против существовавшего особого сектантского ритуала, связанного с кровавыми убийствами христианских детей. Правые газеты, такие, как "Русское знамя" или "Земщина", старались заручиться громкими именами знаменитых писателей, которые бы поддерживали открыто в прессе это обвинение. И вот Василий Васильевич Розанов, читателем которого я был уже много лет, перед которым я преклонялся, писатель не только с большим талантом, но и с тонкой мыслью и незаурядным умом, стал регулярно снабжать "Земщину" статьями в защиту судебного процесса над Бейлисом. Тот Розанов,

который до последнего времени писал в высшей степени своеобразные статьи о евреях, объясняющие, что евреи по природе своей – вегетарианцы, так как согласно библейским текстам и по еврейским обрядам, прежде чем употреблять в пищу мясо, должны его посолить и вымочить так, чтобы в нем не осталось ни капли крови. Статьи Розанова о еврействе производили на всех большое впечатление, а на меня в особенности. И вдруг оказывается, что евреям нужна кровь христианских младенцев, чтобы справлять праздник Пасхи – праздник освобождения евреев из египетского плена! Для меня оставалось загадочным, что заставило Розанова изменить свои прежние убеждения?

Я долго терпел, читая аккуратно его статьи в "Земщине", но однажды, прочитав особенно ядовитую статью, не выдержал и, не отдавая себе отчета в том, что делаю, нашел телефон Розанова и позвонил ему: "Могу я поговорить с Василием Васильевичем?" Он сам подошел к телефону и спросил: "Кто говорит?" – "Говорит человек, который занимается философией, еврей, большой почитатель ваших работ до недавнего времени, читающий ваши статьи в "Земщине" и старающийся разгадать загадку. Может быть, вы бы нашли время выслушать мои вопросы?" – "А вы тоже пишете?" – "Пишу кое-что". – "Ну хорошо, хорошо, вы, вероятно, хотели бы поговорить со мной о деле Бейлиса? Знаете, набил нам оскомину этот ритуал, однако я к вашим услугам. Приходите в воскресенье вечером". Об этом "приглашении" я не сказал никому. Пошел по нужному адресу и позвонил.

Открыл сам Розанов, и я сразу оказался лицом к лицу с Василием Васильевичем. "Ах, такой молоденький, этого я меньше всего ожидал. Идемте, идемте, очень интересно", – сказал он и как любезный хозяин взял меня под руку и ввел в столовую, в которой за длинным столом сидело порядочно народа. Среди них я узнал очень известного актера Малого театра – Юрьева, других я не знал. Василий Васильевич посадил меня за стол по правую руку от себя. Одной из своих трех дочерей, по-моему младшей, он наказал: "А вот ты, Катя, поухаживай-ка за нашим гостем". Я заметил, что все присутствующие с необыкновенным интересом оглядывали меня. Очевидно, Розанов успел предупредить гостей о приходе какого-то еврея, он даже не знал моего имени, который желает говорить о процессе Бейлиса, о ритуале. Было очевидно, что все интересовались,

"кого это евреи нам подослали". Может быть, мое замечание и несправедливо, но для ряда гостей Розанова и для его дочерей я был неожиданным угощением на этом званом обеде. Мне придвинули блюдо с разнообразными закусками, и Василий Васильевич начал расспрашивать меня, кто я и откуда, где учился философии и т.д. Мне этот светский разговор казался не к месту. Я пришел не для того, чтобы вести легкую застольную беседу и не ожидал, что буду одним из гостей Розанова. Я представлял себе, что буду сидеть за рабочим, письменным столом наедине с Розановым и постараюсь выяснить и понять, что побудило его так резко переменить свои взгляды на евреев. Получилось совсем не так, как я ожидал. Я сидел за столом, как обычный гость на вечеринке Розанова и, поглядывая на Василия Васильевича сбоку, на его ласковое лицо, прислушиваясь к гостеприимным ноткам в его голосе, думал, когда же мы дойдем до дела? Неужели серьезный разговор начнется при всех этих людях? Однако, "взялся за гуж, не говори, что не дюж"!

И вот, Василий Васильевич сам начал говорить о процессе Бейлиса:"Так вы пришли, чтобы поговорить о ритуале?" – "Как я уже сказал вам по телефону, Василий Васильевич, я все ваши книги читал и знаю ваше мнение, что евреи как бы все поголовно вегетарианцы. Я и сам получил очень хорошее, основательное еврейское воспитание и образование и твердо знаю, что подобного ритуала среди евреев быть не может, это противоречит всем принципам еврейской веры". – "А-а, вы думаете, что и я не верю в возможность такого ритуала? Нет, я верю. А вы, такой молоденький, думаете, что все тайны знаете? Во всем еврейском народе, может быть, только пять-семь человек об этом знают". Я немного рассердился: "А вы, Василий Васильевич, как же знаете?" – "А я – носом, чутьем. Вы не понимаете главного. Согласитесь, ведь это совершенно необыкновенное явление – народ рассеян, без земли, без общего языка, – а вот как-то держится, и не только держится, а силу проявляет! Посмотрите на себя, вот вы сотрудничаете в журнале "Русская мысль", а русским себя не считаете". Я возразил, что такого требования нет, чтобы только русские писали в русских газетах. – "Так ведь вся наша печать, за немногими исключениями, в руках евреев, они руководят всей прессой и в конце концов захватят власть в России. А почему? Потому что держатся крепко, обособленно. Вот Бейлиса, человека совсем ничем не вы-

дающегося, обвиняют в ритуальном убийстве, и все евреи, как один человек, во всем мире поднялись на его защиту. Как же вы это объясняете? Нет более сильной связи, чем через кровь. Для этого-то и совершаются время от времени кровавые убийства. Еврейский народ тогда еще крепче объединяется! Вы же не будете отрицать того, что все, что бы мы ни делали, для вас – погано!" Я развел руками. "Вот, – продолжал Василий Васильевич, – моя дочь поставила перед вами угощение, а вы не прикасаетесь!" – "Василий Васильевич, да вы же лучше других знаете, что евреи по закону не могут употреблять в пищу мясо, из которого не удалена вся кровь. Кроме того, есть пища, которая не употребляется евреями не потому, что она "погана", а потому, что запрещена еврейским законом. Я не ем ветчины, но не потому, что она на столе *у вас*, – я вообще никогда не ем ветчины!" – "Да, это, может быть, и так, но все-таки вы считаете нас людьми второго сорта, если вообще считаете людьми! А как объяснить, что вы на меня смотрите и сердитесь?" – "Я не сержусь, я очень огорчаюсь. Я вам не льстил, когда сказал по телефону, что был большим почитателем вашего таланта, ваших произведений, я многому у вас научился". – "Вот вы хотите меня взглядом околдовать!" Не знаю, что он видел в моем взгляде особенного: "Простите, Василий Васильевич, может быть, вы разрешите мне откланяться и уйти, я не хотел бы быть помехой вашему воскресному обеду". Тогда он довольно громко сказал: "Нет, я верю, верю в ритуал!" Это громкое восклицание было явно сделано для того, чтобы привлечь внимание всех, сидящих за столом. Человек, сидевший недалеко от нас, с окладистой седой бородой, вмешался в разговор. Я уже и раньше заметил, что он прислушивается к нашей беседе: "Нет, Василий Васильевич, тут я с вами не согласен. Вы не правы в ваших выводах об обособлении евреев. Когда я был студентом в Петербургском университете, я был дружен с русскими старообрядцами, которые приходили в университет со своими собственными кружками, чтобы не пить из тех кружек, из которых пьют "еретики" – просто православные".

Василий Васильевич познакомил нас. Это был знаменитый Эфрон, автор пьесы "Контрабандисты", направленной против евреев в России. Он описывал евреев, которые селятся вдоль границы и занимаются контрабандой и другими преступлениями. Эфрон сотрудничал в "Новом времени", был крещеным ев-

реем и говорил по-русски с легким еврейским акцентом. Пьесу его ставили в Малом театре. Тот факт, что Эфрон, будучи евреем, отошел от еврейства, очевидно, заставил его вмешаться в наш разговор. Розанов был доволен, что этот разговор становится общим. Дочь Розанова, Катя, сидевшая неподалеку от Эфрона и ухаживавшая за гостями, как-то вскипела и неожиданно сказала: "А почему вы даете папе такие вещи писать, почему вы только тут критикуете его, а не напишете письмо в редакцию? Ведь погромы могут быть!" – "Успокойтесь, Катя, погромов не будет". Василий Васильевич снова овладел разговором: "Вот видите ли, когда мои дочери, приходя из гимназии, взволнованно и с восторгом рассказывают, что нашли замечательную новую приятельницу, когда они находятся под большим впечатлением от нее, я уже наперед знаю, что это или Рахиль, или Ревекка, или Саррочка. А если их спросишь про новое знакомство с Верой или Надеждой, то это будут бесцветные, белобрысые, глаза вялые, темперамента нет! Так ведь мы, русские, не можем так смотреть, сжигая глазами, как вот вы на меня смотрите! Конечно, вы и берете власть. Но надо же, наконец, и за Россию постоять!" Я снова, во второй или уже в третий раз, был глубоко разочарован. Так вот в чем загадка! – "За Россию постоять!" Дело не в ритуале, все дело в политике! Я вдруг почувствовал, что не следовало бы предпринимать этого экстравагантного визита.

Однако эта встреча с Розановым дала мне возможность лучше понять не только его самого, но и многие явления русской жизни. Я решил высказать Розанову, что теперь вполне понимаю, почему он считает нужным и важным, пользуясь процессом о ритуальном убийстве, как-то предупредить русский народ, чтобы остерегались евреев. По моему мнению, это идеи политические, а не религиозные, не философские, и потому мне нечего сказать на это. "Как это – не философские? А почему евреи критикуют все у других, а у себя ничего не критикуют? У евреев – все хорошо! Слышали ли вы, чтобы евреи сами себя критиковали так, как они критикуют правительство, безграмотность народа, пьянство?" – "Василий Васильевич, неужели вы никогда не слышали о таком движении, как сионизм? У вас же в Петербурге выходит еженедельник "Сионистский рассвет", возмите его в руки, вы увидите, что он полон критикой еврейства в рассеянии. Вы говорите, что евреям необходи-

мы убийства христианских младенцев, чтобы сплотиться в рассеянии, а сионисты говорят, что им необходимо восстановить свою святую землю со столицей в Иерусалиме. А покуда она не восстановлена, евреям грозит опасность! Критика евреев и еврейства на каждой странице – это легко проверить!" – "А я вам скажу, что евреи грабят наших крестьян. Я сам видел в Бессарабии, где мы были летом на даче, как евреи, покупая у крестьян зерно, проделывали в мешке дыру и заставляли их добавлять меру-другую!" – "Очень возможно; в еврейских книгах уже давно написано, что торговля не повышает морального уровня того, кто занимается ею". Я даже употребил пословицу, которую Кони ставил в упрек русскому народу: "Не обманешь – не продашь!" "Простите, Василий Васильевич, то, что я сейчас услышал от вас, дает мне право откланяться. Я не в обиде на то, что пишут в печати. Мне обидно, что под некоторыми недостойными статьями стоит подпись Розанова, которого я так уважал и до сих пор уважаю, несмотря на мое разочарование". Было уже поздно, и гости постепенно стали расходиться. "Ну, вы тонкий дипломат, – сказал мне Розанов, – вы хотите сказать, что не принимаете моих аргументов, что я сам не верю тому, о чем пишу. Если уж вы такой дипломат, то дайте мне совет. Перейдем в кабинет, я вам покажу кое-что, вы скажете свое мнение. Как посоветуете, так и сделаю. Согласны?"

Надо сказать, что я не остался бы и не пошел с Розановым, если бы не выражение лиц Кати и ее двух сестер, какое-то грустное, подавленное, им было как будто стыдно за отца, как если бы он сделал нечто неприличное. Мы пошли в его кабинет – соседнюю комнату. В кабинете, в кресле полулежала женщина, укутанная в теплый шерстяной плед. Мне показалось, что она парализована. Розанов представил меня ей. Когда мы приближались, Розанов шепнул мне: "Вы знаете, мой друг очень болен, не надо ЕГО волновать. (Розанов говорил – "его".) Будем продолжать беседу вполголоса". Во всем тоне и поведении Розанова было столько ко мне расположения и доверия, неожиданного в этой обстановке, что у меня возникло двойственное чувство к нему. Вместо того, чтобы обличать черносотенца, который клевещет на еврейский народ, восстанавливает русское население, и главным образом духовное сословие, против евреев, я как бы вошел в семью Василия Васильевича, как-то сроднился

с ним в такой короткий срок. Это был один из тех случаев, который позволил мне понять своеобразие, большое, неискоренимое своеобразие русского характера. Мы уселись. Розанов указал мне место на диване и придвинул кресло ко мне. Из шкафчика он достал четыре листка почтовой бумаги и подал мне: "Вот прочитайте, пожалуйста, и скажите, что с этим делать?" Это было письмо, написанное недостаточно образованным человеком, хотя и без грамматических ошибок: "Василию Васильевичу Розанову – предупреждение. За ваши статьи в "Земщине" по поводу процесса Бейлиса вы будете соответственно наказаны. Еврейство вам этого никогда не простит. По старым своим заветам искоренит не только вас, но и все ваше семейство и все ваше потомство. Все это будет сделано согласно ритуалу. Сообщаем вам, что под зданием Большой Хоральной синагоги на Офицерской, в подвале, в затаенном углу стоит алтарь, на котором такие люди, как вы, враги евреев, приносятся в жертву во имя спасения великого еврейского народа и всего обращенного в еврейскую веру человечества. Бейлис будет осужден в Киеве, но мы не успокоимся, подадим кассацию; дело будет передано на новое рассмотрение, где обнаружится, что Бейлис ни в чем не повинен. Он будет оправдан. Вы же и все вам подобные будете уничтожены". Я прочитал и невольно улыбнулся. Мне было ясно, что это подделка. Но кто бы мог написать это письмо? Были ли это те, которые действительно хотели попугать Розанова, или, наоборот, те, которые пытались содействовать обвинению Бейлиса? Глупо было и то, что сообщался адрес, как бы специально затем, чтобы полиция занялась этим. Мне кажется, что главной целью этих людей было поиздеваться над Василием Васильевичем. Я удивился той серьезности и беспокойству, с которым Розанов обратился ко мне. Неужели этот умница из умниц может так легко попасться на такой простой крючок. "Прочли? Так вот, я и хочу с вами посоветоваться. Некторые говорят, что я непременно должен передать это письмо полиции, а другие не советуют, так как я могу выставить себя в смешном виде. Как вы думаете? И вообще серьезно ли это?" Я сидел и думал про себя, может быть, Василий Васильевич издевается надо мной, хочет посмотреть, принимаю ли я всерьез его озабоченность? Дочери его прислушивались к нашему разговору с каким-то беспокойством, а Друг, как Розанов называл женщину в кресле, спросила: "В чем дело?" Впо-

следствии я узнал, что это была та самая женщина, на которой Розанов не мог жениться, так как Суслова отказывалась дать ему развод. Беспокойство овладело и мною, и я подумал, а что если какие-нибудь изуверы действительно собирались повредить Розанову, побить одну из его дочерей, например, а потом предъявить это как месть евреев? ”Знаете, Василий Васильевич, полиция в таких вещах разбирается лучше нас с вами. Они прежде всего проверят адрес и, может быть, даже определят почерк. Кто бы ни писал это письмо, тут явно нет никакой хорошей цели, и я счел бы правильным передать это дело в полицию”. – ”Видишь, Катя, наш гость тоже считает правильным обратиться в полицию.” – ”Папа, так ведь он же из вежливости это говорит,” – заметила Катя. Мне это замечание очень понравилось. Василий же Васильевич сказал: ”Может быть, вы и правы. Но я еще подумаю. Во всяком случае, спасибо. Я бы хотел вам еще кое-что рассказать о евреях”.

И он стал рассказывать о том, что евреи задумали исключить его из русского общества. Какие евреи? Те, что группируются вокруг Струве. Я был молодым человеком, жившим долгое время в атмосфере культурного университетского города в Германии – Гейдельберга; конечно, я не вращался в кругах, собиравшихся вокруг Струве. Для меня это был совсем другой мир, мир нереальный, и мне стало жутко. Не успел я прийти в себя, как услышал очень громкий голос человека, которого я до сих пор не замечал, вероятно, он пришел уже после обеда. Он незаметно прошел в кабинет Розанова и стал у окна противоположной стены. Глаза его были расширены, он как будто косил: ”Что ж вы, все об одном и том же говорите?” – ”Тише, тише, – старался успокоить этого человека Розанов, указывая глазами на Друга. – Вы не знаете его? Он почти сумасшедший. Не слышали? Анатолий Бурнакин. Вот познакомьтесь”. Бурнакин же не унимался: ”Что это? Он хочет поразить нас своим благородством? А мы, что же мы – не люди? Приходят тут к нам со своим благородством”. Он, очевидно, уже давно слушал наш разговор и был чем-то очень возмущен. – ”Ты потише, Толя. Не забывай...” И Розанов снова указал на больную. А одна из дочерей его упрекнула: ”Не говорите так, – это наш гость!” – ”Ах, мне все равно, ведь вот Грузенберг (один из защитников Бейлиса, известный адвокат), ведь вот взял же он 10000 рублей за защиту Бейлиса! Еще представляют

себя благородными!" – "А-а, Толя, ты против Грузенберга? А я разве не взял двадцать тысяч рублей за свои статьи с "Земщины"?* Почему-то Бурнакин не нашел худшего порока в евреях, чем то, что еврейский адвокат Грузенберг брал большие гонорары. На это Василий Васильевич, нисколько не стесняясь, заметил, что он и сам за гонорары. Это произвело на меня впечатление некоего откровения и как-то, совершенно непроизвольно и неожиданно, восстановило в моих глазах престиж Розанова – "Кто из вас без греха, первый брось в нее камень". И Бурнакин, который был значительно моложе Розанова, вероятно, ему было не больше тридцати лет, а Розанову уже за пятьдесят, принужден был понизить голос. Мы продолжали беседу. Розанов, как ни в чем не бывало, стал снова расспрашивать меня о Гейдельберге, как там преподают философию и чему там можно научиться, с такими подробностями, что я подумал, не собирается ли Розанов отправить в немецкий университет одну из своих дочерей? Василий Васильевич не преминул отпустить несколько колкостей по адресу немцев, хотя тут же прибавил, что ведь недаром Пушкин писал о своем любимом поэте Ленском: "с душою прямо геттингенской"; что уже во времена Пушкина чувствовали и знали, что немецкое образование сродни чему-то поэтическому, возвышенному.

Однако, настал момент, когда нужно было собираться домой. Я поблагодарил за гостеприимство, полагая, что это мой первый и последний визит к Розановым, но Василий Васильевич заявил: "Ну нет, если вы думаете, что вот поговорили и прощайте, то ошибаетесь. Теперь вы должны нам показать, что мы для вас не поганые. Вы должны бывать у нас". Была ли это шутка или интерес ко мне, я не понимал и не знал. Мне не хотелось бы стать застольным гостем Розанова наряду с таким плохим, как мне тогда казалось, человеком, как автор "Контрабандистов", но я согласился. Тогда Василий Васильевич позвал Бурнакина: "Иди и проси прощения за свою грубость у

---

* "Земщина" не была, конечно, платформой для Розанова. Издательство ее называлось "Палата Михаила Архангела". Это был орган Черной сотни, и финансировался миллионершей по фамилии Полубояринова, которая была тесно связана с Владимиром Митрофановичем Пуришкевичем, депутатом Государственной Думы. Это была организованная группа, целью которой было, очевидно, "спасти Россию". Ею и был выдвинут лозунг "Бей жидов – спасай Россию".

нашего гостя". Мы были уже в передней. Туда же втащили Бурнакина, который протянул мне руку и сказал: "Простите". Мне было неприятно пожать ему руку, но я ответил: "Ну что вы, не беспокойтесь!" – "Так помните же, – повторил Розанов, – мы ждем вас снова, когда вам будет угодно. Мы можем беседовать и на другие темы". Я ушел. Посещение Розанова оказалось для меня "самообразовательным". Этот вечер показал и раскрыл мне многое. Я был еще слишком молод, я верил, что писатель с таким громким именем, как Розанов, должен обладать солидным философским образованием. Наша беседа с ним, однако, не обнаружила в нем больших познаний в развитии новейших идей. Василию Васильевичу просто следовало бы заняться философией. Было очевидно, что он отстал, а может быть, поддался очарованию своего собственного ума? Что касается Бурнакина, то он тогда только еще начинал писать, но я уже читал кое-что из его работ. Была в них какая-то острота, нечто очень искреннее, но уже отравленное злобой. Все, что в политике считалось относящимся к левым взглядам, вызывало в нем неприязнь и злобу. Один вид его: бледный, с косящими глазами, напоминал человека ненормального или находящегося под действием наркотиков.

На следующей неделе я был на Невском. Перед витриной "Вечернего времени", вечернего издания "Нового времени", толпились люди. Среди них я узнал депутата Государственной Думы Пуришкевича. Он был в шинели с меховым воротником и цилиндре. Некоторые депутаты Думы, как и члены парламента в Англии, носили цилиндры. Сенсационное объявление гласило, что Бейлис оправдан. А Пуришкевич очень громко заявил: "Бейлис оправдан, но ритуал – признан!" Где он вычитал это – неизвестно! Вскоре после этого я прочел в "Новом времени" статью Розанова "На их улице праздник". В статье говорилось, что евреи добились своего, что не следует преуменьшать их сил. Розанов рассказывал: в его квартире не умолкая звонит телефон; он подходит и слышит: "Это Розанов? Ну что вы теперь скажете?", а за спиной говорящего слышен шум и радостные крики. Издеваются!

Спустя некоторое время, совершенно случайно я встретился с дочерью Розанова на лекции Льва Иосифовича Петражицкого о равноправии женщин, которая проходила в зале Калашниковской биржи. Петражицкий, обрусевший поляк,

был членом Первой Государственной Думы, психологом и довольно значительным теоретиком философии права. Дочь Розанова подошла ко мне в перерыве и упрекнула в том, что я не бываю у них после того вечера: "Вы не хотите к нам приходить, вы нас презираете. Отец очень хотел бы, чтобы вы пришли, мы даже собирались послать вам приглашение, но отец побоялся, что вы могли бы это ложно истолковать. А вы бы истолковали это ложно?" – "Нет, не думаю. Я бы принял приглашение вашего отца как проявление вежливости. В прошлый раз я пришел к вам, чтобы выяснить кое-что, я не думал быть гостем вашей семьи". Встреча эта происходила весной трагического 1914-го года. Я хотел во что бы то ни стало успеть до войны, которая казалась мне абсолютно неизбежной, закончить свою диссертацию "О понятии реального" – "Der Begriff der Realität", о чем я уже заранее сговорился с профессором Эмилем Ласк. Поэтому заводить новые светские знакомства я не собирался. Все это в мягкой форме я объяснил дочери Розанова, как вдруг она сказала с беспокойством: "Смотрите, вот Бурнакин, который вас страшно ненавидит. Он до сих пор считает, что евреи употребляют кровь христианских детей на Пасху; что, конечно, Бейлис убил для этого Андрюшу Ющинского. Он не прекращает говорить, что вы нанесли обиду всему честному Петербургу тем, что пришли без всякого предупреждения так нахально обвинять нас во лжи. Ну как же не обидеться? Вот он вас и ненавидит. Он всегда приводит вас как пример еврейского нахальства. Нам бы хотелось, чтобы вы пришли к нам. Мы пригласили бы Бурнакина, если вы ничего не имеете против. Вы бы смогли с ним объясниться. Мы все, и папа тоже, объясняем Бурнакину, что вы просто невинный младенец и пришли к нам, чтобы услышать от "великого мыслителя Розанова" новую правду, как иронически говорит папа. Приходите к нам. Здесь не надо говорить с Бурнакиным".

После окончания процесса Бейлиса вышла статья Петра Бернгардовича Струве о Розанове под названием "Большой писатель с органическим пороком", в которой он говорил о двойственности Розанова и отказывался печатать его. Розанов, под псевдонимом Варварина, давал в либеральной московской газете Сытина "Русское слово" и в черносотенном "Новом времени" совершенно противоположные оценки одному и тому же событию. В то же самое время "христианским делом" Ме-

режковских было исключение Розанова из Религиозно-философского общества. Тон в этом обществе задавали, конечно, Мережковские: Дмитрий Сергеевич и Зинаида Гиппиус. Мережковский проповедовал новое христианство, о котором говорил, что это не только учение или теория, на христианстве основана вся русская культура. Он утверждал и верил, что Россия живет только одним христианством, которое должно быть не только церковным, смиренным, молитвенным, но и активным. Настоящее христианство – это действенная любовь; ему нужно действие. Я услышал эту формулу непосредственно от Мережковского на его лекции в Религиозно-философском обществе о религиозности Пушкина. По инициативе Мережковских состоялось собрание в большом зале Географического общества, главной целью которого было исключение Розанова из Религиозно-философского общества. Зал вмещал несколько сотен человек, и потому я не видел Розанова, но мне говорили, что он где-то в зале. По неопытности, наивности или простодушию я не мог тогда найти оправдания решению исключить Розанова. Это же комедия – какое же это христианское дело? Впоследствии я узнал, что и Блок тоже протестовал против исключения Розанова, как и многие другие.

Когда я вышел покурить в соседнюю небольшую комнату за залом, я увидел ту самую дочь Розанова, которая рассказывала о ненависти ко мне Бурнакина. Она, бедная, сидела в кресле и плакала. Мне и теперь еще так жалко, когда я вспоминаю ее, бедную, убитую горем, несчастную, с опущенной головой, с лентой в волосах и челкой, которая тогда входила в моду. В первую минуту я даже не узнал ее, так она не была похожа на себя. Заметив меня, она вздрогнула, как будто увидела привидение. Не помню точно, как я к ней обратился. Кажется, я сказал что-то вроде: "Не принимайте все это так близко к сердцу". Я знал, что все, что бы я ни сказал, звучало бы фальшиво. Сквозь слезы, срывающимся голосом она заговорила: "Когда я думаю, какими большими друзьями, совсем родными, были Дмитрий Сергеевич с папой, – и что теперь происходит, как он старается папу опозорить, мне становится так плохо. Ну да, конечно, папа многое делает неправильно, но почему именно он, Дмитрий Сергеевич? Почему не кто-нибудь другой?" Она, по-видимому, впервые столкнулась с хрупкостью человеческих отношений. Она страдала за отца, за то, что его выставили к

позорному столбу. Она тоже его осуждала за многое, но не отрекалась от него. Настоящая печаль и горечь! Я присел, стараясь ее успокоить. Что и как я говорил – не столь существенно. Я говорил, может быть, наивно, но искренно. Что-то о возможности взаимного понимания между людьми, даже если они находятся на различных полюсах, гимназическими, непосредственными и наивными словами стараясь внушить бедной девушке всепримиренчество. И она как-то овладела собой. Однако, раздался звонок, заседание возобновилось. В перерыве были подсчитаны голоса и оставалось только объявить результаты голосования. Как и ожидалось, огромное большинство высказалось за исключение Василия Васильевича Розанова из Религиозно-философского общества. Дочь Розанова, когда услышала звонок, снова заплакала, вся горечь опять всплыла. "Вот теперь папу окончательно опозорят". Она вдруг схватила мою руку и сказала: "Дайте мне слово, что вы еще к нам придете". "Честное слово, приду", – обещал я. Давать "честное слово" было для меня необычно, но мне хотелось сказать и сделать ей что-то приятное. – "Могу я папе это передать?" – "Конечно". Розанова исключили.

Надо сказать, что я был против исключения Розанова, хотя и не голосовал, так как не был полноправным членом Религиозно-философского общества. Я имел право присутствовать на собраниях без права голоса. В той ночной беседе с Александром Блоком я услышал от него самого, что он голосовал против исключения Розанова, так как был тогда склонен к очень отрицательному отношению к евреям. Я рассказал ему очень подробно о своей встрече с Розановым. Блок необычайно заинтересовался этим. Ему несомненно приятно было слышать, когда я сказал, что тоже был против исключения Розанова, сказал об этом его дочери и, кроме того, дал "честное слово", что приду к ним.

Я уехал к своим недописанным работам в Германию. Началась война, я оказался в германском гражданском плену. А когда я снова вернулся в Россию, все изменилось, а Розанова уже не было в живых. О том, что случилось с ним, пока я был в Германии, я узнал из разных источников, главным образом, от Ольги Дмитриевны Форш. Очень для меня лично важное дополнение к моему рассказу о Розанове я получил неожиданно для себя от самого Розанова, вернее из его статьи, которая попала

ко мне случайно. В двух словах: жили мы в то время в голоде и холоде, без отопления и освещения, без средств сообщения. Однажды, когда заседание нашего философского общества затянулось за полночь, Разумник Васильевич, живший в Царском, не имел другой возможности, как переночевать в городе, в квартире своего отца, старшего железнодорожного служащего, погибшего трагически на заготовке дров. Железнодорожные служащие имели право рубить дрова в окрестностях Петербурга, перевозить их в город в специальных открытых вагонах, а потом распределять их между собой. В одну из этих поездок Василий Иванович, отец Разумника, упал с платформы вагона, разбился и, будучи очень слабым и старым, не поправился и умер. Помимо дров в квартире отца было огромное количество и другого топлива для печурки-буржуйки: плотной бумаги, хорошо нагревавшей, – комплектов "Нового времени", которые Василий Иванович почему-то не выбрасывал, а складывал год за годом в огромные кипы, доходившие уже почти до потолка. Перед тем как их сжигать, Разумник разворачивал каждый номер и просматривал, нет ли там статей Розанова. И если находил, то старательно вырезал и собирал, потому что все, что писал Розанов, было интересно, своеобразно, оригинально, а иногда и мудро. Разумник знал в подробностях о моей встрече с Розановым и полагал, что между Розановым и человеком, который считает себя евреем, ничего общего быть не может. Ночуя этой ночью в квартире своего отца, Разумник по своему обыкновению развернул "Новое время", перед тем как его сжечь и вдруг наткнулся на статью Розанова обо мне.

Это был довольно большой фельетон, в половину страницы "Нового времени", озаглавленный "Тогда все лгали". (Я, может быть, не совсем точно помню его название.) Он был написан через несколько месяцев после окончания процесса, когда я уже был за границей. Василий Васильевич подводил итоги сенсационного процесса Бейлиса в Киеве. Он подчеркивал, что все одинаково лгали тогда: те, кто верил в ритуал и поддерживал обвинение, и те, которые отрицали вину Бейлиса, за исключением двух человек. Один из них, профессор Бартольд, очень известный специалист по исламу (переводы его работ сделаны на несколько языков, главным образом – на французский), искренно верил в ритуал и вину Бейлиса, без всяких побочных мотивов. Другой – молодой сотрудник "Русской мысли" –

А.З.Штейнберг, который так же искренне был убежден в том, что это – невозможно! Василий Васильевич в этой статье открыто признавался, что выступал в пользу обвинения Бейлиса из политических соображений, чтобы попытаться предотвратить еврейское засилье – "еврейское иго". Русские освободились от татарского ига, а теперь наступает еврейское иго. И чтобы остановить его, необходимо бороться с еврейством. Разумник Васильевич, прочитав статью, очень радовался тому, что покойный Розанов поддержал мой престиж, хотя и сам был уверен, что по природе своей я не способен ко лжи. Очевидно, Розанов как-то почувствовал, что я не глуп, но очень наивен. Сам Розанов был простодушным мудрецом, подстать классическому библейскому Иосифу Прекрасному, который как бы сочетал в себе голубиную кротость и змеиную мудрость. Недаром Василий Васильевич написал замечательное предисловие к первому, полному собранию сочинений Карла Маркса. Он понял, что Маркс – мыслитель, а не просто гуманист. А комментарии к "Великому инквизитору"?! Мало кому дано проникнуть в то, что понимал и чувствовал Василий Васильевич Розанов! Он понял мое простодушие и наивность, направившие меня к нему объясняться, а поняв, – признал, что я не лгу, не хитрю. А это такая редкость среди людей, с которыми он общался! Надо сказать, что и Александр Блок то же самое говорил мне о евреях, которые требовали от него, чтобы он опровергал обвинение в ритуальных убийствах, хотя сами они отрицали даже свое еврейство.

После исключения из Религиозно-философского общества Розанов, пользовавшийся дурной славой, поселился в Троице-Сергиевской лавре и начал писать свой "Апокалипсис", в котором было обращение к "великому еврейскому народу". Это обращение, скорее всего, было связано с его желанием посмертной славы – "малого бессмертия", желанием сохранить свое литературное наследие. Это было вполне дальновидным шагом, Розанов понимал, что и евреи могут поинтересоваться его посмертной славой. Вскоре после моего возвращения в Россию из Германии была сделана попытка издать произведения Розанова. Человек, который собирался это сделать и которого я мало знал, по словам Блока и Белого не внушал не только симпатии, но и даже доверия. Это был издатель Гржебин, который, как всякий хитрый предприниматель, решил включить в это собра-

ние лишь работы Розанова с левым уклоном, во избежание придирок к тому Розанову, за которым установилась репутация черносотенца. Гржебин привлек к этому делу Иванова-Разумника и меня. К сожалению, издание не осуществилось. И попытка, сколько я знаю, никогда не повторялась в Советской России.

В конце жизни Розанов очень нуждался и старался как мог обеспечить своих дочерей, которых он так любил. Василий Васильевич был страстным курильщиком. Попав в тяжелое положение, он, как рассказывал мне впоследствии Григорий Рочко, бродил по московским бульварам и подбирал окурки. Григорий Рочко служил в московском банке и был большим поклонником Василия Васильевича Розанова. Когда появилась, кажется в 13-ом году, "Песнь песней" с введением Розанова, Рочко написал ему восторженное письмо, но прибавил, что очень удивлен тем, что Розанов не заметил современности библейской поэзии. Розанов был потрясен критикой неизвестного автора: "Скажите мне, кто вы и чем вы занимаетесь? Вы же поэт, мой дорогой. Напишите и расскажите мне побольше о себе". А "дорогой поэт" ответил Розанову, что он всего-навсего служащий банка. Однако в известном смысле письмо Розанова определило судьбу Григория Рочко. Он стал делить свое время между работой в сфере финансов и литературой. Рочко стал сотрудником "Русских ведомостей" и писал рецензии на поэзию.

В середине двадцатых годов приехала в Берлин Ольга Дмитриевна Форш. Именно она передала мне подробности кончины Розанова в Троице-Сергиевской лавре. Василий Васильевич постепенно терял силы, вероятнее всего, от истощения. Если мои впечатления меня не обманывают, у Василия Васильевича было очень нежное сердце. Он очень любил и жалел своих дочерей. Дочери отвечали ему взаимностью, были чрезвычайно привязаны к нему и благодарны за то, что он отказывался от лишней крошки хлеба, чтобы не обделить их. Перед смертью он захотел причаститься. Пригласили, кажется, отца Флоренского – философа, который имел духовный сан. Все совершилось, как полагается по православным обрядам, но когда священник ушел и Розанов остался наедине со своей старшей дочерью, он вдруг неожиданно сказал: "Ты думаешь, это все? А я тебе скажу, что после смерти еще покажу вам всем язык!" Умер Розанов в небольшом домике, на втором этаже. По словам Ольги

Дмитриевны, дочь его, которая была очень обеспокоена словами отца после причастия и ожидала какой-нибудь антицерковной, антирелигиозной шутки от него, вошла в комнату покойника и приоткрыла лицо его, закрытое простыней. Она в ужасе увидела язык отца, он как будто показывал ей язык. Это произвело на нее такое потрясающее впечатление, что вскоре после похорон Василия Васильевича старшая дочь его покончила жизнь самоубийством. Повесилась.

Я старался узнать о Розанове и от других русских эмигрантов, приезжавших за границу, но никто уже больше ничего не знал о нем. Василий Васильевич Розанов – русский Ницше, как его теперь называют, – не умер для потомства. И хотя Розановым в России в настоящее время не занимаются, очень скоро нельзя будет обойти его имени в истории русской литературы и культуры первой четверти настоящего столетия. И, может быть, мы и увидим еще полное собрание сочинений Василия Васильевича Розанова с его многогранностью, причудливыми поворотами, с его изнанкой и всей той глубиной, которая является истинным библейским простодушием.

VII. ОСТРЫЙ ГЛАЗ ОЛЬГИ ФОРШ

С Ольгой Форш судьба свела меня под сводами нашей академии, нашей Вольной Философской ассоциации. Ольга Дмитриевна принадлежала к ней и не принадлежала. Она появлялась у нас, но не чувствовала себя вполне своей. Так мне представляется академия Платона с его полуучениками-полукритиками, которых можно было видеть под перистилем здания академии. Я встретился с ней в ее собственном окружении, пройдя через "Книжный шкаф".

Имя Ольги Форш появилось в литературе довольно поздно. Первые ее небольшие вещи появлялись в журналах, в частности в "Заветах" Иванова-Разумника, с 1912-го по 1914-ый год. Она печатала их под псевдонимом Терек, который носил оттенок романтического Кавказа и мужественности автора. А "Книжный шкаф", приведший меня к близкому знакомству с Ольгой Дмитриевной, был не кто иной, как маститый библиограф и историк русской литературы Семен Афанасьевич Венгеров. В молодости, в Париже, он был верным последователем Лаврова. Иванов-Разумник, друживший с ним и глубоко его

уважавший, как и некоторые другие, называл Венгерова "многоуважаемым книжным шкафом" – по Чехову. Относилось это к эрудиции Семена Афанасьевича. Он к тому времени накопил уже не метафорический, а реальный миллион библиографических карточек в своей знаменитой картотеке писателей. Как и многие коллекционеры, Семен Афанасьевич стремился достигнуть полноты. Ольга Дмитриевна Форш тоже попала в эту картотеку и оказалась в ней миллион первой по счету. Разумник Васильевич, редактор "Заветов", счел своим долгом, исполняя желание Венгерова, привести Ольгу Дмитриевну к нему для заполнения карточки – миллион первой. С той же целью Венгеров привел и меня в свой "книжный шкаф" и спросил, знаком ли я с Ольгой Форш. "Как же так? Если Разумник и ее и вас так хорошо знает, то вы должны с ней познакомиться". Очевидно, "многоуважаемый книжный шкаф" считал своим долгом оперировать живыми людьми так же, как библиографическими карточками своей картотеки. Он любил, чтобы авторы его "книжного шкафа" знали друг друга. Может быть, он даже и отмечал в своих карточках, кто с кем был знаком или дружен. С библиографической точки зрения это должно быть полезно, для меня же оказалось просто удачей, так как было первым толчком к знакомству и дружбе с Ольгой Дмитриевной. Вероятно, знакомство с ней произошло бы и без "Книжного шкафа", но что-то юмористическое было в этой первой встрече, что сблизило нас сразу. Встретившись со мной впервые, Ольга Дмитриевна спросила, дал ли мне Семен Афанасьевич еще какой-нибудь совет, кроме предложения познакомиться с ней. – "Да, креститься". Был ли крещеным Семен Афанасьевич, я не знаю, но он был еврейского происхождения. В записках бабушки Венгерова, которые пользовались заслуженной большой литературной известностью, описывается старинный еврейский быт, если не ошибаюсь, где-то на Волыни.

А Венгеров советовал мне креститься вот по какому поводу. Я рассказывал ему нечто, сильно его взволновавшее, а именно: говоря о последовательности моих занятий в Гейдельберге, я упомянул фамилию жителя Гейдельберга Левинэ, у которого я видел сохранившуюся коллекцию писем Тургенева к Полине Виардо. Целая коробка сложенных в хронологическом порядке писем. Каким образом? Дочь Полины Виардо была дружна с матерью Левинэ. Ей она оставила на попеченье

письма своей матери, которые Полина Виардо не сочла нужным включить в собрание ее переписки с Тургеневым. Когда я рассказал об этом Венгерову, он подскочил. Человек он был грузный, недаром его называли маститым академиком. Он подскочил: "Вы говорите, что это факт? И вы говорите об этом так спокойно?! Да вы знаете, о чем вы говорите? Это все равно, как если бы вы мне сказали, что знаете, где хранится ларчик с жемчугом, никому не принадлежащий! Это же драгоценнейшая вещь – письма, оригиналы писем Ивана Сергеевича Тургенева! Письма Тургенева к Полине Виардо! Да ведь за ними экспедицию надобно выслать! Вы знаете что-либо о месте нахождения их?" – "Знаю. Церингерштрассе, 2 в Гейдельберге. Это особняк. Там, наверное, эти письма и хранятся, потому что дочь мадам Левинэ, подруги дочери Виардо, еще была жива накануне войны". – "Слушайте, Аарон Захарович, вам необходимо поменять ваше имя и отчество и принять православие. Так как вы поклоняетесь вере ваших праотцев, вы не в состоянии правильно понимать историю русской литературы".

Когда я рассказал об этом эпизоде Ольге Дмитревне, она рассмеялась как гимназистка, хотя отличалась всегда сдержанностью, а в это время была не совсем здорова, и была почти на двадцать лет старше меня: "Вот как просто решаются религиозные сомнения библиографами – необходимо креститься, чтобы правильно понять литературную ценность писем Тургенева". – "Разрешите заметить, – ответил я Ольге Дмитриевне, – хоть я и не крестился и не знаю, какого вероисповедания Семен Афанасьевич, я хотел бы за него заступиться. Если бы он не был настроен так, как это проявилось в немножко смешном анекдоте с письмами, Семен Афанасьевич не собрал бы свой знаменитый миллион карточек. Для этого нужны какие-то особые свойства ума и характера". Потом, когда мы подружились с Ольгой Дмитриевной поближе, она сказала как-то: "Знаете, та история, которую вы мне рассказали по поводу "многоуважаемого книжного шкафа", сразу привязала меня к вам, потому что вы проявили такую широту понимания людей, перед которой я спасовала. Мне представилась только комическая сторона характера Семена Афанасьевича, а вы увидели в нем и практическую его струнку". В этом наблюдении Ольги Дмитриевны сказался весь ее характер, прежде всего быстрота ума, его гибкость. Я уже кое-что знал об Ольге Дмитриевне по ее ли-

тературным работам, когда мне стал известен ее псевдоним. Один из ее рассказов "Шелушея" произвел на меня особенно глубокое впечатление. Будучи большим поклонником "Мелкого беса" Сологуба, я увидел в "Шелушее" дальнейшее развитие Недотыкомки. Я проникся уважением к самой идее: на основании сологубовской Недотыкомки развить целую галерею образов, положить краеугольный камень для особого миниатюрного сада химер и подобных им образов из народного фольклора. Дружба с Ольгой Дмитриевной дала мне возможность глубже взглянуть на разные явления жизни России того времени, на людей, писателей, ведущих деятелей в литературном мире, включая Андрея Белого и Горького, понять и увидеть под каким-то новым углом зрения, мне непривычным. Зоркий или острый глаз Ольги Дмитриевны всегда поворачивал вещи так, что я мог их наблюдать с неожиданной стороны. К примеру, Разумник Васильевич, которого она очень ценила и с которым, живя по соседству в Царском, часто виделась, должен был бы почувствовать к ней неприязнь, так как Ольга Дмитриевна постоянно упрекала Разумника в том, что его слепое преклонение перед Белым заставляет его не замечать безответственности Бориса Николаевича. Разве можно сравнивать Белого с Толстым, как это делал Разумник? Разве "Петербург" Белого не есть – "пропетый гербарий"? Собрание высушенных растений, из которых автор как бы составляет поэму. Как если бы взять гербарий и пропеть все названия растений согласно ботаническим категориям. В этом отношении, мне кажется, она была не вполне справедлива, тем более, что произведения Андрея Белого в известном смысле были родоначальниками ее собственной "Шелушеи". "Но так беспрекословно, безусловно распластаться литературному критику перед Белым, – говорила Ольга Дмитриевна, – даже если это стоит того, я считаю недостойным человека. Только мужчины способны на это. Мы, женщины, так не можем".

Отец Ольги Дмитриевны, русский генерал, из известного семейства Комаровых, мать – армянского происхождения. Может быть, это обстоятельство делало Ольгу Дмитриевну необыкновенно гармоничным созданием, совершенно необычайно сочетавшим древневосточную мудрость с необыкновенной русской простотой. Фамилия ее была немецкой – Ольга Дмитриевна была вдовой прибалтийского немца, очевидно, очень

хорошего человека, которого она редко упоминала. Мне она казалась очень пожилой, хотя ей не было еще пятидесяти. Ольга Дмитриевна была на редкость хорошей матерью. У нее было двое детей, сын Дима и дочь Тамара. В один из очень мрачных месяцев двадцатого года, чтобы как-то обеспечить детей и себя теплом и самой скудной пищей, Ольга Дмитриевна переселилась из Царского в Петербург в Дом искусства на Мойке. Она старалась найти какой-нибудь заработок и с этой целью послала в Москву к Михаилу Осиповичу Гершензону[90] своего сына Диму с просьбой оказать ей содействие по издательским делам. Посмотрев на Диму, которому в то время было 15-16 лет, Михаил Осипович сказал: "Передайте маме, что я заметил ее трудное материальное положение. Я постараюсь для нее кое-что сделать. А как задаток возьмите, пожалуйста, из шкафа пару мало ношенных брюк. Я вижу, на ваших такие заплаты, что уж дальше ехать некуда. Мама, вероятно, смотрит и огорчается, а?" Дима вернулся домой с приветом, письмом, советами и в почти новых брюках. Одним из советов Гершензона было обратиться к Горькому. Советовал ли он ей самой обратиться к нему или сам хотел писать о ней Горькому, не знаю. Но самый факт отзывчивости Гершензона и то, что Дима приехал в брюках без заплат, так тронул ее, что она сказала о Михаиле Осиповиче: "Вот видите, я вам говорю, что есть мужчины, у которых почти женские сердца. Таков Гершензон".

Она критически относилась ко всем и ко всему, и для иллюстрации брала общих знакомых. Ольгу Дмитриевну недолюбливали за это. Говорили, что у нее не зоркий или острый глаз, а острый язык. Она не может иначе, как с иронией, сарказмом, насмешкой или даже ехидно говорить о людях. Ольга Дмитриевна знала, что ее недолюбливают, но объясняла это тем, что мужчины не любят ее за то, что она женщина. Нужно сказать, что Ольга Дмитриевна выглядела в то время ужасно: изголодавшаяся, поседевшая, чуть ниже среднего роста, она настолько высохла, что руки ее напоминали руки скелета. Но в ее восточных глазах всегда был огонь, острый, блестящий взгляд, который, как стрела, устремлялся на людей. А это многим было неприятно. Как я сказал, ей было уже под пятьдесят, но она надеялась, что твердо укрепится в литературе и будет достаточно зарабатывать, чтобы исполнить долг матери. Ольга Дмитриевна писала тогда роман. Но поскольку она была в оппозиции и об-

щалась с членами Вольной философской ассоциации, ей казалось, что напечатать его будет трудно, тем более, что она не скрывала своего критического отношения к современности. Поэтому Ольга Дмитриевна взялась писать исторический роман. Интересно, что между нею и Андреем Белым существовала какая-то неприязнь. Некоторое время Ольга Дмитриевна была членом Теософского общества в России, а всем было известно, что между теософами и антропософами существовала непримиримая вражда – все мосты были сожжены. Предполагалось даже, что теософы подсылают своих тайных сотрудников к антропософам, чтобы изнутри подорвать их деятельность, так же как в свое время Римская Курия подозревала иезуитов в том, что они создали свой орден, чтобы подорвать церковь. И что бы Ольга Дмитриевна ни говорила на наших собраниях или в более тесном кругу друзей, Борис Николаевич метал искры, хоть и не очень жгучие: ”Это все теософия, а она – теософка, а значит – враг!” Когда мы уже достаточно подружились с Ольгой Дмитриевной, я ее спросил: ”Вы действительно враждуете с антропософией по сей день?” – ”Слушайте, так это же смешно. Я ни с кем не враждую, я ищу истину. Я разочаровалась в истине, которую получила из уст Александра Трояновского”. Трояновский был в то время главой русских теософов, издававший свой журнал в Петербурге. Я был знаком с его семьей. Очевидно, Трояновский привлек Ольгу Дмитриевну к теософии. ”С тех пор я интересовалась не только теософией, но и антропософией, – говорила она, – будучи в Базеле, я поехала в Дорнах на лекцию доктора Штейнера. И что же я вижу? Стоит этот самый доктор Штейнер, а против него у противоположной стены – бюст из мрамора. Я обернулась. И что же? Это бюст самого Рудольфа Штейнера! Подумайте! Человек стоит и говорит о себе самом, о своем учении, развивает его, глядя на свое собственное изображение в мраморе. Это же значит все вверх дном поставить! Ведь ни один русский человек не сможет с этим примириться”. – ”А вы говорили об этом с Борисом Николаевичем?” – ”Что вы! Он же мужчина. Он и слушать об этом не захочет, у него предвзятое мнение”. Конечно, Борис Николаевич не мог бы с этим согласиться.

Итак, Ольга Дмитриевна решила писать исторический роман. Может быть, ей удалось бы даже ввести в него религиозные темы; она всегда искала смысл жизни в религии. Ольга

Дмитриевна решила сделать одним из главных героев романа художника Иванова, который больше двадцати лет работал в Риме над своей знаменитой картиной "Явление Христа народу". Александра Иванова его картина ни в какой стадии не удовлетворяла, но все-таки, в конце концов, была закончена. Другим героем должен был стать Николай Васильевич Гоголь, долгие годы живший в Риме и кончивший религиозной одержимостью. Ольга Дмитриевна, считавшая "Выбранные места из переписки с друзьями" книгой неискренней, видела в Гоголе человека, разочаровавшегося не в русском быте, не в русских людях, а понявшего, что нельзя быть просто религиозным в этом мире, необходимо быть либо пророком и одержимым, либо не жить совсем. Гоголь и кончил религиозным помешательством. В отличие от Гоголя, Александр Иванов, несмотря на тяжелую задачу создать совершенство в живописи на религиозную тему, оставался до конца просветленным. Гоголь и Иванов были современниками. Ольга Дмитриевна утверждала, что не нужно быть мудрецом, чтобы понять, что и в наше время, наши современники также разделяются на две категории людей, одержимых и просветленных. Мысль ее была направлена против людей, одержимых "партийными" идеями. Этот роман, при поддержке Горького, все-таки нашел своего издателя. Помнится, это был Ленгиз. Роман появился. Одновременно Ольга Форш стала писать другой исторический роман о декабристах, который она назвала "Одеты камнем". Эти два романа дали ей возможность выполнить назначение матери, улучшить быт своих детей, а кроме того, вывести ее самое на литературную дорогу, дать ей необходимые условия заниматься своим делом со спокойной совестью.

Я знаю, что при поддержке Горького и Иванова-Разумника в Петербурге и, отчасти, Гершензона в Москве Ольге Дмитриевне, как это ни странно, в 1927-ом году дали заграничный паспорт на целый год. Первой ее остановкой был Берлин, где мы и повидались с ней. Побеседовали об общих наших друзьях. Она очень нуждалась в отдыхе и собиралась к Горькому на Капри. Горький пригласил ее пожить с ними там. Ольга Дмитриевна к этому времени уже имела очень определенный взгляд на историю человечества, которая, по ее мнению, шла под знаком патриархата. Еще с юношеских лет она верила, что человечество стоит на гибельном пути из-за того, что в мире господ-

ствуют патриархи. Необходимо создать такое общество, где всесильной царицей будет – Мать. Это убеждение ее не было вычитано из книг, оно пришло к ней в очень ранние годы, как бы по наитию. Только мать содержит в себе настоящее, вполне бескорыстное, любовное отношение к своему ребенку. У мужчин этого нет, поэтому они должны искать априори суррогаты, включающие в себя успех в обществе, тщеславие, самолюбование, все те пороки, от которых женщина может быть свободна, но не может быть свободен ни один мужчина. "Поэтому смешно то, что наш милый Разумник Васильевич, хороший человек, так преклоняется перед Андреем Белым! Разумнику лестно преклоняться перед Белым, которого он придумал называть вторым Толстым! Он ищет опору вне себя для своего собственного, крепкого самосознания, и поэтому не желает говорить всей правды", – говорила Ольга Дмитриевна. Я спросил, не есть ли матриархат ее причина того, что она держалась и держится как бы в стороне, на отлете, и никого не признает? Не могу рассказать всего, что я услышал тогда от нее. Ольга Дмитриевна дала мне понять, что при стремлении к правде в этом царстве гнета, даже в своей собственной близкой среде, остается столько неискренности и столько лжи! Она приводила многочисленные этому примеры.

Ольга Дмитриевна рассказала мне подробности жизни в Доме искусств, где она встречалась со многими видными писателями. Они говорили, что если большевистская Россия есть ад, то Дом искусств – ад в аду. Столько взаимного подсиживания, столько тщеславия, столько честолюбия, готовности предать людей, чтобы самому заслужить чин или орден, было там, что человеческому уму невозможно даже представить. "Я приходила в Дом искусств с детьми, чтобы пользоваться теплом, там еще топили дровами, чтобы иметь горячий чай... Не раз я думала, если даже ничего не выйдет с моими литературными писаниями, я все-таки не останусь в Доме искусств. (Дом искусств находился под покровительством Горького.) Видите ли, теперь я еду к Горькому, чтобы постараться доказать, что он должен измениться к лучшему. Тогда ведь, может быть, и вся русская литература будет спасена. Горький должен избавиться от своего тщеславия. Я ему это прямо выскажу, он это поймет. Он же необыкновенно честолюбив. Подумайте только, что он делает? Он хочет прибрать к рукам все, и прежде все-

го литературу; как Ленин правил Россией, так Горький старается править литературой. Он должен присутствовать при всяком новом начинании, и от него дожно зависеть, будет или не будет это начинание существовать. Группу молодых писателей, называющих себя "Серапионовы братья", он взял под свое крыло, они, можно сказать, перебежали к Горькому. Формалисты тоже под его покровительством, хотя они должны были бы быть ему чужды. Если, конечно, посмотреть на это со стороны, Горький как бы проявляет необыкновенную широту и терпимость, на самом же деле за этим кроется не что иное, как стремление к самоутверждению. А это значит, что в душе его пустота". Надо сказать, что я ничего не рассказывал Ольге Дмитриевне об эпизоде, когда Горький отказался помочь спасти безрукого человека.

Ольга Дмитриевна была в Берлине только два-три дня. Она много говорила. Очевидно, у нее возникла потребность выговориться: "Вы простодушны, вы многого не понимаете. Вы думаете, что Разумник Васильевич любит литературу, поклоняется Белому, открыл Замятина, выступает за Шестова – и это все? Все это верно, но Разумник Васильевич, как и все другие, пытается навязать свое мнение другим, он не признает Горького, только потому, что Горький не признал его. А Горький признавал Блока и в то же время завидовал ему; да, да, завидовал наружности Блока!" – "Да откуда же вы знаете?" – "Подождите, я еще когда-нибудь документально это докажу". Я невольно вспомнил, как Блок говорил при мне, что у него роман с Горьким, и вдруг, Горький завидует наружности Блока! По отношению к Ремизову я бы еще допустил это. Но Горький, чтобы Горький завидовал?! "Я все, все это выскажу Горькому!" "Скажите, дорогая Ольга Дмитриевна, почему в Петербурге вы никогда ни одной лекции не прочли в нашей Философской ассоциации?" – спросил я ее. "А, это мужское дело. Я не оратор и, как помпадур у Салтыкова, могу сказать, что наша возьмет! Вы простите меня, но вы довольно женственный человек. Вы не обижайтесь – это большой комплимент!" – "Вы просто боялись, Ольга Дмитриевна, что если станете лицом к публике, то сорветесь и станете говорить вещи, в которых потом придется раскаиваться? Не так ли?" – "Может быть, если хотите – так". Я спросил Ольгу Дмитриевну, собирается ли она вернуться домой: "Я думаю, вы вернетесь по собственной во-

ле, особенно после месяца, проведенного вместе с Горьким?" Ольга Дмитриевна внимательно посмотрела на меня, и глаза ее заискрились. Ольга Дмитриевна любила откровенность. У нее несомненно был острый глаз, но у нее был не острый, а правдивый язык.

"Ольга Дмитриевна, – напомнил я ей, – вскоре после того, как мы познакомились с вами в Петербурге, кажется, было это в Доме искусств, вы предложили вести класс преподавания и обучения писательскому ремеслу. Я никогда не присутствовал на ваших уроках. Но вы рассказывали, и мне было интересно, как вы это делали. Ставился на стол самый обыкновенный предмет, например, стакан или коробка. Все ваши ученики, желающие стать писателями, должны были описать предмет. Очень редко кому это удавалось. Ну что скажешь о коробке? Коробка определенного цвета, размера, формы. Более зоркие упоминали тень, отбрасываемую предметом, цвет скатерти, на которой стоял предмет. Но были такие, которые ухитрялись в своем воображении как-то так повернуть предмет, что получалось нечто подобное кубистическому описанию: если предмет поставить на его узкую сторону так, чтобы тень падала бы направо и растянулась на очень длинное расстояние, отчего не только стол, на котором стоит предмет, но и противоположная стена изменили бы свой характер... Таких было очень немного, и это были будущие писатели". – "А вы помните, – перебила меня Ольга Дмитриевна, – у нас был человек, который стоял как бы на окраине нашего содружества? Алексей Александрович Чебышев-Дмитриев, помните? Да, вы все помните, с вами легко говорить. Так вот, этот Чебышев говорил вам при мне, что ему хотелось бы посмотреть, как блистали бы ваши глаза, если б вас сжигали на костре. Вы восприняли это, со свойственным вам спокойствием, как метафору. Алексей Александрович Чебышев-Дмитриев, с отстреленными тремя пальцами (он был охотником, по профессии – учитель математики средней школы), все добивался прочесть доклад на открытом собрании на тему "Россия и евреи". А что он хотел сказать? Он хотел сказать, что в мире есть только два великих народа: русский и еврейский. А почему? Потому что и русских и евреев угнетают. Русские, пережив татарское иго и крепостное право, не протестуют против угнетателей. Власть им не нужна, они презирают соблазны мира сего. А вот евреи наоборот! Ев-

реи не презирают соблазнов, случая не было. Теперь они захватили власть в России и угнетают русских. Чебышев пришел с этим к Разумнику, который сказал, что это интересно. Я была при этом. Это было в Царском. Чебышев был тоже "царскосел". Я посмотрела на Разумника и сказала, не думает ли он, что это нечто близкое тому, что черносотенцы теперь говорят втихомолку? Он ответил, что если это искреннее убеждение Алексея Александровича, он не должен этого скрывать, и мы не должны скрывать. А ведь у него не достало храбрости спросить вашего мнения, как бы вы отнеслись к этому? Он наперед сказал, что вы согласитесь! Отлично понимая, что Чебышев-Дмитриев – юдофоб, Разумник Васильевич считал возможным дать ему свободно высказаться. Вы понимаете, может быть, и Разумник Васильевич – юдофоб. Это кажется дико! Но если принять во внимание его полуармянское происхождение, то я его отлично понимаю. Ему необходимо было утвердить себя как русского, поэтому он ни в коем случае не желал, чтобы инородцы завладели русской литературой. И он терпел и прощал самые дурные националистические замашки, например, против евреев. Вы не думайте, что я хочу поссорить вас с Разумником!"

На это я ответил Ольге Дмитриевне, что, как ее способные ученики, которые описывали предмет на столе, я понимаю, что люди и, в частности, Алексей Александрович Чебышев чрезвычайно разносторонни. Например, кончая доклад или выступление, Алексей Александрович никогда не забывал сказать, что посвящает свое выступление памяти покойной жены, Марии Яковлевны. Этого никто не делал, кроме него. А вот что сам Чебышев рассказывал мне: "Вы знаете, что люди думают всегда, что евреи самый хитрый народ. А на самом деле – это самый простодушный народ в мире". И он рассказал мне историю, как еврейский характер может представиться человеку с проницательным умом. Алексей Александрович был преподавателем математики не только мужской, но и женской гимназии в Царском. Была у него в третьем или четвертом классе ученица, еврейка, которой в конце учебного года пришлось поставить двойку по математике, что означало необходимость переэкзаменовки. Ее отец, которого он не знал, подстерег Чебышева, когда он прогуливался в большом царскосельском парке, вышел ему навстречу, поклонился и сказал: "Простите,

можно вас задержать на одну минутку? Я отец вашей ученицы, которой предстоит переэкзаменовка, по профессии – военный портной. Дочь у меня одна и очень слаба здоровьем. Если она отстала, то это только потому, что была больна, но она по ночам занималась, стараясь догнать класс. Сделайте милость, поставьте ей тройку, тогда не нужна будет переэкзаменовка. Она успокоится, и даю вам честное слово, что она догонит класс". – "Хорошо, это вполне резонно, я переправлю ей двойку на тройку". "Подумайте только, – заключил Алексей Александрович, – какое нужно иметь простодушие для такого поступка! Обращается к преподавателю, рассчитывая на его понимание и доброе сердце! Вот это что!"

"Дорогая Ольга Дмитриевна, а вы не думаете, что вернетесь в церковь?" – спросил я ее. – "Нет, в церковь я не могу вернуться, потому что в ней есть противоречие, связанное с верой в чудотворное преображение Матери, не совпадающее с фактами. Я думаю, что мы с вами одной веры. Вы тоже так думаете. Одно вам скажу. Когда я буду у Алексея Максимовича, я прямо выскажу ему, что не верю в его симпатии к большевизму, которыми он хочет заполнить пустоту, какой-то "пустырь" в своей душе. У меня в романе о декабристах "Одеты камнем" один из героев так говорит: у него душа – пустырь. Я даже думаю, что у всех людей в наше время в душе – пустырь. Но не у всех женщин, потому что женщина – мать! Мать этого не ощущает. Если бы женщины имели возможность проявить себя вполне, они бы смогли спасти род человеческий". – "Вы слишком далеко заходите. И вы надеетесь, что сумеете продолжать борьбу за матриархат в Советской России?" – "Да, я хочу попробовать". – "Ну и чудесно. Если вы ничего не имеете против, скажу вам: да благословит вас Господь!"

Кроме Чебышева-Дмитриева, Ольга Дмитриевна рассказала о разных других находящихся "на окраине", например, о докторе Шапиро. У него была странная идея, что Бога пока еще нет, есть покуда только дьявол. Бог есть эволюционирующий дьявол. Все в природе совершается чрезвычайно медленно, поэтому дьявол в постепенном своем развитии доберется до Бога. Встретившись с Шапиро как-то, Ольга Дмитриевна долго спорила с ним. В конце концов сговорились на том, что если Бога еще нет, то он все-таки будет для Шапиро в какой-то точке своего развития. Ведь различие-то только в терминологии. Кон-

чилось тем, что они крепко пожали друг другу руки в честь будущего Бога. Я спросил Ольгу Дмитриевну, относится ли она к большевистской России так же, как Шапиро к дьяволу, развивающемуся в Бога? Верит ли в будущую свободу творчества, будущий расцвет культуры, в будущее восстановленное первородство? "Я остановилась в Берлине, чтобы подвести итоги нашим общим впечатлениям того времени. Я должна определить, что общего может быть у меня с Алексеем Максимовичем. Но я прошу вас, сохраните покуда все это в тайне. Я бы хотела короновать Алексея Максимовича на литературное царство и объяснить ему, что сделать это может только женщина-мать, которая относится к будущему, как если бы оно уже было у нее в руках. Если Горький понимает, что он является только орудием других, если он не стремится к власти и не одержим дьявольским честолюбием, а будет действовать во имя будущего, во имя свободы, тогда я готова благословить его". Таков был план Ольги Дмитриевны. Она понимала, что Алексей Максимович Горький играет роль собирателя российской культуры. Этого не понимали ни Блок, ни Белый, ни Разумник Васильевич. Ольга Дмитревна считала эту мысль своим открытием. Я спросил ее, как она полагает убедить Горького в пользу идеи матриархата? "Да без этого и приступиться невозможно. Надо иметь какие-то права, чтобы обличать Алексея Максимовича или его поучать. Вот эти-то права я и беру на себя – права матери. Я еду на Капри, чтобы сказать Горькому, что хоть я и моложе его, но приехала к нему как родная мать".

Она уехала в Париж, мы расстались. Ольга Дмитриевна, как это можно и должно было предвидеть, разочаровалась в русских эмигрантах и русской эмиграции. Конечно, Мережковских она никогда не любила, никогда не была очарована. Многое ее раздражало, возмущало бессердечие эмигрантов, даже таких, как Ремизов и его жена. Нечто очень странное и загадочное рассказала мне Ольга Дмитриевна о Живой Церкви, которая пыталась найти компромисс между большевистской диктатурой и традиционной православной церковью. Приверженцев этой церкви в простонародье называли "живцами". Ольга Дмитревна интересовалась этой церковью, ходила на их собрания в Петербурге, стараясь найти в них что-то новое духовное, но очень скоро разочаровалась, отвергла их, не веря в искренность Живой Церкви и считая их приспособленцами.

С тех пор я ничего не имел непосредственно от самой Ольги Дмитриевны, кроме последнего привета, посланного мне лично через Замятина, когда она сочла нужным сообщить именно мне, что если я увижу ее подпись под чем-то зловещим – не верить! Это будет подделка! Почему мне? Да простит мне очень милая и дорогая мне Ольга Дмитриевна, если я назову ее платоновской Диотимой, пророчицей культуры и литературы большевистской России того времени! Ольга Дмитриевна почувствовала с моей стороны недоверие к тому, что ей удастся переубедить Алексея Максимовича Горького, хотя она ехала с такой самоуверенностью к нему, чтобы учить его. А не заразится ли она там у Горького склонностью к приспособленчеству? Вопрос ведь: кто – кого? Наш разговор с ней происходил в Берлине в 1927-ом году. В тридцатом году, через Замятина, Ольга Дмитриевна хотела дать мне понять, что до сих пор еще держится. Но, очевидно, все-таки не удержалась. Ольга Дмитриевна сумела пустить корни, что было бы возможно только с помощью и поддержкой очень влиятельных лиц большевистской России, скорее всего самого Алексея Максимовича Горького.

В начале шестидесятых годов в Советской России вышел том советского издания "Литературное наследство", в котором была напечатана "Переписка Горького с советскими писателями". Была помещена там и переписка Алексея Максимовича с Ольгой Форш, и ее фотография. Читая письма Горького к Ольге Дмитриевне, я понял, что Алексей Максимович был увлечен ею, называя ее большим писателем, большим чудесным человеком. Помнится мне тоже, что он говорил о Форш как о мыслительнице, основоположнице русского исторического романа. Одно из писем его подписано: "Ребенок Алексей Пешков" – видимо, след того, что Ольга Дмитриевна приезжала к нему на Капри "как мать". Горький делал большие усилия, чтобы обеспечить Ольгу Форш прочным положением в советской литературе. Она была для него как бы пробным камнем. Писательница в явно выраженной оппозиции к режиму, тесно связанная с кругами, не имеющими одобрения свыше, в дружбе с Ивановым-Разумником, последняя книга которого вышла еще при ее жизни и называлась "По тюрьмам и ссылкам", именно она, Ольга Форш, стала признанной большой советской писательницей. Когда ей минуло 85 лет, до меня дошло, что ее

официально торжественно чествовали, кажется, дали орден, включили в ряды писателей, распространяющих советское мышление.

Когда мы говорили с ней в Берлине, она, между прочим, заверила меня в виде предсказания: "Вы и я будем долго жить, по крайней мере больше восьмидесяти лет, так что у вас будет возможность узнать, что произойдет со мной, а у меня – с вами". Ольга Дмитриевна скончалась 88-ми лет от роду. А если она предсказывала, не столько мне, сколько себе, долгую жизнь, то в ней говорили новейшие иностранные течения в психологии, живое сознание, живая сила, подчинившие ее волю, приказавшие ей непременно выжить, непременно пережить. Она этого добилась. Она умерла естественной смертью, в почете и славе. Не знаю, что случилось с Горьким. Чем кончилось единоборство Ольги Дмитриевны с ним? Однако перед нами пример явного союза между ними. Судя по письмам Горького, в особенности после ее пребывания на Капри, Алексей Максимович влюбился в уже стареющую Ольгу Дмитриевну. Но они разъехались. Решаюсь прибавить, однако, что и хорошо сделали.

VIII. ЛЕВ ПЛАТОНОВИЧ КАРСАВИН

> Счастливо слепленные сосуды, даже когда они разбиты на мелкие осколки, отражают в каждом из них свою удачную форму.

После смерти Блока и в связи с эмиграцией из России Белого и других более или менее влиятельных членов, наше содружество можно было бы сравнить с осколками разбитого сосуда. Тем не менее, каждый из них сохранял в себе то, что Андрей Белый в Берлине называл чувством "совольфильства". Это его слово запечатлено в автографе одной из его книг, которые Белый подарил мне в Берлине в 1923-ем году. Слово это подстать неологизму Владимира Соловьева из стихотворения "Панмонголизм": "Хоть имя дико, но нам ласкает слух оно..."

Все мы, оказавшиеся за границей, почувствовали себя осколками Вольной Философской ассоциации. Попытки воссоздать ее не принесли удачи, но чувство "совольфильства" про-

должало жить в каждом из нас и служило как бы спаивающим началом с новыми людьми, которые в крестинах нашего питерского содружества не участвовали. Таковым был незабвенный Лев Платонович Карсавин.

Мне приходилось уже дважды упоминать о нем. В связи с его участием в чествовании Платона по традиции Флорентийской Академии 7-го ноября 1920 года и несколько раньше, по поводу наших литературных планов накануне решающего столкновения между войсками Красной армии и наседавшей на Петербург белой армией генерала Юденича. Это было в 1919-ом году. Один из крупнейших издателей дореволюционной эпохи был настолько уверен, что Юденич, или, другими словами, реставрация, захватит Петербург, в особенности после того, как армия Юденича вступила в Царское Село, что решил не терять времени и, будучи владельцем одной из лучших типографий в России – "Голике и Вильборг", подготавливать новую программу. Эта типография продолжала действовать все время (хотя и была национализирована, как и все другие частные предприятия такого рода) под надзором и фактическим управлением бывшего присяжного поверенного Наума Глазберга. Наум Глазберг твердо верил, что очень скоро можно будет пустить знаменитую типографию полным ходом, а заодно и другое его издательство. На предварительное совещание по этому поводу он пригласил Льва Платоновича Карсавина – как историка, знатока средних веков, признанного авторитета по патристике, особенно греческой; а также и меня, среди других новичков. Сидя за столом, где решался вопрос о судьбе издательства, предприимчивый издатель вдруг обратился к профессору Карсавину с историческим вопросом: "А что вы думаете, Лев Платонович, если наступление Юденича провалится, как долго продержится эта большевистская власть?" Лев Платонович посмотрел на него своими матовыми черными глазами. Его черные глаза – были особенной его прелестью, не блестящие, а матовые, агатовые. Они создавали огромную дистанцию между ним и его собеседниками. Таким вот взглядом Лев Платонович посмотрел на торопившегося и предприимчивого издателя и сказал: "Скажем, сравнительно не так долго – лет двадцать". – "Вы шутите, – развел руками издатель, – мне тогда не следует и начинать, ведь дело это рискованное, раз неизвестно кто – Юденич или Троцкий?" – "Совсем даже неизвестно", – ответил Кар-

савин. – "Тогда мне лучше всего перейти нелегально финскую границу". – "Пожалуй", – посоветовал Лев Платонович. Я много раз и впоследствии слышал, как Карсавин делал политические предсказания подобного рода. Слышал я и от других русских, отвергавших большевиков и не желавших, чтобы большевистское иго продолжалось так же долго, как и татарское, но прибавлявших тут же, что большевистское иго будет продолжаться долго. Тут сказывалось нечто исконно русское, какое-то врожденное знание будущего родины, данное людям таким, как Лев Платонович Карсавин.

В исторических летописях подробно записано о судьбе генерала Юденича. А вот что случилось с близоруким предпринимателем Глазбергом – мало кому известно. Он перешел финскую границу, добрался до гавани, к которой стремился – в тихий Лондон. На второй день после прибытия в Лондон Наум Глазберг погиб в автомобильной катастрофе. Переезд из отсталой и бедной автомобилями большевистской России в Лондон постфордовского периода оказался для него роковым. Я всегда чувствовал колоссальное различие в отношении к России и ее будущему таких людей, как наш предприниматель (может быть, и я сам) и настоящих русских по природе.

Встретившись в Берлине с Карсавиным, сохранившим память обо мне, особенно после того, как появилось в печати мое описание одного дня жизни Александра Блока в Чека, я удивился, насколько Лев Платонович был проникнут духом, родственным нашей Вольной Философской ассоциации, как бы духом "совольфильства". Выражалось это во многом: в его оценке людей, в его интересах к общим нашим проблемам, даже в его отношении к революции и, в частности, в изменении его отношения к иудейству. Лев Платонович выразил сожаление, что не сотрудничал с нами в Петербурге, но он был выслан из России, когда мы все еще были там. Мои друзья в Берлине, работавшие в Сенатском архиве, сторонились Карсавина; его мало знали. Я бы сказал, что на него бросало некоторую тень своим блеском имя знаменитой его сестры Тамары Карсавиной. Балерину Тамару Карсавину знали все, а вот Лев Платонович Карсавин, историк, профессор университета, специалист по средним векам – просто брат Карсавиной. И я рассказал Льву Платоновичу интересную историю:

"Вы себе не можете представить, Лев Платонович, как

имя вашей сестры уже несколько лет гремит на весь свет! В 1912-ом году в Гейдельберге мне пришлось приглашать известного гениального социолога Макса Вебера выступить на собрании, посвященном пятидесятилетию нашей Пироговской библиотеки в русской колонии. Макс Вебер развил целый ряд новых идей об отношении германской и русской культур. Надо сказать, что к тому времени Макс Вебер страдал агорафобией и почти не выходил из дому. Но в данном случае счел очень важным сделать исключение и произнести свою речь на нашем собрании. Он даже изучал русский язык, чтобы самому читать и понимать по первоисточникам, что происходит в России. Макс Вебер считал, что будущее западного мира и, в частности, Европы зависит от доброго взаимопонимания между Германией и Россией. "Wir sind auf einander angewiesen auf Leben und Tod". Я нарочно цитирую по-немецки, так как фраза эта запомнилась мне на всю жизнь. Россия и Германия не могут жить одна без другой, поучал Макс Вебер. Россия – это страна неограниченных возможностей. Размеры ее так велики, что ни одна европейская страна, ни вся Европа, вместе взятая, не в состоянии ее вместить. Толстой слишком велик для Европы, нет ни одной европейской страны, которая вместила бы Толстого. И так все русское. Это не только ее гигантские размеры, это все то, в чем русские проявляют себя. Они проявляют себя, как если бы принадлежали к совершенно другой исторической эпохе. Где вы найдете такую другую балерину, как Карсавина? Нигде нет такого другого певца, как Федор Шаляпин! Это же какие-то гиганты! Но если бы русские знали меру, как знаем мы, немцы, ее! Но если бы это понятие немецкой меры соединилось с русской безмерностью, наступила бы гармония, которая и спасла бы мир! Иначе будет дисгармония, от которой погибнет наша цивилизация, погибнет наш культурный мир. Вот видите, Лев Платонович, ваша сестра уже в 1912-ом году играла политическую роль!" "Любопытно, – пробормотал Лев Платонович, – но я думаю, что ваш Макс Вебер, кто бы он ни был, ничего не понимал в искусстве".

Лев Платонович был нелюбим из-за того, что резал "правду-матку". О немцах, например, Лев Платонович говорил, что они вообще еще не достигли цивилизации, не стали культурными: "Подумайте, куда не пойдешь, везде надписи – "Verboten", "Вход запрещен", "Направо", "Налево" и многочисленные дру-

гие. Они еще как дети, которые только-только научились читать и писать, и любят употреблять это свое знание, даже когда этого и не нужно. У нас в России – без всякой грамоты и понять, и запомнить, и вывод сделать можно". Не надо думать, что в Карсавине говорил "квасной патриотизм". Он не был националистом, и в этом отношении напоминал мне Василия Васильевича Розанова. У Льва Платоновича была какая-то спокойная уверенность в будущем России. Большевики там или не большевики, сколько бы лет это ни продолжалось, надо иметь терпение. Был он нелюбим не только потому, что говорил о людях вообще и о людях уважаемых в частности то, что думал, но и потому, что и о себе говорил не стесняясь. Точно так же, как Розанов, который ничуть не постеснялся сказать, что взял двадцать тысяч рублей с черносотенной газеты "Земщина" за свои статьи о киевском процессе Бейлиса, Лев Платонович во всеуслышание заявил: "Ну да, мы все грешные, конечно, и мы хорошо это знаем". Лев Платонович был незаурядным человеком. Определение его как человека можно было бы отнести к тому понятию человека, которое было еще живо во Флорентийской Академии в эпоху Возрождения. Стремление к знанию у человека естественное. Он не желает ограничивать себя знаниями своей специальности, но понимает, что не в состоянии постигнуть всего, и не гордится тем, что знает. Он уверен, что знания его малы, но достаточны, чтоб знать, как часто он грешит против того, что на древнерусском языке называлось "добротолюбием", и потому, конечно, считает себя грешным.

Мешало, между прочим, Льву Платоновичу и то, что стихии наперекор он разыгрывал при случае завзятого реакционера. В своих публичных речах Лев Платонович дерзко отзывался о власти в России, намекая на то, что она не русская, а еврейская, точнее "жидовская", как говорили черносотенцы. Предубеждение против него так постепенно сгущалось, что считалось нравственно предосудительным сближение с таким безоговорочным черносотенцем – "исчадием ада", как называли Льва Платоновича. Однако, по сути дела, он поступал совсем так же, как и мы, он действовал в изоляции. Ему казалось, что его отрицательное заявление против евреев – дерзость по отношению к власти. Примешивалось к этому некое желание оправдать самого себя в своих глазах за покорность, за отсутствие активной борьбы против существующей власти. Льву Платоновичу

хотелось проверить свои собственные взгляды и, в первую очередь, любовь свою к России и русскому языку. Свои чувства он скромно хранил про себя, но в нем были все добродетели, которые по русскому "добротолюбию" свойственны доброму христианину, человеку правой веры, православному. Для примера можно сказать о его отношении к сестре, которая в это время в Берлине была символом "Kraft und Schönheit". Эрик Поммер, стоявший во главе знаменитой фирмы УФА, пригласил Тамару Карсавину на главную роль в кинокартине "Kraft und Schönheit", и весь западный мир, не только Германия, увлекался этой картиной. "Сила и красота" стала ходячей фразой, а Тамара Платоновна воплощением ее. В то же самое время ее брат, сидя в Берлине, говорил: "Вы, может быть, думаете, что я соперничаю с сестрой? Скажите правду". – "Не думаю. Однако в современных учебниках по психопатологии можно найти объяснение тому, что у человека, имеющего знаменитого родственника, появляется желание завоевать и себе подобную славу". – "Запомните, – ответил мне на это Лев Платонович, – я считаю самым большим пороком на земле жить во имя честолюбия. Цель христианина может быть только одна – кончить жизнь в монастыре. Бог даст, мне это еще удастся! Если мы, русские, не докажем, что это высшее благо для человека, то навряд ли кто-либо сумеет это доказать. Я теперь занимаюсь тем, что пересматриваю основы православия. И представьте, что столпом утверждения православной истины оказался еврейский издатель Коган. Он, между прочим, взялся издавать мои "Начала". Мои товарищи, такие как Иван Ильин, талантливый автор замечательных книг о Гегеле, и Николай Александрович Бердяев утверждают, что я неверующий, потому что, как и Владимир Соловьев, недостаточно понимают, что такое христианство".

Лев Платонович не только не отвергал Владимира Соловьева, но одним из выражений, которое было в ходу в России и которое, кажется, пустила в ход наша добрая приятельница Ольга Дмитриевна Форш, было: "Карсавин это просто обезьяна Соловьева. Он даже гримируется под Соловьева". И действительно, уж так бросалось в глаза внешнее сходство Карсавина с Владимиром Соловьевым – та же шевелюра, манеры. В Карсавине было то же пристрастие, что и в Соловьеве, резко критиковать своих "сочеловеков" и, конечно, большая любовь

к отвлеченной мысли. Может быть, я и согрешу, если скажу, что Лев Платонович был более мудрым, чем Владимир Соловьев. У Льва Платоновича не было желания найти новую идею в богословии, которая стала бы еще при его жизни зрелым плодом. Образ мысли Льва Платоновича меньше, чем Владимира Соловьева, был вселенским. Основная мудрость Льва Платоновича заключалась в понимании того, что почва православия под его ногами была не тверда.

Тут он столкнулся с иудейством. Если православие, рассуждал Лев Платонович, сумеет по-настоящему отграничиться от своих иудейских корней, тогда оно будет стоять и цвести на своей собственной почве. В связи со всеми его сомнениями, в связи с беспокойством о будущем России, где продолжал царствовать зверь (марксизм для Льва Платоновича был, конечно, богомерзким учением), ему важно было встретить человека, который мог бы помочь ему утвердиться в его идее отграничения православия от иудейских корней не извне, а изнутри. "Я вам очень завидую, – сказал Лев Платонович, – это дурно, конечно, но я не скрываю этого. Подумайте только, вам так просто открыть Ветхий Завет и читать его в оригинале. Для вас – это книга для чтения. Правда, по-гречески я читаю свободно, но Евангелие для меня ближе в славянском своем облачении. Но вот читать в оригинале Ветхий Завет! Кто из нас это может? А ведь без этого никак нельзя понять православия. Я слишком стар, чтобы начинать с азбуки. Владимир Соловьев в очень зрелом возрасте начал учиться древнееврейскому языку и то же самое рекомендовал Льву Толстому. Я не могу себе этого рекомендовать, но мне нужен язык, мне нужен человек с языком. Вы – мой язык".

Мне это напоминало отношение Розанова к еврейству. У него было какое-то интуитивное проникновение в суть еврейства, ощущение присутствия в еврействе истории Востока далекого прошлого. У Розанова есть такой эскиз. Однажды в Петербурге в туманное утро Розанов вдруг увидел призрачную фигуру и подумал, что сам Агасфер мог бы быть воплощением этого призрака. Туман рассеивается, и он видит старого бедного еврея патриархального вида, с длинной седой бородой, стоящего на мосту через Фонтанку. Вот так он стоял, когда строились египетские пирамиды, и так он стоит по сегодняшний день в нашем Питере.

Льву Платоновичу нужен был "язык", но я не чувствовал себя готовым помочь ему в этом. Конечно, я хотел, хотел. И хотя мои знания языка и религии были достаточны, чтобы спорить с Розановым о ритуале, я не считал себя вполне подготовленным, чтобы возражать против общепринятых догм православия. Разговоры наши с Карсавиным сводились к тому, что Лев Платонович убеждал меня принять православие. "Ну нет, есть препятствия", – постоянно отвечал я ему. Наш диспут, бесконечно благожелательный, продолжался в течение нескольких лет. Мы очень полюбили друг друга, и оба знали и чувствовали это. Лев Платонович не мог убедить меня, что кроме Бога Отца есть еще две ипостаси божества, а я не мог доказать ему, что для меня есть единый Бог, Бог в духе элеатов (греческая школа). Лев Платонович был большим специалистом по греческой литературе, хотя и недостаточно знал Эсхила и Софокла. Он был, главным образом, специалистом по отцам церкви, досократовской философии и, уж конечно, философии Платона, Аристотеля и последующих мыслителей. "Дорогой Лев Платонович, – сказал я ему, – вам, может быть, будет понятнее, если я скажу, что в иудаизме живут идеи школы элеатов, как это отразилось в платоновском диалоге "Парменид". Бытие есть нечто, чего никак нельзя определить, каждое определение последней реальности уже вносит разложение в первозданную сущность". Я указал ему на такие, почти совпадающие по времени, хронологические параллели, когда это понимание выработалось, а именно, уже в 6–7 веках до нашей эры, т.е. приблизительно с появлением досократовской философии в Малой Азии. Мы спорили, мы совместно исследовали.

Однажды Лев Платонович объявил мне, что я мог бы быть, хотя все еще и не вполне православным, но одним из "жидовствующих" русских людей, живших на Волге. По его мнению, я был больше русским, чем кем-либо другим. "Это поэтам или критикам поэтов можно говорить, а не мудрецам и философам, как вы, Лев Платонович. Какой же я русский? Суть русского человека – православие. Как же я могу быть больше, чем я есть? Русский еврей – это я согласен. То, что Россия на меня оказала огромное влияние, – тоже согласен". – "В вас говорит высокомерие", – ответил мне на это Лев Платонович. Он повторил нечто такое, что я уже слышал однажды от такого, как будто совершенно не православного человека, как

Разумник Васильевич Иванов-Разумник. "Не будем углубляться в это, Лев Платонович, важно, что мы друг друга понимаем. И я вполне согласен с вами, что русские евреи отличаются от других евреев. Я знаю, например, определенно, что евреи на Западе совсем другие, очень отличаются от русских евреев. Я считаю, что лучшие свойства, которые следует ценить в русских евреях, заимствованы, переняты именно в русской среде. И какая, в конце концов, важность, больше ли русский еврей – русский, чем просто еврей?!"

В это время или немного позже Лев Платонович начал интересоваться евразийством, вернее евразийство стало интересоваться им. Его старый приятель, философ Леонид Габрилович приехал в Берлин из Франции, по-моему, чтобы завербовать его. Габрилович изложил ему суть евразийства, приверженцы которого сосредоточились в издательских кругах Парижа и собирали вокруг себя таких людей, как Марина Цветаева, Ремизов, одно время даже Шестов. И вот почему-то Лев Платонович решил, что если я не присоединюсь к православной церкви, то по крайней мере, может быть, примкну к евразийству. Я старался объяснить ему, что после нашей Вольфилы я не в состоянии уже ни к чему присоединяться, а буду стараться делать свое дело, как могу, не знаю какое, какое Бог пошлет. Этот ответ ему понравился. Он согласился, что лучше уж мне не участвовать в этом. Я ему сказал тогда, что мне совсем нет необходимости примыкать к евразийству, так как я в Европе – азиат, а в Азии – европеец. Прямо живой евразиец! А на Льва Платоновича тогда очень подействовали некоторые аргументы евразийцев, он даже хотел в связи с этим переселиться в Париж. Он считал Россию тем культурным материком, на почве которого должно развиваться евразийство.

Должен сказать, что когда вспоминаешь Льва Платоновича Карсавина, особенно поражают его необыкновенные глаза. Я бы сказал, что глаза его были не русские. По преданию, семья Карсавиных происходила от Палеологов, византийской императорской семьи, которая дала России великую княгиню – Софию Палеолог. Глаза его были для меня ключом ко всему его творчеству. Это были древнегреческие глаза. И в нем самом жил древнегреческий дух, проникший в Россию через Византию. Этот дух явно сохранился и жил в Льве Платоновиче Карсавине. Он был предназначен обновить и укрепить основы пра-

вославия. Во всех его книгах, в "Началах" и других, в рассуждениях о вечности, о симфоническом характере церкви вообще, об отцах церкви, о славянофилах, продолжавших византийскую линию, было стремление пересмотреть самые основы православия. И этот факт, при всей своей скромности, Лев Платонович сам признавал. Это была одна сторона его "добротолюбия". Другая – это то, что Лев Платонович был замечательный семьянин. Такой необыкновенной любви к своим трем дочерям, какая была у Льва Платоновича, я не встречал ни у кого, кроме, может быть, Розанова, имевшего тоже трех дочерей. Свою тревогу за Россию и православие Лев Платонович связывал с тревогой и заботой о своих дочерях Ирине, Марине и самой младшей Сусанночке, за которую он больше всего боялся и тревожился. Не было большего удовольствия для Льва Платоновича, чем повезти свою Сусанночку в воскресенье за город, в Шенберг на окраине Берлина, и угостить ее мороженым. Это было для него целое событие. По пути он охотно захаживал ко мне на Калькройтштрассе, без предварительного сообщения. "Не помешал? – спрашивал Лев Платонович. – Хотелось бы немножко душу отвести". Ему уж очень хотелось поделиться своей радостью, какая у него умненькая Сусанночка. Как она заколебалась, когда он предложил ей выбрать фисташковое или лимонное мороженое, а потом так умно решила: "Сначала фисташковое, а потом лимонное". А как она смотрела на него, когда он согласился: "Как будто я сказал, что сейчас небо раскроется для нее! Ах, как она смотрела на меня!" На него это оказывало такое большое неизгладимое впечатление, что Лев Платонович специально заходил ко мне, чтобы поделиться своею радостью.

Мы беседовали с Львом Платоновичем и сходились на том, что люди должны интересоваться друг другом, что все мы создания Господни, все мы под Провидением, все мы под Богом. И ничто так не трогало Льва Платоновича, как сердечная реакция и интерес к жизни. И, конечно, в наших бесконечных разговорах мы невольно дошли до личных тем. Я спросил его однажды: "Чем и как объяснить, что всю свою жизнь я дружу не с евреями, а главным образом с русскими? Мне приходит в голову, что известная поговорка – браки заключаются на небесах – простирается также и на дружбу. По-моему, дружба тоже заключается на небесах. И почему-то на небесах так устроено,

что моя дружба большей частью возникает не с евреями, а с русскими. Я не спрашиваю о себе. Я знаю, почему я дружу с русскими, но почему русские, суть которых, по-вашему определению, – православие, так склонны дружить со мной? Как я жалею, что в Петербурге вы не были ближе к нашему содру-первых, "добротолюбие" – простая человеческая, старомодная, дышащая древними поверьями мораль. Во-вторых, жи-было уже под пятьдесят, а мне и сорока еще не было, ответил мне на этот вопрос: "Очевидно, среди евреев в России распространено то самое качество, которое я так ценю в вас. Это, во-первых, – "добротолюбие" – простая человеческая, старомодная, дышащая древними поверьями, мораль. Во-вторых, – живой, бескорыстный, неограниченный интерес ко всему – чистый интерес к знанию и какая-то радость в узнавании и приобретении знания. Я думаю, что это русская черта, связанная с православием. Но я нахожу ее и в вас, и в других евреях, кто бы они ни были – марксисты или атеисты. Вы – для русских художников ли, поэтов – нечто знакомое, свое; а ваш интерес к ним – интерес бескорыстный, каким должен быть у русских людей интерес друг к другу. Когда вы мне рассказывали о Горьком, например, мне открылся совсем другой Горький, каким я его до этого не знал. Мы в Петербурге не знали, что есть такой Горький – возмущающий и однако же ласковый и непретенциозный, даже по-своему скромный. А о Блоке? Что я знал о Блоке, кроме того, что он декадент, а при моей невоздержанности на язык, я еще мог сказать – такой гнусный декадент: вдруг пустил Иисуса Христа впереди двенадцати красноармейцев! Возмутительно, отвратительно! А что я теперь знаю, после ваших рассказов? Это же необыкновенный человек, возможно, ненормальный, может быть, с ним трудно ужиться, он избалован, распущен, но это же громадная личность. Вы его восприняли так правильно не потому, что Блок был прославленным поэтом, а потому, что видели его в самой ужасной обстановке, когда человек боится за свою жизнь. То же самое и ваш Белый. Вы простите, что я не разделяю вашей веры в гениальность Белого..." Я не удержался и прервал Льва Платоновича: "Ведь это не только мое мнение. Не говоря об Иванове-Разумнике, который просто был влюблен в него, Блок, человек высокомерный и холодный, сказал о Белом, после его доклада у нас в Вольфиле, что Боря, как всегда, – гениален, но

очень странен. Хотя Белый был чужд Блоку, последний не мог не видеть гениальности Бориса Николаевича. Гениальность присуща Андрею Белому, как каждому человеку присущи его черты лица". – "Вот именно это вы мне и показали, – продолжал Лев Платонович, – и значит, в вас есть это русское проникновение в суть вещей". – "Ну уж и проникновение!" – "А помните, когда однажды я сказал как-то, что Бога надо взять за рога и посмотреть, что же означает это слово "Бог", один ваш хороший знакомый, человек прославленный, заметил, что у меня Бога от Дьявола не отличишь, у меня Бог – рогатый! Ведь это замечание просто глупо, не правда ли? Вы вот, Аарон Захарович, никогда бы не сказали такого. Вы не принадлежите к тем, кто цепляется за слова". – "А-а, Лев Платонович, – сказал я ему на это, – в данном случае вы подражаете Владимиру Соловьеву или даже Розанову. Это типичная черта, это же то, о чем Достоевский говорил, что вы можете, как тот парень, взять и расстрелять причастие". Лев Платонович посмотрел на меня своими матовыми, агатовыми глазами, в которых не было ничего искусственного, а было что-то простое, целомудренное, так много выражающее, и сказал: "После того, как мы с вами много беседовали, уже совсем не сомневаемся друг в друге, скажите, смогли ли бы вы принять мою идею симфонической церкви? Православие есть всеобъемлющее лоно для всех религий. Можете ли вы представить себе еврейскую религию в этом всеобъемлющем лоне православной церкви? Если можете, вам ничего не надо было бы изменять, но вы бы могли сказать, что принадлежите к вселенской религии, что вы член православной церкви".

Лев Платонович читал лекции в русском Научном институте, в котором его почти бойкотировали за то, что он говорил что Бог на душу положит, как например, "взять Бога за рога". "Бог-то не обижается, – говорил Лев Платонович, – а вот за него обижаются и заступаются!" Но несмотря на это, к нему очень часто приходила молодежь за советами, например, о переходе в православие. Как это ни странно, Лев Платонович сделал меня своим тайным советником по таким делам. Однажды к нему пришла молодая девушка из еврейской семьи, не соблюдавшей религиозных обрядов, хорошая, несомненно честная. Отец ее был видным адвокатом, общественным деятелем. Русская по воспитанию, бывшая студентка Бестужевских курсов, она при-

шла к заключению, что не может больше жить без Бога, а потому обратилась к Льву Платоновичу, который относился к таким делам очень внимательно и серьезно. ”Повремените еще, ведь вы до сих пор формально принадлежали к иудейской религии, подумайте еще”, – сказал Лев Платонович и дал ей месяц сроку до следующей беседы. Он пришел ко мне посоветоваться об этом. Я считал, что нужно было бы узнать поподробнее о жизни этой девушки. Что если она хочет принять православие только для того, чтобы выйти замуж? Никакого отношения к религии, одна корыстная цель. Я бы сказал, что в этом случае не следует менять веры. Кроме того, надо объяснить, как ее переход в православие отразится на окружающих ее родных. А вдруг старый отец или мать не перенесут того, что единственная их дочь оставляет их? Конечно, другое дело, если переход в православие для молодой девушки вопрос жизни и смерти. Лев Платонович, сворачивая папироски из табака, задумчиво сказал: ”А вот я и не подумал о родителях. Как хорошо, что я рассказал вам об этом. Вот видите, как это дурно, что я, человек русский и православный, не подумал об этом до разговора с вами. Значит, я отнесся к делу поверхностно, а это плохо. В подобных делах нельзя так. Как хорошо, что мы поговорили. Скажу вам даже больше. Вы думаете, что внимательное отношение к людям – ваша особенность, а, по-моему, это черта еврейского народа вообще”. И тут же в подтверждение своего обобщения рассказал:

”Мы живем на Грюневальдштрассе. Жена и я покупаем продукты в бакалейной лавке поблизости. Денег у нас не всегда достаточно. Лавочник наш – еврей. Он уже давно меня заметил и стал называть господином профессором. Когда я спросил его, откуда он узнал, что я профессор, лавочник наш только развел руками и сказал: ”Das sieht man doch” – это ж видно. Последний раз я попросил у него полфунта кускового сахара. ”А может быть – фунт?” – ”Нет, денег нет больше”. – ”Да и не нужно, я поверю вам в долг. У вас же три дочки, вам полфунта сахара не хватит”. Я взял – боялся его обидеть. И очень оценил его отношение к нам. Когда я принес сахар домой, оказалось, что в пакете – два фунта. И, конечно, в долг! Вы скажете, что это мелочь. А ведь за этой мелочью кроется человек! Этот лавочник оценил положение, он относится с уважением к науке, к профессорам вообще, он сочувствует русским эмигран-

там; обратил внимание на то, что я многодетный отец, нежно любящий своих трех дочерей, и нужно, чтобы всем хватило сахара. И вот он открыл мне кредит. Удивительная деликатность! Не делает мне пожертвований. Не дай Господь! Я невольно сравниваю его с товарищами своими по Научному институту. Они только соперничают со мной и не думают помогать, они даже стараются, чтобы ИМКА, финансирующая наш институт, не делала бы предпочтения мне. Конечно, я не говорю обо всех, но надо смотреть в глаза истине. Я бы не стал об этом говорить с другими, но вы ведь совсем иной, вы этим не воспользуетесь. Доложу я вам, нравы у нас в эмиграции не очень высокие. Мы все ругаем большевиков, а мы-то сами?! Вот за эту критику меня и не любят русские эмигранты. Говорят даже, что я отрекаюсь от настоящей России, никогда не стану настоящим эмигрантом, а стану сменовеховцем".

Между прочим, сменовеховцы и евразийцы были близки друг другу по духу. Некоторые из евразийцев вернулись в Россию, в том числе Марина Цветаева. Но у нее, конечно, были причины особые.

"Вот вы говорите, Лев Платонович, удивительная деликатность у простого еврейского лавочника. Так ведь и среди представителей других народов и наций такое может случиться". – "Нет, извините, не везде это есть, не во всех нациях. У евреев есть особая культура именно такого необыкновенно внимательного отношения к людям, – стал объяснять мне Лев Платонович, – конечно, Николай Чудотворец мог бы оказаться таким же добродетельным и принести вам пуд муки. Однако есть более глубокие влияния на еврейский народ, например, хасидская секта. Я о ней знаю мало, но, по-моему, это нечто вроде нашего старчества в православных монастырях, развитого особенно на юго-западе России. Вполне вероятно, что старчество возникло там и повлияло на еврейскую религию, а, может быть, наоборот?" Сам я никогда не исследовал этого вопроса, но на эту теорию Льва Платоновича, интересную для дальнейшего исследования, обратил внимание специалистов.

Было у нас много общего. Например, интерес к самонаблюдению. Лев Платонович умел необыкновенно тонко наблюдать самого себя, не как специалист, не как психолог, а просто, встречаясь с собою лицом к лицу. Он любил заходить ко мне по пути на лекцию, сидеть в моей комнате, где было уютно и удоб-

но, где внимание ничем не отвлекалось. Это было, кажется, в году двадцать шестом или, может быть, даже еще в двадцать пятом, он тогда вернулся в Германию, побывав во Франции. Если меня что-либо глубоко волновало и интересовало, я спрашивал мнение Льва Платоновича. Я был знаком со многими известными учеными, встречался с профессором Максом Вертхеймером, основателем гештальтпсихологии, бывшей тогда в моде, был дружен с Карлом Ясперсом еще в Гейдельберге. Все они глубоко знали свой предмет, но что-либо новое, еще не определившееся в науке, никогда их особенно не интересовало. А Лев Платонович был один из тех людей, которые обладали безграничным запасом самонаблюдений и знаний, еще не вошедших в учебники. Часто он спрашивал меня об интересных самонаблюдениях, есть ли они у меня? Я рассказал ему о своих наблюдениях над переходом состояния бодрствования ко сну. Обычно этого не замечаешь. Я же задался целью (так как сон для меня в известном смысле означает сновидение) уловить этот момент перехода от реальности к сновидению, момент угасания сознания и ощущения своего собственного тела. Например, ваша пятка упирается в матрас, и вдруг – это уже не матрас, а твердая мостовая, пятка уже не пятка, а весь я сам, шагающий по твердой мостовой. Мой спинной хребет уже не хребет, а высокий лес. А тело мое исчезло. Лев Платонович подтвердил возможность таких наблюдений, он испытал нечто подобное, но никому никогда об этом не рассказывал. "Ах, как это интересно. Вам надо читать Пруста. Если и у вас, и у меня такие одинаковые, похожие самонаблюдения, то это нечто очень важное. Медики и физиологи должны об этом знать". У Льва Платоновича были очень тонкие самонаблюдения, но наши научные знания – очень ограничены. "Вот если бы была свобода и нас бы поддержали, нам бы с вами следовало основать новую Вольную Философскую академию!"

И мы ее в каком-то смысле основали. Это и был тот осколок разбитого сосуда, распавшейся Вольфилы, о котором я говорил в самом начале этой главы. Создался небольшой кружок, где мы делились знаниями и мнениями, где обсуждались наши наблюдения. Конечно, мы не могли позволить себе, с ограниченными эмигрантскими средствами, нанять зал, как в Петербурге. Но организовать чай в какой-нибудь частной квартире всегда было нетрудно. Приходила большей частью моло-

дежь, среди которой было много интересных людей. Жаль, что из-за тесноты невозможно было расшириться. Впервые за границей я нашел в этом осколке какое-то новое пристанище для себя и своих философских размышлений. Осколок начинал принимать формы цельного сосуда. Здесь, впервые, проявились большие философские способности Александра Владимировича Кожевникова, который впоследствии в Париже стал одним из виднейших философов своего поколения. К сожалению, он рано скончался. Был он человеком колоссальной учености. Позднее в нашей "академии" появился мой двоюродный брат Донской, человек с громадной эрудицией, философ, учившийся в нескольких университетах и имевший несколько дипломов. Донской знал около двенадцати языков, включая литовский, древнегреческий и латынь, не говоря уж о древнееврейском. Его особенно полюбил Лев Платонович. У Донских было имение в старой Литве. Он так хорошо знал этот язык, что писал на нем в серьезном философском журнале об Аристотеле. Лев Платонович считал его хорошим и порядочным человеком, очень честным, но не русским, хоть он и был моим родственником. Итак, создалось нечто, что отдаленно напоминало мне общество, где можно было свободно обмениваться мыслями, где было стремление делиться друг с другом личным опытом и новыми знаниями.

В Берлине Лев Платонович чувствовал себя очень одиноким среди людей, которые, казалось бы, должны были быть близкими к нему по своему мировоззрению. Он вызывал недоверие к себе среди своих коллег и остался как бы отрезанным от них. Это обстоятельство и, главным образом, материальные затруднения принудили его перебраться в Париж. Встречи наши стали редкими. Но каждый раз, когда Лев Платонович наезжал в Берлин, он навещал меня и был у меня своим человеком. Характерной чертой Льва Платоновича была его заботливость о людях. Немецкое издательство вселенского движения в христианстве, издававшее журнал "Уна Санкта", попросило Льва Платоновича дать обзор литературы о Достоевском. Он написал статью, в которой, между прочим, утверждал, что очень характерно для мировоззрения Карсавина, что иностранцам не может быть доступен Достоевский, они не в состоянии понять его сущности, только русские могут понять и писать о нем. Чтобы понять Достоевского, кроме того, недостаточно быть только

литературным критиком, надо быть еще и философом. И потому лучшей книгой о Достоевском является книга русского философа – и он назвал мою работу "Система свободы Достоевского". Это его заявление повлекло за собой то, что мне предложили издать мою книгу на немецком языке. Эта книга состояла из собрания докладов, которые я прочел у нас в Вольфиле. В докладах моих было много неточностей, и мне самому следовало бы сделать этот перевод. Я считал, что Лев Платонович переоценивает мою работу, в конце концов, доклады были прочитаны в 21-ом году, а мы подходили к концу двадцатых годов. Я никогда бы не собрался сделать этого перевода, но Лев Платонович сам энергично взялся за дело. Я всецело обязан Карсавину тем, что моя книга о Достоевском на немецком языке вышла в швейцарском издательстве. Лев Платонович, несмотря на то, что было трудно найти переводчика, нашел его и непосредственно оказывал на него давление каждый раз, когда приезжал из Парижа в Берлин в течение почти двух с половиной лет. Он интересовался и занимался этим, прямо как своим собственным делом. Правда, Лев Платонович говорил, что делает это ради Достоевского, которого очень любил и, так же как и я, считал национальным философом России. "И куда им всем до Достоевского как мыслителя!" – говорил Лев Платонович. Моя книга вышла под названием "Die Idee der Freiheit (Ein Dostojewskij Buch)". Переводчиком ее был доктор Яков Савельевич Клайн, родом из России. Судьба его очень сложная. Он стал впоследствии профессором философии в одном из американских университетов. Был он также членом нашего маленького кружка.

В течение этого времени Лев Платонович увлекался евразийством, и я опасался (хотя он сам в один из своих приездов в Берлин говорил: "Нам уж верно никогда не суждено увидеть России"), что Карсавин вернется в Россию. Я бы его не благословил на это. Он тосковал, но совсем не так, как другие эмигранты, Замятин, Белый, Разумник, который не мог бы жить без своего архива. А уж Блока даже и невозможно представить эмигрантом! Я оставался в Германии и старался общаться с Львом Платоновичем как можно чаще. Но вот случилось так, что один из товарищей Льва Платоновича по университету в Петербурге, литовец по фамилии Вольдемарас, оказался президентом Литовской республики. Вольдемарас разыскал Кар-

савина и пригласил его на кафедру философии вновь основанного университета в Каунасе. Лев Платонович решился ехать. Нужда и забота о семье, трех дочерях, как бы поистине завещанных ему самим Господом Богом, заставили его принять это предложение. Ему было, правда, поставлено условием, что через три года, не позже, он должен будет читать свои лекции на литовском языке. Для своих дочерей и жены, конечно, Лев Платонович был готов сделать все что угодно. Он отшучивался цитатой из Салтыкова-Щедрина: "Прикажут, и акушером стану". "Так вот, прикажут, и литовским профессором стану, если Богу угодно", – сказал Лев Платонович на прощанье. Было это необыкновенным совпадением в его и моей судьбе. В Ковно, ставшем столицей Литовской республики, родилась моя покойная мать, у которой там была какая-то собственность – земля и пр. Мать в то время находилась в Москве и старалась выехать на свою родину. Переезд Карсавина в Литву ускорил дело. Мать добилась, за деньги, конечно, получения паспорта, чтобы выехать в Литву. Так как время от времени я посещал свою мать, приезжая в Каунас сначала из Берлина, а потом даже из Лондона, я имел возможность также поддерживать нашу старую дружбу со Львом Платоновичем.

Он очень хорошо там устроился. Прямо совершил чудо. Меньше чем через три года он так овладел литовским языком, что литовцы, приходившие слушать его лекции, говорили, что мало кто из настоящих литовцев знал и умел так красиво говорить по-литовски, как профессор Карсавин. Я навещал свою мать в Каунасе четыре или пять раз за это время и всегда встречался со Львом Платоновичем. Кроме того, когда он ездил в Париж, где оставалась его жена, Лев Платонович навещал меня по дороге, в Берлине. Так что почти до самой войны, до 39-го года, мы поддерживали тесную дружбу. Само собой разумеется, я получал все его работы, которые печатались не по-литовски, – я не знаю литовского языка. Лев Платонович очень полюбил литовский язык. От него я узнал, что этот язык является наиболее близким к санскриту, значительно ближе, чем другие индоевропейские языки. Не только сохранил он близость к санскриту в грамматике, но даже и в корнях слов. Литература Литвы не отличалась богатством, хотя я знал кое-кого из поэтов, начинающих поэтов. С самого начала Лев Платонович брал уроки у молодого ученого, сына литовской крестьянки. Когда

его учителя спрашивали, как перевести на литовский язык какое-нибудь трудное русское выражение, он отвечал, что спросит свою маму, как мама скажет, так и правильно. "Подумайте, какое счастливое положение в народе, когда мама-крестьянка есть академия наук. Даже завидно". В Каунасе Лев Платонович поселился у своих поклонников, которых у него было немало. Это был профессор Шелкарский, поляк, считавший себя литовцем. У Шелкарского был хороший, большой дом на пригорке, на так называемой Зеленой горе, неподалеку от музея литовского художника Чурлениса, а также имение недалеко от столицы. Дом был просторный. Шелкарский не был женат. В доме, кроме него, жил его брат, занимавший важное место в правительстве, может быть, даже в штате президента Вольдемараса. Шелкарские упросили Льва Платоновича поселиться у них. Часто я приезжал в этот дом и был там своим человеком.

Должен сказать, что к тридцатым годам в Льве Платоновиче обнаружилось с необыкновенной яркостью то, что я уже давно заметил в нем: способность к предчувствию предугадыванию чего-то еще не совершившегося, но совершающегося. Я хорошо запомнил его первое предсказание в Петербурге у неудачливого издателя Глазберга, когда Лев Платонович так спокойно заметил, что коммунистический режим продержится, по крайней мере, двадцать лет. Между прочим, позднее, в Берлине, от утверждал, что режим этот может продержаться столетие. Теперь же мы находились в исторической фазе, называемой кануном Второй мировой войны. Заразившись от Льва Платоновича, а может быть, и еще более чувствительный к веяниям времени, я ощущал приближение войны очень остро, и мы с ним на этом сходились. Лев Платонович не сомневался в неизбежности войны, войны еще более ужасной, чем Первая мировая война. В присутствии Шелкарских Лев Платонович скромно говорил, что думает так, как историк, но наедине со мной этого не добавлял, а на вопрос, когда же начнется война, отвечал: "Теперь уж скоро".

Хотя Лев Платонович, человек русский, православный, в Литве был чужим, Шелкарский не скрывал от него всех государственных тайн, которые он знал от брата. В один из моих приездов в Каунас я заметил: "Знаете, Лев Платонович, это же не государство – где заезжий гость из Лондона так легко узнает

о ваших государственных секретах. Государству необходимо оберегать свои тайны". – "Поймите, – отвечал мне на это Лев Платонович, – это же, конечно, не государство. По моему глубокому убеждению – это одно из маленьких исторических недоразумений. Литва, по существу, должна быть тесно связана с Россией, независимо от ее настоящего режима. Литовский язык должен обогатить русский элементом санскрита. И хотя литовцы католики, они отличаются от поляков-католиков, это другие католики. Неплохо было бы, если бы умеренное, близко понимающее более широкие задачи католичество нашло бы свое место в России". – "Говорите ли вы то же самое своим добрым приятелям-литовцам?" – "Нет, сохрани Бог. Они бы сочли меня чуть ли не каким-нибудь иностранным агентом".

И Лев Платонович объяснил мне, что Литва полна агентами. Три силы сталкиваются здесь в борьбе за влияние в Литве. С одной стороны – Польша, считающая Литву частью своего государства, с другой – немцы, собирающиеся присоединить Литву к своим восточно-прусским владениям. И наконец – Россия. А когда три силы сталкиваются – никогда нельзя предвидеть, чем дело кончится. "А меня литовцы не боятся. Они знают, что вредить им я никак не хочу. Это только вам я откровенно говорю о своем мнении. У нас с вами подход к вещам другой, незлободневный. А людям со злободневными интересами я ничего подобного не говорю". В разговоре со мною однажды Шелкарский как-то объяснил мне, что Лев Платонович принесет Литве бессмертие: "Он стал литовцем – это же так замечательно. Его лекции, его литовский язык, это же прямо драгоценности, принесенные на литовскую землю. Мало кто понимает это. Но мой брат и я – мы это знаем. У него только одна слабость, с которой мы стараемся бороться. Это пристрастие к евреям, а это нехорошо". – "Так ведь и я – еврей", сказал я Шелкарскому. "Да, конечно, я это знаю".

Я счел своим долгом рассказать Льву Платоновичу об этих словах его доброго друга и ученика Шелкарского. "О, мы постоянно спорим с ним на эту тему. Шелкарский, например, пытается доказать мне, что Спиноза, еврей по происхождению, не был оригинальным философом. Он заявляет, что значение Спинозы чрезвычайно раздуто. Он пишет даже книгу на эту тему. Когда же я спросил Шелкарского, зачем он тратит свое время на такую пустомелю, как Спиноза, у которого все работы

составлены из отрывков, набранных из чужих книг, он ответил, что считает совершенно необходимым развеять миф о его величии и значении как философа". Я спросил Льва Платоновича, прощает ли ему Шелкарский его доброжелательное отношение к евреям. "Да, прощает. Он все прощает мне, так как я открыл ему одну из самых важных моих тайн. Я собираюсь в конце жизни уйти в монастырь. Но прежде нужно еще бесов из себя вытравить. Теперь я пишу свою "Поэму о смерти" и хотел бы ее вам прочесть. Вот когда она будет закончена, я и уйду в монастырь. Благо, моя средняя дочь Марианна уже вышла замуж за Петра Петровича Сувчинского". Сувчинский был известным теоретиком-музыковедом на юге России, издавал журнал "Мелос". Он был значительно старше Марианны, которой не было еще и девятнадцати лет, и очень удачно устроился во Франции по своей специальности. Сувчинский уважал и любил Карсавина и говорил мне о нем в Берлине: "Люди не понимают, какой необыкновенный человек Лев Платонович Карсавин, его недооценивают. Преимущество его перед другими русскими философами, лет на 10-12 старше его, такими, как Бердяев или Булгаков, то, что Карсавин не прошел через стандартный путь этих русских мыслителей, путь, так или иначе связанный с политикой. Нельзя даже представить себе, чтобы Карсавин был одним из участников "Вех". Ведь он и понятия не имел, о чем идет там речь! Все их проблемы не существовали для него. Он – настоящий ученый, погруженный с головой в свою науку, философию, историю, патристику. Его не интересуют споры о русской революции, о 5-ом годе, о России, о русской интеллигенции. Карсавин сохранил в себе совершенно непорочную неприкосновенность по отношению к вопросам о России и ее интеллигенции. Для будущего России это чрезвычайно важно, так как я думаю, что Карсавин и есть тот мыслитель, который поможет принести в Россию идею объединения всего нашего поколения, находящегося в расколе, в разладе не столько даже с народом, сколько с самим собой. Лев Платонович – человек цельный!"

"Вот если вы наберетесь терпения, – сказал мне Лев Платонович однажды, – я прочитаю вам "Поэму о смерти". Она написана в прозе, но читать ее надобно подряд, без перерыва, а это может занять три-четыре часа. Тогда, в награду, я открою вам имя, которое я приму, когда постригусь в монахи. Я уже

открыл эту тайну Шелкарскому, за что он и прощает мне все". Конечно, это была шутка, но и означало, что Лев Платонович очень хотел, чтобы я выслушал его поэму. Мы просидели ночь напролет в доме Шелкарских. Лев Платонович прочел мне свою поэму. Передавать ее содержание так, мимоходом, нельзя. Хотелось бы только подчеркнуть, что его "Поэма о смерти" – есть духовное завещание Льва Платоновича Карсавина. Я очень внимательно слушал его чтение, когда в дверь постучал и вошел хозяин. Он предложил нам выпить чаю. "Нет, нет, теперь не мешайте". – "А-а, вы все то же самое читаете?" В словах Шелкарского, необыкновенного почитателя Карсавина, считавшего, что пребывание в Литве Льва Платоновича принесет ей заслуженную славу, чувствовалось, что шедевр Карсавина он не понимал и не принимал. "Я вам читаю совершенно не то, – заметил Лев Платонович, – что слышал Шелкарский. Иногда всю вещь напишу, а потом смотрю – не то". Лев Платонович не исправлял своих рукописей, у него не было черновиков, он начинал все сначала и заново писал. Писал он чистым, мелким, очень разборчивым почерком. Часто он говорил, что подобен контрабасу, что ему необходима предварительная, тщательная настройка, чтобы найти нужный для себя ключ, в котором он должен писать. Манеру его писать с такой скромностью я нигде не встречал в литературе, ни в мемуарной, ни в письмах. В поэме его были также намеки на его разлад в семейной жизни, разлад с матерью его трех дочерей, которая оставалась в Париже, где жила с его любимой Сусанночкой. Все было сказано так просто: была здесь и исповедь, и покаяние, и выражение глубочайшего религиозного смирения, и понимание границ человеческого познания, и, несмотря на это, вера в то, что эти границы предопределены не раз навсегда. В конце концов, все мы смертные, и каждого из нас ждет смерть. Я сидел и слушал – "имеющий уши да слышит".

Я ощутил в его "Поэме о смерти" прощание Льва Платоновича с жизнью, но ему этого не сказал. В конце он посмотрел на меня и сказал только: "Скажите по совести, вы думаете, что эту поэму следует напечатать?" Ни секунды не задумываясь, я ответил: "Непременно напечатать. Это должно остаться. Я глубоко уверен, что ваши идеи и мысли будут жить еще много поколений. Я в этом вполне уверен, как вы уверены в будущем православной вселенской церкви, будущем России и ее языка,

русского народа и даже русских евреев. Ваша поэма должна быть напечатана!" – "Ну, я верю, верю вам. Верю, потому что вы – еврей. Раньше я понятия не имел о евреях и готов был даже выступать против них. Но с тех пор, как я поселился в еврейском городе, посмотрел, как живут евреи, я понял поразительную черту в их характере, проникновение и понимание каждой отдельной личности. Помните, сколько мы с вами спорили? Я говорил, что если вы не понимаете и не признаете Троицы, то вам не может быть доступно понимание личности. Вы не знаете личности, а, следовательно, не знаете, что значит близость Бога. Вы отвечали мне цитатой из 145-го псалма, сначала подревнееврейски, а потом перевели: "Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его поистине". Этот 145-ый псалом все благочестивые евреи произносят три раза в сутки. Однако меня вы не убедили. И вот, только когда я приехал в Каунас, увидел старый еврейский город Ковно, почувствовал отношение евреев ко мне, совершенно чужому, я понял, что был неправ".

И Лев Платонович рассказал мне нечто, что у нас в семье считалось отрицательной чертой еврейского народа, – желание вмешиваться в чужие дела. Лев же Платонович воспринял эту особенность как необычайно глубокое понимание еврейским народом индивидуальной личности. "Каждый день я спускаюсь к православному собору и по пути покупаю продукты в лавочке. Уже во второй или третий раз лавочница, простая женщина, не очень чисто говорившая по-русски, спросила меня, не профессор ли я Карсавин. Она, оказывается, заинтересовалась моей наружностью и сразу же определила, что я похож на старого русского профессора, человека семейного, и тут же осведомилась, благополучно ли все у меня в семье. Когда я ответил, что семья в Париже, а я тут зарабатываю на жизнь, она сказала: "Скажите, профессор, а вы не скучаете? Я ведь сразу заметила, что вы скучаете". "Просто люди вмешиваются не в свои дела", – сказал я. – "Нет, что вы?! Она хотела мне помочь, по голосу чувствовалось. А когда она узнала, что у меня жена и три дочери, что они в Париже, у нее слезы на глазах показались. Она спросила меня, могу ли я навещать их в Париже, могут ли они приехать ко мне, что ей бы хотелось на них взглянуть, что, наверное, они такие же красивые, как я". И действительно, Лев Платонович был очень красив, но не такой красотой, как

Блок. Было в нем что-то совсем другое – греческое...

В это же время Лев Платонович решил посоветоваться со мной относительно своей старшей дочери: "Поскольку вы обо мне так много знаете, о моих дочерях и многое другое, я должен рассказать вам о своей старшей дочери Иришке. Она очень похожа на свою знаменитую тетю Тамару Карсавину. Ей как-то трудно найти мужа. За ней многие ухаживают, но ей никто не нравится". Было очевидно, что Ирине хотелось бы найти человека, который хоть отдаленно напоминал бы ей отца. Когда Ирине было двадцать лет, ее послали в Лондон к тете, которая жила тогда на Great Ormond St. Надеялись, что в Лондоне, у тети, Ирина скорее найдет мужа. И тут Лев Платонович открыл мне свою вторую тайну, не меньшую, чем первая – его монашеское имя, которое он, с Божьей помощью, примет в монастыре. Эту тайну он открыл мне, как и обещал, после того, как закончил чтение "Поэмы о смерти". Лев Платонович объяснил мне, что не хочет расставаться с буквой "Л". Лев и Лазарь чем-то близки друг другу. А его монашеское имя будет – Лавр. Вторая же тайна состояла в том, что Льву Платоновичу хотелось, чтобы его старшая дочь Ирина вышла замуж за еврея: "Ей было бы хорошо с мужем-евреем, я бы считал это большой удачей, имейте это в виду". Намеченным для Ирины мужем был тот самый Клайн, который перевел на немецкий язык мою книгу о Достоевском. Он был очень хороший, способный и знающий человек, но женился впоследствии на немке. В Англии Ирина очень тосковала по отцу. Она не могла ужиться с тетей. Но это не была вина ни Тамары Платоновны, ни ее мужа. Однажды Ирина, зная о моей дружбе с ее отцом, привезла мне напечатанный оттиск "Поэмы о смерти". Моей покойной жене она как-то раз сказала: "Ну что ж мне делать? Я без папы жить не могу".

Когда советские войска вступили в Литву, Лев Платонович был вскоре сослан куда-то в Сибирь. Наша встреча с ним в 1937-ом году была последней. У меня тогда было такое чувство, что Лев Платонович предчувствовал, уже тогда знал, что вернется в Россию как пленник.

Всем изучающим и интересующимся своеобразным поворотом русской религиозной мысли следует читать и изучать все сочинения Льва Платоновича Карсавина, включая монографию "Джордано Бруно" и, конечно, его книгу "Философия ис-

тории". Не знаю, с кем можно сравнить Льва Платоновича, но в ряду портретов, которые я посильно старался дать тут, Карсавин, я думаю, один из самых поразительных и оригинальных личностей, он неподделен, неподражаем, каким должен быть каждый человек, который, как я верю, есть подобие Божие. Но политика – это опасная вещь. В целях политики начинают подделывать, лгать. Уже в последние годы мне пришлось читать вывезенные из Советскоей России записи лекций по эстетике, якобы прочитанных в Красноярске Карсавиным. Это была явная подделка, подделка людей, которые и понятия не имели, кто был Карсавин. Как если бы деревенская плясунья стала бы выдавать себя за Тамару Карсавину. Другой Карсавиной нет, как нет второго Льва Платоновича Карсавина. Необходимо изучать его стиль, чтобы отличать подделки от оригинала.

Я хочу надеяться, что Лев Платонович Карсавин кончил свою жизнь достойным братом Лавром в своем монастыре.

IX. ЛЕВ ШЕСТОВ

В 1966-ом году исполнилось сто лет со дня рождения Льва Исааковича Шестова. Появились статьи и исследования о его жизни и творчестве. Книги его, в особенности о Достоевском, Ницше и Паскале, продолжают цитироваться и в русском оригинале, и в переводах на разные иностранные языки. Нет сомнения, что Шестов переступил порог своего второго века не менее живым, чем тогда, когда я впервые с ним познакомился, а это было больше полустолетия тому назад. Говоря словами Мережковского (который, несмотря на свой огромный труд и большую славу в прошлом, все больше и больше забывается), Шестов, в отличие от Мережковского и ему подобных современников моих, действительно стал "спутником", если не "вечным", то, во всяком случае, спутником сего века. Как это случилось, и что может из этого заключить внимательный очевидец?

Начну со своих "свидетельских показаний" и буду придерживаться, насколько позволит мне память, хронологического порядка.

Осенью 1907-го года, не окончив еще гимназии, я поселился в Гейдельберге, стал слушать лекции по философии и неимоверно много читать. Увлекаясь с еще более ранних лет рус-

ской литературной критикой, я, естественно, скоро натолкнулся на "Историю русской общественной мысли" Иванова-Разумника, с которым десять лет спустя мне пришлось так тесно сойтись. Он же тогда заинтересовал меня, благодаря другой своей книге – "О смысле жизни", работами Шестова "Философия трагедии" и "Апофеоз беспочвенности". Гейдельберг был как бы по традиции открыт для новых философских веяний. В эти годы именно там появились признаки возрождения гегельянства и одновременно пробудился интерес к Бергсону. Наш прославленный историк философии Вильгельм Виндельбанд объявил, что со времен Декарта во Франции не было такого оригинального мыслителя, как Анри Бергсон. На смену умеренному и осторожному критическому идеализму Канта смело пробивались первые ростки антирационалистической метафизики. Все это радостно отмечалось в сознании и подымало дух. Я мечтал о широчайшем "систематическом" синтезе науки и философии, философии и религии, Запада и Востока, и вот мне показалось, что я уже в состоянии приложить руку к подготовлению новой эпохи отважной мысли. Шестов стал для меня магическим именем. Казалось, стоит лишь Европе узнать поближе стихию мысли, одушевляющую его и его окружение, как сразу займется заря духовного обновления. Было мне в то время без малого девятнадцать лет.

Дело было спешное, и, не размышляя слишком долго, я написал короткое письмо "глубокоуважаемому писателю Льву Шестову", в котором сжато и горячо излагал мотивы, побудившие меня просить разрешение на перевод всех книг Шестова на немецкий язык. Я тогда не знал ничего об авторе: ни сколько ему лет, ни что он из себя представляет, ни даже того, что обращаюсь к псевдониму. Написал, запечатал и отправил по адресу московской "Русской мысли", в которой появилась статья Шестова об Ибсене. Опустив письмо в ящик, я бросил взгляд на ту сторону реки, где вилась по холмам Philosophenweg – тропа философов, усмехнулся и громко по-русски сказал: "Какая чепуха!"

Прошли месяцы. Я почти успел забыть о своем глупом письме "уважаемому писателю". Чем более осваивался я с горными пейзажами, тем быстрее менялась перспектива: то, что еще год тому назад казалось грандиозным, постепенно снижалось в кряжистый ряд, а какой-нибудь ранее едва приметный

библейский стих разгорался внутренним светом и сиял высоко, как звезда. Вместе с тем я стал требовать от всех сильных духовного мира сего взаимного понимания. И тут-то мне вдруг померещилось, что Шестов именно этим даром наделен слишком скупо, что, говоря грубо и дерзко, он плохо понимает и Толстого, и Достоевского, и Ницше. (Ницше в то время я нежно любил, как больного младшего брата.) Я был искренно рад, что мое "объяснение", отправленное в пространство на имя Льва Шестова, не дошло, и, глядя из окна на ту сторону Неккара, я дал себе однажды вечером слово выбирать в будущем корреспондентов осторожнее.

Однако я ошибался. Как раз на следующее утро я получил открытку из Фрейбурга, написанную крайне неразборчиво, но с отчетливой подписью: "Л.Шестов". Письмо мое, оказалось, переслали из Москвы за границу, и он решил воспользоваться случаем и съездить в соседний с Фрейбургом Гейдельберг, чтобы познакомиться со мной лично. Дальше, как я разобрал, он предлагал мне прийти на вокзал к поезду с юга в два часа с минутами и распознать его среди новоприбывших пассажиров "по рыжей бороде и спортивному костюму". "Ох, – подумал я, – не идет как-то рыжая борода к беспочвенности, и о чем только я буду говорить с ним?" На платформе вокзала я был вовремя, поезд пришел по расписанию, из всех вагонов посыпались пассажиры, и я, стоя несколько в стороне, старался не упустить ни одного рыжебородого новоприезжего. Но такового не оказалось. Пассажиры разошлись, платформа опустела, я продолжал на всякий случай прохаживаться вдоль поезда, соображая, в чем же ошибка, как быть дальше, как вдруг откуда-то появившаяся высокая сутулая фигура обратилась ко мне по-немецки: "Вы говорите по-русски, не так ли?" Оба мы рассмеялись и с удовольствием поздоровались.

Недоразумение сразу же разъяснилось. Я не обратил внимания на Шестова, так как борода его была не рыжая, а темно-коричневая, костюм, хотя и швейцарский, но не спортивный, а главное, я не ждал встретиться с типично южнорусским евреем. "Шестов? – удивился я, – почему Шестов?" Он же, заметив сразу молодого человека, явно кого-то поджидавшего, не мог допустить, что этот "мальчуган" (я выглядел моложе своих лет) и есть тот убежденный "синтетик", который написал ему из Гейдельберга. Недоразумение, естественно, сближает. Оба

ошиблись, значит у каждого был некий секрет о другом и от другого. Это уже потом Лев Исаакович мог объявить мне о моем "неприлично молодом виде", а я мог справиться о его имени и отчестве, сразу же найдя подтверждение тому, что и он происходит от Авраама, Исаака и Якова. Пока Шестов сдавал на хранение свой багаж, мы весело поглядывали друг на друга, преодолевая двадцатипятилетнюю разницу в возрасте. "А вы уже обедали? – спросил меня мой гость. – Вы здесь дома, пойду с вами, куда поведете. Да покажите мне побольше, все, что успеете до вечера. Заодно и побеседуем".

Я повел Шестова в ресторан "Perkeo", названный по имени знаменитого пфальцского шута, и тут же вынужден был объяснить, что по религиозным причинам участвовать в обеде по-настоящему не могу. Лев Исаакович уставил на меня свои почти круглые серо-голубые глаза из-за обширного меню, слегка нахмурился и вдруг положил руку на мой локоть: "Знаете, кто был бы рад познакомиться с вами? Мой отец. Он сразу бы сошелся с вами, а я не могу. В противоположность Фейербаху и всем материалистам я думаю, что человек не есть то, что он ест. На этом основываться – опасно... Вы ведь не марксист?" – прервал он самого себя. "Нет", – ответил я, а про себя подумал: и кто бы мог без беспочвенности вот так сразу шагнуть от кошерной пищи к материалистической философии? Шестов, конечно. Вот это я понимаю!

Да! Несмотря на свой уютный, добродушный и совсем небеспочвенный вид, это был – Лев Шестов! Поворот мысли совершенно неожиданный. Я такого еще не встречал. Вспомнилось, что кто-то назвал Шестова – "русским Ницше". Может быть, и так... Пока мы пробирались по узкому тротуару Гауптштрассе по направлению к университету и замку, мысль то и дело цеплялась за вопрос: "Зачем, однако, "русский Ницше" приехал к русскому студенту философии в Гейдельберг? Неужели ему нужны ученики? Или он хочет проверить, достоин ли его гейдельбергский корреспондент миссии, посреднической роли, которую он готов взять на себя, переводя шестовские сочинения на немецкий язык?" Что ж, решил я про себя, экзамен так экзамен!

Когда мы дошли до Университетской площади, Шестов остановился у памятника Людвигу Второму, повернулся ко мне, скользнул взглядом по серой стене "старого здания" и

сказал назидательно: "Вот видите, им нравится серое... На фоне этого огромного куба в строгом барокко все превращается в прямоугольный догмат... Да сохранит вас от этого Господь в небесах. У евреев и без того врожденная склонность говорить: Аминь. Мой отец утверждает, что если б из молитвенника убрали одно это единственное слово, евреи перестали бы молиться". – "Они и так перестали..." – улыбнулся я.

Шестов нахмурился, как тогда за обедом, и, крайне неожиданно для меня, поставил мне "пятерку".

"Давайте поговорим о деле". Мы присели на скамейку, он продолжал: "Вы писали мне о переводах. Для этого нужны две вещи: понимание оригинала и знание языка, на который переводишь. После нашего знакомства я не сомневаюсь, что оригинал вам можно вполне доверить. ("А-а, – подумал я, – да правильно ли ты понимаешь свои собственные оригиналы?") Что же до второго, то тут я плохой судья. Вы хоть человек и молодой, но весьма сурьезный (он так и сказал: "сурьезный") и не за свое дело не возьметесь. Если надо будет, найдете кого-нибудь, с кем можно посоветоваться. Так значит – по рукам! И перевод ваш будет авторизованным. А теперь можно погулять со спокойной совестью".

Я повел Шестова в замок. Он нравился мне все больше и больше, и все больше и больше меня разочаровывал. Я чувствовал себя с ним совсем просто, по-домашнему, как с одним из своих дядюшек. Я тщетно искал в его замечаниях, шутках, ссылках на отца отклики незаурядной мудрости. Меня поразило, как целесообразно и рассудительно он повел дело с молодым студентом из закосневшего в догматизме Гейдельберга. Впоследствии мне не раз приходилось переживать подобные разочарования: с Валерием Брюсовым, Максом Вебером, В.В.Розановым и им подобными. Но первым, научившим меня видеть в так называемом "великом человеке" – человека, был Лев Исаакович. Гораздо позже я понял, что простая его человечность и практичность говорили скорее в его пользу, нежели против него, и что героям мысли вообще-то не свойственно быть одновременно героями дела. Ведь до чаши цикуты сколько выпил Сократ амфор обычного терпкого афинского вина! Почему бы и Шестову не прогуливаться по Гейдельбергу, как всякому другому непритязательному туристу?

Времени у нас оставалось еще несколько часов. Шестов

собирался продолжать прерванное путешествие и уехать с вечерним поездом в Берлин, а я считал, что весь остаток моего дня принадлежит гостю. Оказавшись на уровне бойкого горного ручья, с берега которого открывался широкий вид на Оденвальд, предгорье Шварцвальда, я прикоснулся к рукаву моего спутника и, как опытный гид, указал ему на пенящиеся и звенящие струи ручья: "Это Клингентейх, а там, за рекой, извилистая дорожка вверх – это Philosophenweg". – "Ну вот, – воскликнул Лев Исаакович, – а еще сомневаются в том, народ ли поэтов и мыслителей, немцы-то! Философия врезывается у них в поэтический ландшафт, а горному ключу подобрано имя прямо из трактата по эстетике". – "А вот сейчас вы увидите, как все это у них основывается на преданиях старины далекой... Вот сюда, пожалуйста".

Мы вошли в парк замка. Лев Исаакович от подъема в гору слегка запыхался (ему тогда было уже около сорока пяти лет) и предложил снова присесть. "Нет, нет, – продолжал он комментировать свои впечатления, – нам с немцами не по пути. Что немцам здорово – русским смерть. Вчера я пытался это развить у Риккерта в Фрейбурге, но поддержал меня один Мережковский, а молодежь наша меня чуть не заклевала".

И он рассказал мне подробно о совещании, которое должно было подготовить русское издание нового международного, вернее, немецкого журнала по философии культуры с греческим названием "Логос". План исходил от группы молодых русских философов, прошедших школу в Германии: Ф.А.Степуна, С.О.Гессена, Н.Бубнова, решивших показать своим немецким учителям и коллегам, что и Россия имеет "собственных Платонов" и что сотрудничество с ними может пойти на пользу международной философии культуры. Съехались в Фрейбурге, недалеко от швейцарской границы; помимо молодых, удалось привлечь лишь Мережковских и Шестова. Знаменитый профессор Риккерт мало понравился "старшим богатырям". Слава его как методолога истории не была затемнена личной встречей, но его противопоставление истории естествознанию казалось недостаточно широкой площадкой для того, чтобы открыть перспективу на современный культурный кризис во всех его измерениях. Мережковский сразу обнаружил в Риккерте профессорское безразличие к судьбам церкви и религии, а Шестову все это казалось стремлением уловить стихию

культурного творчества в проволочные сети логических таблиц. В противоположность Риккерту и его свите приват-доцентов, горячие заявления русских во славу прародимого хаоса казались просто нарушением добрых академических приличий, которое, впрочем, как выразился впоследствии один из молодых немецких сотрудников журнала, "варварам простительно". Готовность и даже жажда сотрудничать с философствующими русскими варварами имела свои глубокие подспудные причины. Это обнаружилось года через два, во время балканских войн, и особенно в 1914-ом году. Но в мирном баденском Фрейбурге в 1910-ом году этого никому бы не могло прийти в голову. И хотя было принято решение приступить к русскому изданию "Логоса", Шестову в нем места не оказалось. Еще не пришла пора, когда ему было бы по дороге с немцами, а немцам с ним. В этот момент именно я представлял для него единственное возможное связующее звено между ним и немцами, и Шестов крепко держал меня под руку, когда мы двинулись вперед через каменный мост во внутренний двор замка.

Этот образец немецкой готической архитектуры мало интересовал Шестова, но он непременно хотел поглядеть на "царь-бочку" – мой свободный перевод, подсказанный кремлевскими диковинками – "Heidelberger Fass", которая действительно могла посоперничать гигантскими своими размерами с Царь-колоколом и с Царь-пушкой. Мы спустились в глубокий подвал, под сводами которого помещалась самая большая винная бочка в мире, и Лев Исаакович, пораженный и даже несколько взволнованный, стал расспрашивать меня, как и откуда взялась эта царственная посудина; его по-детски живая впечатлительность меня глубоко изумила. Я обрадовался и стал рассказывать: "Видите, поверх бочки – площадка с перилами? Она рассчитана на целых двенадцать танцующих пар. Все это выдумки того же палатинского шута Перкео. В его время виноделы платили налог натурой. "Не экономнее ли будет, – шептал шут на ухо курфюрсту, – хранить палатинское вино в княжеском погребе не в разнокалиберных бочонках, а в одной чудо-бочке, которая к тому же прогремит на весь христианский мир во славу князю и его вину?" Так вот и соперничают с тех пор Гейдельбергский университет, самый старый в Германии, с Heidelberger Fass, самой большой бочкой на всем белом свете".

"А знаете, – сказал Шестов, не отводя взгляда от раскра-

шенного деревянного шута Перкео, приставленного к подножию бочки как хранитель и верный страж ее, – вам их юмор кажется глуповатым и смешным, а я все думаю, какой глуповатой и смешной показалась бы им наша с вами серьезность... Нет, говорите, что хотите, а умели-таки жить наши деды, "не то, что нынешнее племя". И еще неизвестно, – прибавил он, склонив голову на правое плечо, – кто окажется победителем, университет или бочка!"

Я решился ответить в тон Шестову: "Пожалуй что бочка, если только в ней поселится Диоген с университетским своим фонарем".

Где-то пробили часы. Шестов забеспокоился: "Не опоздать бы на поезд. Непременно должен своих стариков встретить из Киева". Я заверил своего гостя, что обратный путь займет гораздо меньше времени и предложил ему выпить чаю на террасе гостиницы при замке. Ясный августовский день вызывал томительное желание ясности, но часы, проведенные с Шестовым, наполнили ум сумятицей. Все и так, и не так. Как будто без роду и без племени, а в то же время – преданный сын "стариков"; иронизирует по поводу немцев, а вместе с тем – преклоняется перед исконным немецким бытом; против умеренности и аккуратности, а сам точен и предусмотрителен, как сын диккенсовского "сити"... Непременно нужно будет во всем разобраться. Мог ли я тогда подумать, что и полвека спустя я все еще буду искать подходящую формулу для этого причудливого русско-еврейского силуэта.

Перед тем как распрощаться, уже на вокзале, Лев Исаакович условился со мной о будущей переписке и, уже стоя на площадке своего вагона и благодаря за гостеприимство, с полунасмешливой улыбкой прибавил: "И еще спасибо за науку. Не думал, не гадал, что мне еще придется поучиться в Гейдельберге". "Над кем смеетесь, – подумал я, – неужели над собой?"

Начиная с этого дня, связь с Шестовым не прекращалась почти до самой его кончины. Вскоре после его посещения Гейдельберга я начал переписку с рядом издательств, предлагая им "авторизованный" немецкий текст "Апофеоза беспочвенности". Особый интерес проявило передовое издательство Diderichs в Иене, но и оно в конце концов отказалось от мысли ввести в философскую Германию русского отщепенца. "Мы теперь утвердились, – писали мне из Иены, – на линии Бергсона и не

считаем возможным одновременно поддерживать антиметафизические настроения". Я держал Шестова в курсе моих попыток, и он, очевидно, перестал верить в их успех, усомнившись, может быть, в моих пропагандистских способностях. Могло иметь значение и то, что в самой России его имя звучало все громче и громче, и ему расхотелось "искать добра от добра". Осенью того же 1910-го года мне пришлось услышать в Москве в редакции "Русской мысли" необыкновенно высокий отзыв Валерия Брюсова о Шестове: "Писать, как Шестов, может один только Шестов". Лев Толстой, расспрашивая Горького о Шестове, был задет за живое "разоблачениями" шестовской книги о "добротолюбии" Толстого и Ницше. "И неужели он еврей? – удивлялся Толстой, – как-то не верится, что могут быть неверующие евреи". Так повествует Горький в своих записях о Толстом. Из этого следует, что Лев Исаакович издавна был мастером запутывать своих читателей, не исключая и таких, как автор "Войны и мира". Каково же было разбираться в нем едва оперившемуся гейдельбергскому студенту.

Весною следующего 1911-го года я снова встретился с Шестовым, на этот раз в Болонье, где собрался четвертый Международный Философский съезд. Завидев меня у входа в актовый зал, Шестов замахал длинной своей рукой, желая, по-видимому, знаками подчеркнуть, что рад неожиданной встрече. Я поспешил к нему. Показалось, что он еще больше осунулся, что им овладела какая-то забота. Приветливость его выражалась не в улыбке губ, а в прищуренных серо-голубых круглых глазах. Протянув наскоро руку, он продолжал говорить (именно продолжал, как если бы мы еще и не прерывали нашей прошлогодней беседы), о своих ближайших планах: "Не знаю, как вы, но я до конца съезда не останусь. Я приехал, в сущности, из-за Бергсона (а-а, – подумал я, – опять Бергсон!), хочу увидеть своими глазами, что немцы в нем открыли, и, главное, на фоне всей современной философии... Это тоже любопытно". Прозвонил колокольчик, призывавший делегатов в зал. "Ну, потом поговорим... Давайте пообедаем вместе, как в Гейдельберге. Я расскажу вам много интересного".

За нашим, по моей вине вегетарианским, обедом Лев Исаакович, с трудом справляясь с длиннохвостыми макаронами, волнуясь и спеша, стал объяснять мне, что мы "не с того

конца взялись за дело". Я развесил уши. "Понимаете, – учил меня Шестов, – автор, не признанный у себя на родине, не может привлечь внимания иностранцев. Посмотрите – Бергсон! Сначала его признали во Франции, а уже затем и немцы за него взялись, да так, что он теперь и мне загораживает дорогу в Германии. Да и тут, у итальянцев, и всех прочих. Ясно – мировое имя! Но первым делом – родина! А мы хотели через все это перепрыгнуть. Ну да ничего – "лиха беда начало!". (Лев Исаакович любил поговорки и присловья, особенно в народном духе) Ничего! Я вам сейчас кое-что покажу". Отодвинув тарелку, он стал рыться в карманах, покуда не извлек конверт с русскими марками: "Вот!"

Оказалось, что это было письмо от питерского издательства "Шиповник", предлагавшее Шестову выпустить его полное собрание сочинений в шести томах. "Понимаете, получается каламбур: шесть томов Шестова! А все это благодаря Любови Яковлевне Гуревич. Она давно меня подговаривает: "Чем же вы-то хуже других?" Так вот Капельман из "Шиповника" и послушался. Черная сотня теперь будет говорить, что это еврейская бухгалтерия! Так пусть говорят, не так ли?"

Я был смущен и огорчен. К этому времени я уже не был так наивен, чтобы не знать, что даже самые крупные умы подвержены обычным человеческим слабостям и что среди опасностей, подстерегающих людей мысли и пера, наиболее коварными являются честолюбие и тщеславие. Но ведь потому и соблазнил меня своими писаниями Лев Шестов, что он нашел смелость приложить мерку наивысшего величия даже к таким глашатаям общечеловеческой добродетели, как Толстой, не побоявшись поднять руку на их моральный престиж. Никто лучше Шестова, казалось мне, не умел убийственной иронией заклеймить расхождение между словом и делом, между философией и жизнью. Тонкая и тончайшая его ирония свидетельствовала, как будто, если не об исключительной мудрости, то, по крайней мере, о тонком и тончайшем уме. Правда, уже при первой встрече в Германии ко мне стало закрадываться сомнение о глубине его проникновения в человеческое сердце, а главное – в бескорыстности его изысканий. Я удивлялся, поражался противоречивости его оценок, но счел бы непростительной дерзостью одно свое предположение о том, что Шестов находится во власти ненасытной страсти утвердить самого себя и найти

всеобщее признание в качестве оригинального мыслителя еще при жизни – непременно, еще при жизни. Вот, к примеру, хотя бы как Бергсон! Только теперь я вдруг понял, как глубоко его задела невинная, чисто деловая фраза в письме из Иены: "Wir haben uns auf der Linie Bergson festgelegt". Мне и в голову не приходило, что Шестов с кем-то соперничает и как бы играет в перегонки. Волнение же его по поводу возможности увидеть "полное собрание" своих сочинений выдавало уже не только страстное честолюбие, но и самое обыденное тщеславие. Я был огорчен и совершенно растерялся. Но тут мне на выручку подоспел другой мыслитель-оригинал – Ительсон.

Григорий Борисович Ительсон и Лев Исаакович Шварцман-Шестов давно друг друга знали и, как сразу можно было заметить, давно друг друга недолюбливали. Они поздоровались с откровенно привычной холодностью, отражаясь друг в друге, как в нарочито искривленных зеркалах иронии. "Вот не ожидал!" – сказал Ительсон Шестову. "А я все смотрю, что это вас не видно", – сказал Шестов Ительсону. Оба разделяли участь философов-самоучек, оба не имели академического звания и оставались "частными учеными", дилетантами в философии. Но если для Ительсона философский конгресс был чем-то вроде осуществления философской демократии, на трибуне которой он мог развивать свои оригинальные идеи о внутренней связи между логикой и математикой наравне с общепризнанными авторитетами, то Шестову съезд этот должен был представляться, по существу, чем-то вроде "ярмарки тщеславия", толкучим рынком для сбыта поношенного тряпья. В этом смысле оба были правы в своем недоумении: Ительсон по поводу присутствия Шестова, а Шестов – по поводу позднего появления Ительсона. Григорий Борисович Ительсон, весь вид которого, высокая грузная фигура с роскошной седой шевелюрой под широкополой черной шляпой, являл собою аллегорическое воплощение тщеславия, не мог не удивиться, открыв на ярмарочной площади беспочвенника Шестова; эремит же, без роду, без племени и без почвы, Шестов искренне верил, что конгресс в Болонье в лучшем случае – приманка для вездесущих лентяев, как Григорий Борисович, или вот еще для таких любознательных юношей, как приехавший из Гейдельберга с благословения "Русской мысли" несовершеннолетний студент Штейнберг. Если бы не замешался тут Бергсон...

Ительсону, однако, не нужен был никакой Бергсон. Ительсону нужен был Ительсон, да еще квалифицированная аудитория, которая заслушала бы его доклад в секции по логике и математике. Он без лишних церемоний придвинул стул к нашему столику и на правах как бы старшего родственника обратился ко мне: "Я хорошо знаю вашу тетушку Эсфирь Захарьевну (младшая сестра матери Эльяшева-Гурлянд). Если у вас хотя бы десятая доля ее философских способностей, вы сможете оказать мне большую услугу. Дело в том..."

Дело оказалось в том, что Ительсон, органически не любивший писать, – и в этом отношении тоже прямая противоположность Шестову, – устные свои доклады делал всегда экспромтом, и для того чтобы они были включены в печатный отчет конгресса, надо было представить рукопись. А откуда же ей взяться? Вот если я буду присутствовать на его лекции и записывать, доклад его не пропадет. А делать его он будет по-немецки.

Тут вмешался Шестов. "Скажите, – обратился он к Ительсону, – почему вы сами не пишете? Не потому ли, может быть, что когда вы напишете на бумаге, получается так тонко, что вы сами замечаете, что рвется? Не то что у Канта или Гегеля! – у них пряжа грубая, узловатая, ножом не разрежешь, а вот у вас вот..." Ительсон ощетинился. Мастерство, с которым Шестов отпускал обоюдоострые комплименты, подбитые язвительностью, не было секретом. К тому же совесть у Ительсона была не совсем чиста. Это именно он пустил в оборот каламбур о пяти дураках, которые слушают "Шестого". Приходилось перейти от обороны к нападению. Круглое, полное лицо Ительсона побагровело, и мне казалось, что теперь уж не избежать резкого между ними столкновения. "И зачем это, – думал я, – Шестов так больно наступил ему на мозоль? Теперь у Григория Борисовича полное право заступиться за права человека и Сократа, т.е. философа без полного собрания сочинений". Судьба, однако, уберегла представителя молодого поколения от непристойного зрелища. Бой не состоялся. Чистое тщеславие победило без боя.

Неподалеку от нашего столика уже несколько минут стояли и прислушивались к разговору две молоденькие студентки университета в Болонье в своих синих бархатных шапочках, явно порываясь подойти поближе. Воспользовавшись

моментом затишья перед бурей, одна из них, держа перед собою, как щит, альбом в синем бархатном переплете, подскочила к Ительсону и, сгорая от смущения, попросила его на очень плохом немецком языке написать в ее альбом автограф: "У меня уже целая коллекция автографов знаменитых философов". Лицо сурового среброкудрого бойца сразу прояснилось. "Ах, как это кстати! – воскликнул он с простосердечной улыбкой. – Мы тут как раз анализировали, насколько важно в философии закреплять мысли в письменной форме. Так я вам об этом и напишу". И он написал в альбом студентке – "Оригинальная мысль прекраснее самого красивого почерка". Молоденькая барышня необыкновенно обрадовалась, зарумянилась до самых корней черных как смоль волос, оглянулась на свою подружку, поцеловала Григория Борисовича под самые очки и стремительно унеслась. Неожиданно для нас была разыграна басня в лицах. Мораль ее для меня была ясна: она ставила самолюбивого ученого, некогда любимого ученика Менделеева, первоклассного знатока истории греческой математики и новейшей теории чисел, на один уровень с бойкой итальянской студенткой. Но Шестов совсем поник. Он увидел в басне подтверждение тому, что внешность, увы, обманчива и что лучше оставаться в тени, чем быть оцененным не по достоинству. Впрочем, всем, не исключая Ительсона, стало грустно. Очевидно, все мы, каждый по-своему, ощутили трагический разлад между действительностью и мыслью, все мы, и стар и млад, позавидовали на минуту бездумной молодости. Об этой сценке в вегетарианском ресторане в Болонье и Шестов, и Ительсон вспоминали еще двадцать лет спустя. Мне же обидно было вчуже за Льва Исааковича: "Вот тебе и Бергсон".

А я сам? Я сам был сбит с толку. В последующих моих беседах с Ительсоном, в Болонье, Равенне и Риме я неоднократно старался замолвить словечко за Льва Исааковича. Но Григорий Борисович был непреклонен. "Если хотите стать философом, – учил он меня, – не жалейте, а избегайте болтунов". – "Но позвольте, Григорий Борисович..." – "Ничего не позвольте, – сами со временем увидите, что все это совершенно безответственная болтовня". Ительсону суждено было еще до Второй мировой войны погибнуть от злодейского нападения на берлинском Курфюрстендаме. Кто знает, может быть, он уже в 1911-ом году предчувствовал великие опасности, грозившие

гибелью и ему лично в разнузданной стихии безответственной мысли. А "русский Ницше" посмотрел на Бергсона, выслушал его доклад, был даже представлен ему и уехал с убеждением, что "хрен редьки не слаще – дальше Спинозы и Бергсон не пошел!"

После встречи в Болонье предполагалось, что я снова увижу Льва Исааковича не позже, чем через четыре года, так как следующий Международный философский конгресс, пятый по счету, должен был состояться в 1915-ом году в Лондоне. Но уже в 1914-ом году "состоялась" Первая мировая война. В это время мало кому было дела до философии и до международных съездов. Последовали революции, личные связи рвались, люди теряли друг друга из виду. Смута в умах росла из года в год, и когда стихия выбросила меня, наконец, в 1918-ом году, не без личных моих усилий, на берега Невы, я неожиданно оказался в кругу людей, среди которых неизменно присутствовал Лев Шестов, – присутствовал не физически, но еще более конкретно, как непрерывно действующая духовная потенция.

Сам Лев Исаакович находился где-то заграницей. Но те, кто воспринимал Октябрьскую революцию в России как почин всемирного духовного переворота, не сомневались, что Шестов с ними, что именно он был в первых рядах тех, кто вырвал у старого мира почву из-под ног. Вспоминая свою встречу с ним в Гейдельберге и Болонье за 7-8 лет до 1918-го года, я не мог отделаться от чувства, что миф, созданный Шестовым о самом себе, принимает для него образ совершенно неприемлемый. В самом деле, Шестов – мыслитель-одиночка и массовая революция! Что может быть между ними общего? Но не так смотрели на вещи видимые и невидимые те, для которых социальная революция была лишь аккомпаниментом темы неизменно более глубокой и значительной, связанной с последним смыслом существования человека и мира. Такое "мистическое" восприятие революции было, само собой разумеется, не только чуждо, но по существу враждебно всему марксистскому руководству народного движения. Однако для поэтов и писателей, окрыленных марксистским ветром исторического процесса, сама враждебность официальной революционной иерархии к идее иррационального стихийного творческого строительства являлась подтверждением того, что они со стихией, а стихия с ними. Так

были настроены в 1918-ом году и Андрей Белый, и Александр Блок, Клюев и Есенин, Константин Эрберг и Разумник Васильевич Иванов-Разумник. Почти все они считали Льва Шестова в этом смысле – своим. Когда в Берлине было основано издательство "Скифы", перекликавшееся в мировоззрении своем с идеями поэмы Блока с тем же названием, руководитель нового издательства Иванов-Разумник сразу решил, что "Скифы" должны стать пристанищем и для произведений Льва Шестова. "Да, скифы мы", – цитировал Разумник Васильевич Блока, – и Лев Исаакович не меньше, чем мы сами". Естественно, что книги Шестова стали перепечатываться по-русски в столице Веймарской республики под "скифским" знаменем. "Естественно", конечно, с точки зрения самих "скифов", политически связанных с левым крылом социалистов-революционеров. Ну а как смотрел на это Лев Исаакович?

Для меня все это было тягостной загадкой. Не замешан ли в дело опять, как в 1911-ом году в Болонье, какой-нибудь Бергсон, какой-нибудь "амбициозный" соперник, в борьбе с которым можно не особенно разбираться в средствах? Но на этот раз "Бергсоном", которого Шестов хотел не только догнать, но и перегнать, по-видимому, был не кто иной, как дух времени. В моем понимании и толковании "шестовианства" я дошел к этому времени до точки, с которой в авторе "Апофеоза беспочвенности" мне открывался, вопреки собственному его самосознанию, крайний гегельянец: мировой дух, говоря по Гегелю, дошел в своем развитии до стадии диалектического саморазрушения и достиг полного самосознания в адогматическом мышлении Льва Шестова. Забота о всеобщем признании, казавшаяся мне несколько лет тому назад проявлением мелкого эгоцентрического самолюбия, в свете "мирового пожара" отбрасывала исполинскую тень: тень мирового духа в субъективном его смятении, и марксистский большевизм в такой перспективе не мог не казаться каким-то полустанком на большой шестовской дороге. Несколько лет спустя, в Германии, я охарактеризовал мировоззрение большевизма как "коллективный солипсизм".

Законно и обоснованно ли было это причудливое возрождение моего юношеского увлечения Шестовым, вопрос – особый, но именно оно дало мне возможность проверить, совместно со старшими его друзьями, удельный вес и мысли, и лично-

сти его. Когда я снова встретился с ним в 20-х годах в Берлине, у меня уже был обширный материал для проверки и контрпроверки. Действительно, до того, как я покинул Россию в конце 1922-го года, я подружился не только с Ивановым-Разумником, натолкнувшим меня когда-то на Шестова, но и с Ольгой Дмитриевной Форш, принадлежавшей в ранней своей молодости к киевскому студенческому кружку, в котором встречались Шестов с Н.А.Бердяевым, С.Н.Булгаковым и даже с А.В. Луначарским. Взгляд Бердяева на Шестова определялся категорией "сугубая ересь", но к этому у него примешивалось еще чувство, что корни шестовского "нигилизма" – в его дохристианском иудаизме. Разумник Васильевич шел дальше и постоянно повторял, что Лев Исаакович типичный еврей и что всякая типично еврейская философия должна провозгласить "Ничто" принципом мира.

Но в отличие от обычного юдофобства, для которого якобы еврейское стремление "у-ничто-жить" мир – мир христианский, социальный, культурный – логически влечет за собой как свою автоматическую реакцию обратное стремление к исключению еврейского народа из исторического процесса, Разумник был "духовным революционером". Для него "дух разрушающий" был "духом созидающим", и, следовательно, в его "юдофобстве" была слитность чувств, делавшая его неотличимым от "юдофила". Разговоров об этом у меня было много не только с Разумником Васильевичем, но и с Блоком, и с Бердяевым, и, в конце концов, с Шестовым. Он, однако, в противовес своим прежним друзьям, включая О.Д.Форш, всячески подчеркивал, что все они "страшно преувеличивают" и в какой-то мере не совсем свободны от антисемитского уклона. Моя догадка, сводившаяся в переводе на психологический язык к тому, что Шестовым руководит неутолимая страсть самоутверждения, что можно было бы, впрочем, забыв третье измерение, сказать и о Гегеле, и о Марксе вкупе и влюбе с Лениным, вызвала, когда я однажды эту гипотезу развил с эпическими иллюстрациями, решительный протест Разумника Васильевича и внушила ему горячую, докапывающуюся до "корней и нитей" отповедь. "Нет, нет! – воскликнул он, – грешно смешивать Льва Исааковича с толпой наших заурядных литераторов, журналистов и критиков, в которых, конечно же, главная пружина – амбиция, самолюбие и того похуже. Верно и то, что среди них

очень много, ну, скажем, в процентном отношении, очень много евреев. И это, пожалуй, не случайно. Вы же не будете отрицать того (не о вас, конечно, говоря), что евреи, отказывающиеся от еврейского происхождения, прежде всего, своего собственного, охвачены "древним ужасом", знаете: Terror antiquus. Им не легко жить без корней, без почвы. Они не Шестовы. И потому они настаивают, – на смех врагам, – что они русские, французы, немцы, что у них нееврейские национальные корни. Я тоже думаю, что без национальных корней не может быть ни литературы, ни музыки, ни философии. Но Льву Исааковичу нет нужды утверждать себя как одиночку. У него есть корни. Его беспочвенность – не без почвы. У него еврейская почва – мудрость тысячелетий... Вы знаете его лично, но вот если бы вы знали его отца Исаака Шварцмана! С виду – просто богатый киевский купец, каких видишь везде, еще не научившийся чисто и правильно говорить по-русски. А сколько мудрости за их шепелявым произношением! Когда говоришь с отцом Шестова, сразу видишь, куда уходят его корни и нити. Вот для примера афоризм, который можно назвать "Философия и теология". Я был свидетелем его создания в последнее предвоенное лето в Берлине. Пожалуй, и Льву Исааковичу, несмотря на его огромный природный талант, далеко до такого глубокомыслия!"

Весьма сдержанный по натуре, Разумник Васильевич загорелся восторгом рассказчика, и суть его рассказа врезалась в память мне со всеми подробностями.

Перед войной Берлин часто бывал узловым пунктом для русских, ездивших за границу для встречи с родственниками, друзьями из разных концов России. Так съехались там в последнее лето перед войной семья Шестова, его царскосельский друг Иванов-Разумник и молодой его приятель, учившийся тогда в Иене, Евгений Германович Лундберг. Старый Шварцман любил разговаривать с каждым: расспрашивать, учиться, а иногда – с невинным видом – и поучать. Увидев впервые Лундберга, будущего критика и теоретика искусства, он осведомился, откуда тот родом, давно ли знает его Леву, женат ли и чему учится в Иене? Услышав, что Лундберг учится на двух факультетах, философском и теологическом, отец Шестова попросил объяснить ему точно, что это за наука такая – теология. Лев Исаакович поспешил подсказать , что это то же самое, что бого-

словие. Но старик не унимался и стал не без сарказма, столь характерного для стиля его сына, рассуждать вслух: "Богословие... Слово о Боге. Ох, как интересно! Лева все время говорит, что философия тоже наука о Боге, а есть, выходит, еще отдельно о Боге, как вы говорите. Это трудно понять без высшего образования". Он задумался, забарабанил пальцами по чайному столику и вдруг снова обратился к Лундбергу: "Скажите, молодой человек, вы вот учитесь философии, богословию, и Бог знает еще чему, а вы знаете как гуси спят?"

Всеобщее напряженное удивление. "Не знаете? Так я вам расскажу. Когда гуси ложатся спать, они сначала роют лапками в песке ямку, ложатся в нее, голову под крыло и спят. Почему? Потому что у гусей где жир? Весь на спине, а спереди – ничего, так спереди холодно, холодно спать. Но в ямке – тепло как в перине, а сверху есть жир, теплый пуховик, так тоже тепло – можно спокойно спать. А как куры спят? Совсем наоборот. Вечером, как холодно, куры подлетают вверх, под потолок курятника (не заметили?) и спят на шестках под крышей... Почему? Где куриный жир? Не как у гусей – позади и наверху, а спереди и снизу. Значит, внизу ничего не нужно – свой жир греет, а наверху нужна теплая крыша...Верно? (Автор афоризма обвел всех глазами.) А вот у вас, молодой человек, может быть, нет собственного жира, ни спереди, ни сзади, ни снизу, ни сверху – так вам и философия нужна – теплая ямка в земле, и богословие – теплое слово Бога на небе. Верно?"

"И поверьте, – закончил, раскуривая трубку, свой рассказ Разумник Васильевич, – с тех пор Евгений Германович никогда больше не упоминал два факультета, а у нас завелось обрывать заносчивых спорщиков вопросом врасплох – "а вы знаете, как гуси спят?"

Мы сидели с Разумником Васильевичем на скамейке Летнего сада. Шел 1920-ый год. Петербуржцы говорили, что такого блистательного лета они не помнят. Возможно, что пустынность Петербурга в этот роковой год, само его безлюдье, создавали глубокий прозрачный фон, влекущий взоры в беспредельность. Басня о богоспасаемых гусях и безбожно кудахтающих курах заставляла задуматься. И вот, устремив взор сквозь великолепную решетку литых ворот Летнего сада вдаль, за изгиб Невы, я, неожиданно для самого себя, спросил: "А вы знаете, как Шестов спит?"

Разумник Васильевич встрепенулся. Мне показалось, что он мой вопрос воспринял как-то на свой счет, как если бы меня подмывало остро кольнуть не одного Льва Исааковича, но и всех, кто с ним и за него. Редкие усы под косящим взглядом затопорщились; положив погасшую трубку на "Северную коммуну", лежавшую у него на коленях, Разумник Васильевич сказал не без задора: "Если хотите – знаю... Лев Исаакович вообще не спит!"

И тут же на скамейке в совершенно безмолвном парке Разумник Васильевич развил свое замечание в целую статью, в обычном, свойственном ему одному, стиле, под заглавием, которое подразумевалось, – "Спящие и бодрствующие". Жаль, что в связи с обстоятельствами того времени статья эта, как и бесчисленные другие экспромты подобного рода той эпохи, осталась ненаписанной. О Льве Шестове ныне существует целая литература на многочисленных языках. Но не думаю, чтобы кто-нибудь более правдиво выразил расплывчатую оригинальность Шестова как писателя и человека, чем Иванов-Разумник в тот легкий петербургский предвечерний час.

Разделив наших современников, следуя обычной своей манере, на две группы: "спящих" и "не спящих", "историк русской общественной мысли" сначала разделался с еще не проснувшимися: "Ну разве не видно и не слышно сразу, что Мережковский, например, продолжает убаюкивать самого себя своей незатейливой колыбельной песенкой – бездна вверху и бездна внизу, две нити вместе свиты; колыбелька качнется влево, колыбелька качнется вправо, а Дмитрий Сергеевич Мережковский и ныне там..." От Мережковского легко было добраться до Горького и его соратников. "Поистине сонное царство! То, что уже при них готовилось в мире, в чем они, того не сознавая, сами участвовали, нисколько, ну ни единым краешком, их не задело; жизнь для них продолжает идти нормальным ходом, а они горько жалуются, что сквозит, что дверь сорвалась с петель; об урагане же, который сорвал дверь с петель, они не знают и знать не хотят. Ну и пусть себе спят на здоровье. Другое дело бодрствующие. Оглянитесь кругом. Блок бодрствовал чуть ли не с младенческих лет. И Белый тоже (вчитайтесь в "Котика Летаева"!), и Толстой, и Чехов, и точно так же Лев Шестов. Не в писаниях его дело, а в их духе! Самое тихое, спокойное и мирное, казалось бы, у него насквозь пронизано гро-

зой и бурей. Читаешь, читаешь и вдруг замрешь в смятении. Так вот оно как! Все нипочем и ни к чему, и это так просто, так ясно и прозрачно... Ох, скажу я вам, страшный человек – Лев Исаакович! Чем проще и уютнее, тем страшнее... Вы знаете, я теперь занят своей "Антроподицеей". И в посильных моих попытках "оправдания человека" я погрузился в изучение Ветхого Завета. Читаю его и иногда все кажется, что тон, так сказать, знакомый. Ну да! Звучит как у Шестова: в простоте Твоей мироздание творится и рушится... Тут и Вавилонская башня, и Содом и Гоморра, и паскалевское бесконечно малое и бесконечно большое (простите старому математику шаблонные понятия). Нет, что и говорить, Лев Исаакович Шестов из бодрствующих – бодрствующий. А что до слабостей и недостатков, – так кого же "оправдывать", коли не настоящего человека!"

Как бы для того, чтобы закруглить свою статью-экспромт, Иванов-Разумник закончил ее анекдотом: "Я отлично знаю, что Лев Исаакович еще и теперь не любит, когда ему напоминают о еврейской Библии, но я свое отношение никогда не держал от него в секрете. Когда я был в Киеве у них дома, я познакомился с шурином Льва Исааковича, мужем его сестры, композитором Германом Леопольдовичем Ловцким. Вспомнили, между прочим, Ремизова, Алексея Михайловича, которого все знали. И вдруг шурин Шестова сообщает, что он написал музыку на "Красочки" Ремизова. Я оторопел. На "Красочки" Ремизова?! Да чтобы их правильно воспринять и почувствовать, сколько надо иметь за спиной поколений из Замоскворечья, сколько пудов кислой капусты надо съесть!? Бог знает что надо! А тут... Ну, ясное дело, музыка оказалась "курам на смех". Лев Исаакович заметил мое впечатление и затем, наедине, коснулся неприятной темы:

– Горячий он, знаете, родственник!

– Ну скажите, почему ваш шурин не ищет вдохновения для своих композиций в чем-либо, что ему ближе по духу?

И представьте себе, Лев Исаакович едва не рассердился.

– Ближе по духу, ближе по духу! Разве дух не дышит, где хочет? Помилуйте, Разумник Васильевич! Вы как бы во сне или со сна говорите!

Вот тогда-то и выскочила у меня антитеза – спящие и бодрствующие. Лев Исаакович открыл мне глаза. Подождите, подождите, он еще сядет на землю, посыплет голову пеплом и

такими иеремиадами изойдет, что весь мир огласится..."

В конце того же 1920-го года мне пришлось продолжить подобный разговор о Шестове с Николаем Александровичем Бердяевым в Москве. Разговаривая поздно вечером в его слабо освещенном и слабо протопленном кабинете в одном из переулков, отходящих, насколько помнится, от Поварской, о наших общих знакомых, я не мог не сравнить скромные остатки уютного барски-интеллигентского быта в Москве с мерзлой гарью, в которой мы жили в питерском царстве жестяных печурок-"буржуек" и щербатых лампад-"коптилок". "Недаром, – заметил я, – Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна Мережковские уже до войны воскресили пророчество, что Петербургу быть пусту!" – "Это, – отозвался Бердяев, схватывая правой рукой взлетевшую непроизвольно вверх левую руку, – это у них от него..." И разговор сразу перешел на Шестова.

Я уже упоминал, что для Бердяева весь Шестов был укоренен в "дохристианском иудаизме". В этот вечер я мог убедиться, до какой степени Николай Александрович был непоколебим в своей оценке духовной сущности старого своего университетского товарища и до каких мелочей взгляд его совпадал странным образом с оценкой Шестова Ивановым-Разумником. Ведь Николай Бердяев и Иванов-Разумник были антиподы. Выходило, что на расстоянии, с какой бы стороны ни смотреть, Лев Исаакович оказывался "еврейским пророком".

Я не мог соглашаться, я возражал и спорил. Но в 1920-ом году я не знал, что уже со времени киевского процесса Бейлиса в сознании Льва Исааковича что-то произошло, что заставило его по-новому оглянуться на собственные свои "Начала и концы" и увидеть самого себя продолжателем иерусалимской духовной генеалогии. Тогда-то именно и зародилась, очевидно, его антитеза "Афины и Иерусалим", бессознательно перенятая им из еврейской философии истории предшествующих веков. Однако один из мотивов, побудивший его еще так недавно решительно отнекиваться от своего естественного наследия, оставшийся не замеченным и Разумником Васильевичем, выступил с неожиданной отчетливостью в отрывистых воспоминаниях Николая Александровича.

Оба они, Шестов и Бердяев, были еще очень молоды, рассказывал Николай Александрович, когда трагическое ощущение жизни стало ввергать Шестова в безвыходный нигилизм. И

хотя сам Бердяев был тогда все еще весьма близок к марксистскому материализму, шестовское неверие, сомнение и отрицание заходили так далеко, что не оставалось места не только для духа, но даже для самой легковесной материи. "Его нигилизм, – продолжал вспоминать Николай Александрович, – отрывал Шестова от всего кругом, от всех окружающих. Вид его был уныылым, просто жалким.

– Это в тебе говорит мировая скорбь иудеев.

– Почему иудеев? При чем тут множественное число? Если я когда-нибудь выражу свое понимание литературы, это будет моя личная ответственность. Не хочу, чтобы другие отвечали за меня... За твоего Маркса тоже отвечают "иудеи"? И спроси Луначарского, кто отвечает за его Спинозу? Что бы ни случилось, ты будешь отвечать за себя, а я, и только я, за себя.

Мы теперь далеко разошлись, но мне ясно, что прав был я, а не Шестов. А что еще дальше будет?"

Совсем как Иванов-Разумник, Бердяев не сомневался в том, что где бы Шестов ни был, он "бодрствует" и, несмотря на свои пятьдесят лет, еще может удивить современников резким поворотом, если не скачком, в своем развитии. И так же, как Иванов-Разумник готов был ожидать "возвращения" Шестова в лоно "скифства", так и Бердяев не исключал возможности обращения Льва Исааковича в христианство. Ни того, ни другого не произошло, но после еще двух почти десятилетий странствий по извилистым путям Лев Исаакович "вернулся" к себе и "обратился" в веру праотцов, как он ее толковал. "Видите! Что я вам говорила!" – воскликнула по этому поводу старая киевлянка Ольга Дмитриевна Форш, очутившись в конце двадцатых годов на короткое время за границей. Однако среди старых друзей Шестова она занимала особое положение. Она всегда и упорно не верила в его неверие.

Два года спустя мне удалось уехать за границу. Шестов в это время жил в Париже. Отца его уже давно не было в живых, но престарелая мать его, брат и сестра, специалист по психоанализу, Фаня Исааковна с мужем Германом Леопольдовичем Ловцким поселились в Берлине. И Лева их ежегодно навещал. Для меня, осевшего в Германии, создалась возможность возобновить связь с Львом Исааковичем. Да и он не прочь был делиться со мной впечатлениями о людях, о времени, прошедшем

со дня его первого знакомства с гейдельбергской "царь-бочкой". В 1923-ем году "его" издательство "Скифы" опубликовало мое исследование "Система свободы Ф.М.Достоевского". Он прочел его по дороге из Берлина в Париж, и хоть "оное одобрил", написал мне все же, что в нем "все еще слишком много Гейдельберга".

Чем же именно хотелось Шестову в этот период заменить "Гейдельберг", равнозначный в его понимании систематической философии и рациональному "добыванию истины" вообще? Надо заметить, что к этому времени в самом Гейдельберге, как и в других немецких университетах, оставалось все меньше и меньше "Гейдельберга" в шестовском смысле. Уже накануне войны 1914–1918-х годов интерес к "интуиции" Бергсона предвещал перемену. Непосредственно после войны Анри Бергсона заслонил Серен Киркегор. Наряду с "философией как строгой наукой" (Э.Гуссерль) заявляла права на академическое внимание "философия жизни" (Lebensphilosophie). В программах философских факультетов появились семинары, не только посвященные Ницше, но и новооткрытому Киркегору и даже Достоевскому. Шестов торжествовал. "Смотрите, – сказал он мне в один из своих приездов в Берлин, – у нас всегда было принято подсмеиваться над немцами, а как поглядишь, они и теперь, когда почва ушла у них из-под ног, не прочь обезьяну выдумать... А у нас что? Какое-то куцее гегельянство".

Однако в Берлин Лев Исаакович приезжал в 20-х годах не для того, чтобы учиться у немцев их "философии жизни", а чтобы провести время с родными, прежде всего с престарелой матерью. Шестову было уже под шестьдесят, а матери за восемьдесят. Почтительность "Левочки" к "маме" была совершенно исключительной. Вообще, вся обстановка обычной шарлоттенбургской меблированной квартиры, в присутствии сребреголовой киевской "дамы" и ее приближающегося к старости сына, странно преображалась. Седая мадам Шварцман не просто сидела в своем кресле, а с величественной матриархальностью, обложенная подушками, восседала в нем. Старший же ее сын, Лев Шестов, прежде чем заговорить, каждый раз как бы просил у нее слова. Видно было, что для него "посидеть с мамой" было значительным событием, и можно без преувеличения сказать, что тот, кто не видел Шестова в этой обстановке, не мог воспринять его загадочности во всех ее измерениях. Лев Шестов –

"без почвы"?! Мало у кого из людей этого разряда был более плотный пласт плодородной почвы в этом их духовном гнезде. И весьма возможно, что потребность утвердить себя как неповторимую индивидуальность, вопреки закону, наперекор закону родового притяжения, определила вначале отталкивание Шестова от всякой почвы, от всего принципиального и первоначального. Смысл этого сверханархизма был, по-видимому, — крайний антиархаизм. А вот с годами, когда опасность не стать самим собой миновала, слух Льва Шестова стал все явственнее улавливать глухую музыку, доносившуюся к нему из неизмеримых глубин "царства матерей". Повторяю, отношение Шестова к матери поражало своим таинственно-религиозным характером. То была не сыновняя любовь, не сохранившееся с детских лет преклонение, не нежность и благодарность, а благоговение, обоготворение, какое-то непроизвольное и непрерывное мифотворчество. Он, правда, продолжал участвовать в том, что происходило вокруг него, но как бы отсутствуя, всецело поглощенный чудесным явлением из другого мира — явлением Матери. Так не относился к своей матери даже Александр Блок.

Когда я впервые оказался в этой обстановке и почувствовал себя не в своей часовне, Лев Исаакович немедленно пересек мою сворачивающую в сторону тропинку, сообщив матери, что гость их читает Библию в оригинале. "А вот, — прибавил он благодушно, — меня не научили!" Я сразу был как бы приобщен. Между матерью Шестова и мною мгновенно установилась дружба, похожая на ту, которая связывала меня с моею собственной бабушкой, а этого-то и нужно было Льву Исааковичу. Он проявил, как уже много раз в прошлом, умную чуткость, происхождение которой не могло вызвать сомнений. Материнская умная чуткость была, очевидно, под стать отцовскому чуткому уму.

Я спросил Льва Исааковича, дошла ли до его матушки знаменитая басня о гусином и курином жире. Шестов развеселился и объяснил матери, что гость хочет передать умное словечко отца, которое передается из уст в уста среди русских писателей, и, обратившись ко мне, прибавил вполголоса: "Не думаю, что это по ее части, но попробуйте — популярно, как можете". Вдовствующая повелительница семейного круга прервала сына на полуслове: "Что, что?! Я не пойму? Если это из свя-

тых книг, да еще вдобавок и объяснить – почему же я не пойму?!"

Хотя басня про два факультета и не была из Священного Писания, а "добавочное объяснение" ее могло бы занять целый вечер, между нами очень быстро установилось взаимное понимание. Прежде всего оказалось, что мать Шестова отлично знала, каким образом домашняя птица спит, и у меня даже возникло подозрение, что благоверный ее, дорогой ее покойник, в этом отношении кое-чему от нее научился. Она знала, что в Танахе (Библии) прямо написано: "Цадик (праведник) живет своей верой", и продолжала уже от себя: "Если есть вера, не нужен никакой жир. Если люди верят – им тепло, а без веры даже две школы вместе не согреют... Исаак, блаженной памяти, был прав: тот молодой человек был и гусь, и курица, – и не гусь, и не курица". Комментарий матери к моему "добавочному объяснению" всех развеселил, а меня озарило – у самого Льва Исааковича с раннего детства были не "две школы", отца и матери, а всего лишь одна – материнская, в которой, разумеется, не переставал учиться всю жизнь и отец его.

Пустились в воспоминания. Между Шестовым и его матерью я был чем-то вроде "третьего для сравнения". Многие намеки матери Шестова на библейские сказания уже не были понятны сыну, а в его рассуждениях о Киркегоре, к которому он в это время подходил вплотную, было немало такого, что становилось доступным матери лишь в переводе на разговорный еврейский язык. Среди много другого я услышал и о том, какое глубокое впечатление произвел на отца Шестова, Исаака Моисеевича Шварцмана, трактат Киркегора о вере праотца Авраама и его готовности принести в жертву Господу своего единственного любимого сына Исаака. Лев Исаакович должен был передать отцу весь текст почти дословно. После долгого раздумья отец Шестова сказал: "Твой новый Раши (сокращенное имя известного еврейского средневекового комментатора) – простой юдофоб... Вот из-за таких у нас в Киеве – дело Бейлиса. Если Авраам может из-за Бога резать сына, своего мальчика, почему же Бейлис не может проливать кровь чужого мальчика, Андрюши Ющинского?" И Лев Исаакович пояснил, что по толкованию его отца весь библейский рассказ об Аврааме и Исааке лишь притча для внушения детям такого же доверия к родителям, какое праотец Авраам проявил к Господу

Богу. "Тем не менее, – прибавил Лев Исаакович, – отец сам явно не был удовлетворен своим толкованием, потому что закончил его своей любимой концовкой – "себе дороже стоит".

Я, конечно, не понял, что значило "себе дороже стоит", и это сразу было замечено вдовствующей председательницей: "Вот сейчас объясним". И что же я узнал? В семье Шестовых с давнего времени, когда дети еще были совсем маленькими, любили решать непосильные задачи: зачем Бог сотворил человека, да и мир вообще? зачем то, зачем другое? Дети прислушивались, а старшие, особенно Лева, иногда и сами проталкивались в гущу разговоров. В таких случаях отец останавливал их обычно насмешливым словом или жестом и очень часто при этом приговаривал: "Не спеши, не прыгай – себе дороже стоит". Тут Лев Исаакович, как в доброе старое время, "протолкнулся" в разговор его матери со мною и, шаловливо подмигивая (иначе не скажешь), дал подробнейшее подстрочное примечание к отцовской теории цен; он был, очевидно, рад задержаться подольше около домашнего источника ранних своих вдохновений и проявил какое-то наивное удовлетворение по поводу родовитости собственной "шестовской" мудрости.

"Постараюсь разъяснить эту теорию вкратце. Деловой опыт научил отца, что годовые балансы убытков и прибылей очень часто обманчивы. Казалось бы, что год закончился удачно, с солидным избытком барышей над потерями, а на самом деле счет включал доход с предприятия, которому суждено было скоро лопнуть и оставить после себя широчайшую течь. Волей-неволей приходилось "спускать" какой-нибудь продукт нового производства по цене, более низкой, чем ее себестоимость. На такой оборот дела, когда нужно разрубить "гордый" узел, как называл гордиев узел отец, хотя бы и со значительным убытком, он смотрел неизменно как на спасительный урок и охотно применял такой урок и в делах духовных. Что толку помещать душевный капитал в распутывание узлов, которые и топором не разрубишь! Раньше или позже все равно придешь к выводу, что себе дороже стоит. Так уж лучше раньше, чем позже. Не могу не сознаться, что чем больше живу на свете, тем чаще повторяю про себя отцовское присловье: "себе дороже стоит".

Мать Льва Исааковича, слушая сына, раскраснелась, упиваясь интонацией, тем тоном умиленной насмешки и простодушного удивления, как бы сросшимся с рассказами из еврей-

ского быта, которым рассказчик, как оказалось, мастерски владел. Мне вспомнились мои беседы о философе Шестове с Ивановым-Разумником в Петербурге и Бердяевым в Москве, а до этого – с самим собою в Гейдельберге, и я тут же подумал: ”Век живи, век учись”. В этот вечер, однако, ”школа” рано закрылась. Вернулись из театра сестра Льва Исааковича с мужем. Мы условились с ними, что будем встречаться и после отъезда Льва Исааковича. ”Ай-ай, – сказала дочери мать, когда я встал, чтобы проститься, – ой-ой, как много ты, Фаничка, пропустила. Лева так замУчательно (через У) рассказывал о папе... Верно, молодой человек?” Она искала у меня поддержки. – ”Совершенно верно”.

”Так скажите же мне, – спросил я несколько недель спустя Фаню Исааковну за тем же чайным столом, – значит ли это, что брат ваш, разоблачивший, если можно так выразиться, самого Толстого, в каком-то смысле приближается к теме его ”Исповеди” и приблизительно в том же возрасте, что и Лев Толстой? Как странно...”

”Ничуть не странно, – отозвалась очень похожая в движениях головы и плеч на Льва Исааковича сестра его, – вы ведь знаете, что я последовательница Зигмунда Фрейда. Представьте себе, стараясь понять произведения Льва Толстого и его самого с психоаналитической точки зрения (я теперь как раз пишу об этом), я обнаружила неожиданно, как много общего в структуре личности Льва Исааковича и Льва Толстого. Брат очень не любит психоанализа, не доверяет этому и смотрит свысока. А это тоже симптом. Как и для Толстого, писательство для нашего Льва было, главным образом, средством утвердить себя как главу семьи. Естественно, что он соперничал с покойным отцом. Отец – Шварцман, так он – Шестов. Фамилия нарочно не еврейская, а русская. Общего только одна начальная буква! Это ничего не значит, что его до сих пор радует услышать похвалу уму отца. Для него это подтверждение того, что он его настоящий наследник, преемник отца, вполне достойный его заместитель. Надо видеть как Лев преображается, когда бессознательно начинает подражать отцу – его жестикуляциям, его интонациям! Ясно, ему доставляет глубокое удовлетворение, что отца уже нет, а если он есть, то только в нем самом, в создавшем себя Льве Шестове – как бы продолжающееся отцеубийство”. Фаня Исааковна говорила быстро, возбужденно, она

раскраснелась, как когда-то ее мать, слушая сына. С жаром, проникнутым искорками ярости, она сводила какие-то старые, очень сложные счеты, ей нужен был слушатель, почти на целое поколение моложе ее, который мог бы когда-нибудь, в будущем, так же "разоблачить" Льва Шестова, как он сам разоблачал по косточкам двух великих писателей. Она сама ни на минуту не сомневалась, что она сестра великого человека, а потому, естественно, и редчайшего невротика. К этому времени у меня уже был накоплен достаточно обширный опыт в подобных откровенных беседах "по душам", и тем не менее меня поразило такое полное отсутствие стеснительности: моя собеседница давала волю чувству раскаленной мстительности совершенно безоглядно. Мне было неловко, и я попытался "заступиться" за Льва Исааковича, точно так, как лет за пятнадцать до этого в Болонье перед Ительсоном. Но точно так же, как Ительсон тогда, так теперь сестра Шестова прервала меня, чуть только я попытался вымолвить слово.

"Ах, оставьте! Я знаю, что вы пристрастны к брату потому, что он пристрастен к вам. Ну подумайте только! Чем он занимается? Всегда невротиками. Уже первая его книга о Шекспире и Брандесе, критике Шекспира, которого я недавно перечитала, есть попытка анализа двух невротиков. То же о Толстом и Ницше! О Достоевском и говорить нечего, а вот теперь он носится со своим Киркегором, вся жизнь которого – непрерывно усиливающийся невроз. Не знаю, известно ли вам, что Георг Брандес дружил с Киркегором. Брандес же открыл Ницше. Вы видите, какая логическая последовательность в работе брата? От Брандеса к Киркегору и, значит, снова к Брандесу. Без психоанализа это была бы сплошная загадка, но в наше время нетрудно увидеть, что, анализируя своих литературных пациентов, Лев пользовался ими как масками, а занят он был все время самим собой, самоанализом. В его работе над собой – предвосхищение психоанализа. Он очень и очень не любит, когда ему об этом говорят, например, когда я заговариваю с ним на эту тему. Меня Лев уже давно считает своим врагом. Почему мой учитель – Зигмунд Фрейд, а не Лев Шестов?! Он не хочет понять, что ему суждено то, что называется бессмертием, именно благодаря фрейдианству, как одному из самых выдающихся предшественников Фрейда. В этом свете, заодно с его творчеством, его личность представляется как живое

целое, со всеми недостатками, слабостями и даже пороками. Впрочем, – спохватилась вдруг Фаня Исааковна, – я говорю и говорю, а вам, может быть, и неинтересно?"

"Очень интересно".

"Видите ли, вы напоминаете мне внешне вашу тетушку Эльяшеву, Эсфирь Захарьевну, которая тоже училась философии в Берне в мое время. Мы иногда часами откровенничали друг с другом. Я уже тогда критиковала брата, а она говорила, что его главный недостаток тот, что он отвергает Канта. Но при чем тут это? Если человек проявляет безграничный нарциссизм, самовлюбленность и в то же время крайне неуверен в себе, чувствует себя окруженным врагами, так тут никакой Кант не поможет. Нужен анализ. Ведь Шестов не мог простить мне того, что я вышла замуж за Германа, для меня была намечена им особая роль. Кроме того, уже тогда он стал проявлять болезненную скупость – вернейший признак серьезного невроза..."

Мне стало совсем не по себе, в уме завертелось: "Не о тебе ли говорится в этой песенке, сестрица?" С подчеркнутой скромностью я стал расспрашивать ее, существует ли уже в литературе психоаналитический разбор, например, скупого рыцаря, Плюшкина или им подобных героев?

"Ради Бога, не отвлекайтесь в сторону! Когда такой человек, как мой брат, располагавший в то время большими средствами, отказал в материальной помощи страшно нуждавшемуся Ремизову (вы можете себе представить, как нелегко было Алексею Михайловичу и Серафиме Павловне просить деньги у брата!), то тут уж нечего раздумывать – это злокачественный нарост на психике! Его вечная неудовлетворенность собственной работой и острое желание снискать одобрение людей, которых сам Лев не очень-то признавал, – что это? Если бы он мог, он поставил бы вопрос о собственном значении на всенародное голосование. Поэтому-то он и соперничает постоянно с каждым, кто уже сдал экзамен на признание. По существу же, конечно, Лев человек необыкновенный, и я надеюсь, что он добьется своего и выйдет на предназначенную ему дорогу".

Ну, слава Богу, наконец-то договорились! – подумал я. Но неужели Фаня Исааковна, в свою очередь, соперничает со Львом Исааковичем? Семейка, нечего сказать! Прямо в роман просится. Минуту спустя, уже в гораздо более спокойном тоне,

не слишком сдержанная сестра "великого человека" продолжала:

"Вы можете подумать, что я в каком-то смысле соперничаю с братом и потому так подчеркиваю значение научного подхода к нему, в данном случае психоаналитического метода, т.е. того, что Льву совершенно чуждо и непонятно. На самом же деле верно как раз обратное. Я жду не дождусь, когда, наконец, "Лев Шестов" постигнет, что он не ученый, не литератор и не философ в современном академическом значении этого слова, а что он представляет собою нечто гораздо более значительное... Откровенно признаюсь, что я, в сущности, не знаю, что такое религия, но и наша мать тоже не знает, хотя вся ее жизненная сила в религии. То же с братом. Ему пора разоблачить самого себя, а он все прячется. Потому-то я и злюсь", – она рассмеялась и, приподняв худощавые плечи, наклонилась ко мне, ну точь-в-точь как ее брат, когда он насильственно преодолевал уныние.

"Просто смешно! Я, как Лева, все говорю вокруг да около, а то, что я хочу сказать, вовсе не так сложно, только надо иметь смелость это высказать".

Она опять с минуту помолчала, а затем с очень серьезным лицом, впиваясь в меня взглядом, сказала: "Мой брат мог бы воскресить в наш век истинную веру, а он... а он..." Голос оборвался, она быстро поднесла к глазам кружевной платочек.

По дороге к себе и еще очень долго у себя дома я перебирал в уме то, чего я наслушался у сестры Шестова. Конечно, ее суждения о брате были предвзятыми. Очевидно, это общая черта всей семьи. Однако же в одном надо было согласиться с Фаней Исааковной, а это была, по всей вероятности, настоящая подоплека несуразной пляски ее чувств: если Лев Шестов – загадка, если увидеть его в полусвете современных сумерек, то соизмерим он лишь с загадками мировыми. Я перебирал и сравнивал отзывы, доходившие до меня в неожиданном виде от людей, хорошо знавших Шестова, начиная с Григория Ительсона и кончая Ивановым-Разумником, Бердяевым, Ремизовым и Ольгой Форш. Ольга Дмитриевна обрушилась однажды с полувосточной страстностью своей на мелочность Льва Исааковича: "Подумать только, и это называется великий мыслитель, великий печальник рода человеческого!" Она не могла простить ему бессердечности, якобы проявленной Шестовым к ее сыну

Диме. "В киевские годы мы таких называли "рыцарями Денежки", а теперь, в эмиграции, он превратился в истинно русского "сантимника". Я не сомневался, что тогда, в 1922-ом году, Ольга Форш искренно была разочарована в Шестове и что именно поэтому она, может быть, так страстно была придирчива. Возможно, что и обида родной сестры Шестова, сводившей счеты с братом, основана на той же почве и отождествляется с обидой четы Ремизовых? Не кроется ли во всем этом нечто антимужское? "Ага! – продолжал я рассуждать сам с собой, – провел вечер в кулуарах Фрейда и сразу заразился фрейдианством!" Но тут меня осенило... Я нашел ключ, который впоследствии всегда оставался у меня под рукой.

Я думал, что не случайно две женщины так глубоко задеты действительными или воображаемыми слабостями Льва Шестова. И подкладка тут, пожалуй, женская. Конечно, это только подтверждает особое чутье, особую женскую восприимчивость по отношению к целостности человеческой личности. Совершенство для женщин не только идеал, но и реальное восприятие того, что могло бы осуществиться. Они, женщины, больше в потенции, чем в действии и действительности. Вот почему им так трудно примириться с проявлением неопределенного несовершенства. Для Разумника Васильевича Шестов – законный владелец почетного места в книжном шкафу, интересный экспонат на всемирной выставке русской литературы, а в каком переплете, в каком сплетении человеческих черт он подан потомству, – вопрос неинтересный и почти неуместный. Так же точно и для Бердяева все "человеческое, слишком человеческое" остается в "русском Ницше" за изгородью кладбища идей; на нем, на кладбище этом, останется надгробный камень с им, Бердяевым, сочиненной эпитафией. Чего же больше? Иное дело родная сестра; иное дело Ольга Форш, которая, чувствуя тягу к кому-либо в особенности, не задумывалась признаться вслух в своей "братской любви". Шестова Ольга Форш когда-то, как-то по-своему очень любила. И его неприятие на скошенных полях разочарования, естественно, торчит острым укором: сколько было раньше теплоты и восторженного признания, столько градусов жгучего колючего мороза осталось после разочарования в отвергнутом идеале. Из всего этого как будто следует, что, по существу, на Шестова невозможно было не возлагать какие-то необыкновенные надеж-

ды, что в сути его было нечто сродни, ну скажем, к примеру, – Блоку, который кончил, и так рано кончил, отчаянием и разочарованием в самом себе.

Шестов и Блок – какое неожиданное сопоставление, – продолжал я спорить с собою уже после того, как выключил свет, – не годится это: ни как сопоставление, ни как противопоставление. Разве что обоих включить в исключительно широкую картину человеческих судеб, в свете красок которой нет ни эллина, ни иудея. И не в том ли дело, что Шестов не пародия, а анахронизм? Эта, еще не совсем ясная для меня формула усыпила меня как снотворное.

В последующие годы, почти до самой катастрофы в Германии в 33-ем году, я продолжал присматриваться, задумываться, расспрашивать о Шестове и близких его и самого Льва Исааковича. Очень помогло мне в это время недоразумение, в котором я сам был повинен. В конце двадцатых и начале тридцатых годов Шестов, наезжая из Парижа в Берлин, останавливался в Тиргартене, в вилле почитателя своего, известного специалиста по психоанализу, доктора М.Т.Эйтингона, тоже киевлянина. Как и в революционном Петербурге, друзья Шестова предполагали, что он с ними, с их идеей "духовной революции". В веймарской Германии не только сестра Льва Исааковича, но и ряд литературоведов, выходцев из России, связанных с журналом "Imago", специализирующимся по психоанализу, твердо решили, что умонастроения Шестова тесно соприкасаются с учением Фрейда. "Оба они, Фрейд и Шестов, – любил повторять один из молодых членов этого кружка, – срывают с нашей цивилизации все ту же маску, маску лжи и лицемерия. Только Фрейд это делает как ученый, а Шестов – как вдохновенный поэт". Приезды Шестова в Берлин давали поэтому доктору Эйтингону желанный повод собирать у себя, наряду с людьми собственной школы, также и эмигрантскую интеллигенцию из разных стран. Иногда хозяйке этого "психоаналитического" салона Надежде Эйтингон удавалось склонить Шестова прочесть гостям "что-либо из своего". В тот вечер, о котором идет речь, среди гостей нежданно-негаданно оказалась прославленная русская певица Надежда Васильевна Плевицкая, сопровождаемая генералом Скоблиным и прочей свитой. Она еще не завершила своего пышного цветения и, заигрывая то с тем, то с другим из

своих поклонников, не пропустила и Льва Шестова. Остановившись в середине обширной гостиной против кресла Шестова, она низко, в пояс, поклонилась ему и то ли сказала, то ли пропела в истинно народном стиле: "Мудрейшему из мудрых, Исаакию Львовичу (!) Шестову – честь и слава!" Ее прекрасный, полный голос прозвенел и замер, и... и всем, или так, по крайней мере, мне показалось, стало стыдно. А Шестову?..

Шестов смутился, как мальчик. Он привстал и снова сел в почетное свое кресло, замахал длинными руками, коричневыми пальцами вытащил из кармана скомканный платок и ответил не то на прославление Плевицкой, не то на предложение хозяйки "прочесть что-либо из своего": "Хорошо, – сказал он, – я сейчас принесу что-нибудь сверху". Послышались вздохи облегчения. Неловкость рассеялась. А сильно нарумяненная певица, "руки в боки", оглядывала всех победоносным взглядом.

Мне стало очень обидно. Лев Шестов! Какая-то балаганная фигура для ублажения Бог знает какого калибра публики! Мне это показалось нестерпимым издевательством. "Скажите, Петр Петрович, – повернулся я к сидевшему рядом Сувчинскому, – кто режиссер этой непристойной сценки? Неужели сама Плевицкая?" – "Ах, – взволновался грузный поклонник и приятель Надежды Васильевны, – ее не троньте, она неповторима в каждой своей интонации. Подумать только! Шестов и Плевицкая – да это просто в историю просится!.."

"Ну и попали же мы в историю", – раздражительно и сердито скаламбурил я про себя, не поднимая глаз на вернувшегося со свертком листков в руках Шестова. На него-то я больше всего и сердился. Как это он так легко может опуститься до уровня салонной "приманки"! "Непременно, – старался я утихомирить самого себя, – выскажу все это ему при случае". Случай подвернулся скорее, чем я мог ожидать.

В гостиную внесли небольшой стол, покрытый скатертью, поставили с двух сторон свечи и засадили за него не "Исаакия Львовича", конечно, а Льва Исааковича. Покуда публика передвигала кресла и стулья поближе к "кафедре", Шестов разложил перед собою свои листки (почтовой бумаги, как мне показалось) и стал подбирать и складывать их в каком-то своем особом порядке. Все еще сердясь и возмущаясь, я насторожился и стал слушать.

Первый отрывок (афоризм!) был озаглавлен, как сооб-

щил глухим замогильным голосом явно сконфуженный чтец, "Философ из Милета и фригийская пастушка". Усевшаяся неподалеку Плевицкая не могла удержаться и с напевным шепотом снова как бы низко поклонилась Шестову: "Ах, как хорошо, ха-а-ра-а-шо!" Это ее восклицание меня снова больно кольнуло, и я бросил на Сувчинского не взгляд, а молнию. А Шестов начал читать.

Суть афоризма состояла в том, что о Фалесе из Милета рассказывали, будто голова его всегда была занята возвышенными мыслями, которые не давали ему замечать то, чем занимались обыкновенные люди, что происходило вокруг него. Взоры его всегда были обращены вверх, к звездам. Так, однажды вечером, прогуливаясь в окрестностях родного Милета, прародитель досократовской метафизики, привыкший пренебрегать тем, что у него под ногами, не заметил, как подошел к самому краю глубокой цистерны, оступился и грохнулся в воду. Тихий вечер огласился звонким смехом. То была молодая фригийская девушка-пастушка, гнавшая коз с пастбища в город. "Спрашивается, – закончил свою первую притчу Шестов, – кто же прав? Мудрец, не смотревший себе под ноги, или фригийская девушка, которой Фалес своей нарочитой слепотой дал повод звонко рассмеяться? История философии считает, что прав был Фалес; весьма возможно, однако, что мудрее мудреца из Милета оказалась смешливая пастушка, гнавшая на ночлег милетских коз".

"Ах, как замечательно! Как прекрасно!" – хлопала в ладоши восторженно, как маленькая, Плевицкая. Другие гости, специалисты по психоанализу и несогласные с ними приверженцы всякого рода синтезов, бормотали что-то про себя или на ухо ближайшего соседа. Но в обшем-то гул голосов звучал одобрительно и уважительно. Хозяйка сияла, и даже немка-горничная обносила гостей пирожками, горделиво закинув голову с белой наколкой. Я окончательно рассердился. Как не раз до того и после, мне стало мерещиться, что все это дурной сон, в который я закинут по собственной непростительной неразборчивости. А Шестов продолжал читать.

От эллинов он перешел к иудеям, от досократовских философов к еврейским пророкам. Выходило, что Библию надо понимать дословно, что неразумно считать рассказы о чудесах – суеверием. Во всем этом были отзвуки первого афоризма:

еще неизвестно, не окажется ли мудрость современной науки камнем преткновения на самом краю цистерны с живой водой. То-то будет смеху! Я рассеянно слушал и настойчиво внушал себе: "Надо объясниться..." Шестов, между тем, перекладывал листки справа налево, и когда они все оказались там в полном сборе, протянул правую ладонь с растопыренными пальцами в сторону слушателей, как бы внушая, что больше ничего не осталось, сами видите, пусто... Со всех сторон – возгласы одобрения. А сквозь шум и гул снова прокатился – в который раз! – круглый сочный голос Плевицкой: "Леонтий Исаакович, браво, бра-аво!" Хозяин предложил побеседовать. Воцарилось, как говорится, мертвое молчание. Переглядывались, улыбались. Может быть, не догадывались, о чем тут говорить, о чем тут вообще говорилось?! "Можно мне задать вопрос Льву Исааковичу?" – спросил я доктора Эйтингона. "Ах, какой храбрый", – ужаснулась Надежда Васильевна.

Мой вопрос состоял в том, правильно ли мое впечатление, что Лев Шестов как бы на стороне и заодно с насмешницей, простодушной пастушкой и против мудрствующего, заглядывающегося на звезды чудака Фалеса? Однако если предпочесть здравый смысл метафизическому умозрению, то надо вспомнить и то, что "смеется тот, кто смеется последним". И разве отзвук смеха эллинской девушки дошел бы до нас и до Льва Исааковича, если бы ее смех был "последним", если бы за ним не последовала эллинская философия, ведущая свою родословную от Фалеса из Милета? А как это случилось? Погруженный в думы о единой сущности всех вещей, об их "*αρχη*", Фалес споткнулся, упал в воду и, не отвлекаясь даже в столь жалком положении от своей высокой мысли, тут же открыл, что вода и есть та искомая первоначальная, изначальная сущность. Кто знает, не разразился ли он сам, на дне своего колодца, радостным смехом по поводу своей неожиданной находки? Как бы там ни было, находка его стала первым звеном дальнейшей цепи подобных же догадок о единстве всего сущего, и смешное, на первый взгляд, приключение его, быть может, указывает на то, что если у человечества в целом нет счастья в поисках философской истины, то помогают ему несчастья отдельных рассеянных философов. Над кем же мы смеемся?

Мой "вопрос" вызвал крупнейшее недоразумение. Лев Исаакович подумал, что я издеваюсь, что я сам смеюсь над ним,

тем более, что публика, в большинстве своем, сочувствовала явно мне, и даже Плевицкая громко сказала: "Ишь ты, такой молодой, а как он это ловко повернул!" (Было же мне тогда не под двадцать, как в свое время в Гейдельберге, а под сорок). Льву Исааковичу показалось, что я ни с того, ни с сего стал ему врагом, что я мщу ему за что-то. На вопрос мой он ответил, но как!.. С дрожью в голосе Шестов сказал, что я, очевидно, не понял его мысли и отождествил его с расхохотавшейся молодой девушкой. "Что же? Это даже лестно, – пошутил он с кривой усмешкой, – но, к сожалению, это ни на чем не основано". Шестов против Фалеса и его находки, но вовсе не за беспечное веселье или за безответственное остроумие, "чему мы все тут были свидетелями". Одним словом, мне досталось... Но я был рад этому, потому что теперь-то я смогу, наконец, выговориться. "Могу я вас завтра повидать, как было условлено?" – спросил я его. Он пожал плечами: "Ну да, конечно, как было условлено". Так началась третья фаза в наших отношениях с Шестовым, которая продолжается и по сей день, несмотря на то, что Шестов давно скончался. Первая – начавшаяся в Гейдельберге, закончилась в Берлине. Вторая – берлинская фаза.

Я пришел в виллу Эйтингона на Hitzigstrasse, как было накануне условлено. "Фригийское недоразумение", как стал я называть вчерашнее происшествие уже в тот же вечер в разговоре с Плевицкой, надо было во что бы то ни стало вырвать с корнем. "И за что вы так обидели нашего высокоуважаемого Льва Абрамовича?" – допрашивала меня Плевицкая уже у самого крыльца эйтингоновской виллы. Но, конечно, ничего подобного не было. Было искажение истины наподобие того, как искажалось имя и отчество Льва Исааковича в небрежном жонглировании им нашей избалованной певицей. Однако впечатление было создано, и, значит, надо было за это отвечать!

"Лев Исаакович, – начал я, как только нам подали чай в его комнату на следующий день, – я чувствую себя виноватым, но не совсем..." – "Ах, бросьте, не стоит! Вижу, что недоразумение". – "Нет, Лев Исаакович, не совсем", – и я стал объясняться. Я объяснил ему, какую эволюцию я проделал в течение двадцати лет нашего знакомства и в моем отношении к философии вообще, и к мыслителю Льву Шестову в частности. Охваченный горячим желанием прорваться сквозь все преграды,

стоящие между человеком и человеком, и выражая тем самым свое исключительное доверие к проницательности Льва Исааковича, я, не щадя ни себя, ни его, начертил перед ним сложную кривую моих оценок и переоценок, повернувшую резко вниз именно вчера, когда "царица" славянского хора поклонилась ему в пояс. Я пояснил, что именно она отождествилась в моем восприятии с "фригийской красоткой", высмеивающей поиски начал и концов, а барахтающимся в цистерне мудрецом оказался он сам – Лев Шестов, – предпочитающий хоровой смех, посмешище на миру, всемирному безмолвию и остракизму. "Так вот и выходит, что вы, Лев Исаакович, смеетесь публично над самим собой, и мне захотелось, страстно захотелось, простите дерзновенную мысль, защитить Льва Шестова от самого себя!"

Лев Шестов сразу присоединился ко мне или, точнее, сразу присоединил меня к себе. Покуда я "обличал" его, он с некоторым беспокойством присматривался ко мне, т.е. к ходу моей мысли. Но когда я поставил непритязательную, спокойную точку, он собрал свои длинные пальцы в две чаши весов и, поводя то одной, то другой рукой сверху вниз и снизу вверх, решительно нагнулся в мою сторону: "Простите, обо мне – это неважно, но вы делаете большую ошибку, очень большую ошибку... Слишком долго взвешиваете, добиваетесь наивысшей точности, а это как раз то, что никогда в точку не попадает. Надо как-то иначе, скажем, как древние пророки Израиля или, если хотите, как мой покойный отец. Люди как люди, со всеми своими человеческими слабостями, с обыденными интересами, материальными, профессиональными, одним словом – примитивными, первоначальными, – и вдруг грянет слово, как гром, мысль сверкнет, как молния... Как у Пушкина: "Глаголом жечь сердца людей". А это ведь неважно: Плевицкая ли, Шаляпин, собственная ли моя сестра..."

Я насторожился и стал напряженно вслушиваться. Неужели, как уже не раз случалось, я услышу не только одну, но и другую сторону семейных недоразумений? Лев Исаакович заметил, покосился на меня из глубины своего кресла и продолжал: "По-вашему, жажда признания – чувство низменное, истина моя сама за себя постоит! А мой жизненный опыт, да и всеобщий, учит, что истина есть самое хрупкое создание на нашей планете. Того и гляди – разлетится на мелкие осколки. Значит, надо за нее заступаться, даже если это и унизительно... Да, в од-

ном вы правы, писательство – промысел низкий, но когда оно служит истине, стоит и с толпой смешаться. А вы вот все гейдельбергской точности добиваетесь... Вычисление бесконечо малых... Категорический императив... Чтобы ризы без единого пятнышка! Я ведь вас помню молодым студентом – каким были, таким и остались. Это у вас прирожденный ритуализм – кошерная пища: чтобы мясо было обескровлено и посолено и чтобы, не дай Бог, не попала в мясной суп капля молока... Как хотите, но будь вы моим сыном (а ведь по возрасту могли бы быть!), я бы столкнул вас со стези праведной. Но что говорить! Теперь уж, вероятно, поздно, да и я сам уже не советник самому себе. Вот, к примеру, Палестина..."

Чуть ли не четыре десятилетия прошли с того дня "чашки чая" – чашки, так сказать, мира и понимания между нами, но и теперь, каждый раз, когда внимание мое обращается туда, в ту комнату с раскрытым окном в пустующий сад, я ясно вижу в зеркале оконного стекла округленные серо-синие глаза Льва Исааковича, с их устремленным на меня ласковым, приглядывающимся взглядом: "Да, Палестина... Вот посоветуйте, ехать или не ехать? Меня усиленно приглашают – лекционное турне и тому подобное. Гонорар совсем незначительный, да еще предупреждают, чтобы я запасся собственным костюмом для официальных приемов. Для меня просто лишний расход. Пишет мне церемониймейстер английских властей. Пишет по-русски, но совсем как иностранец. Может быть, вы знаете, кто это? Фамилия – Гордон. Иошуа Гордон, так и подписывается".

Я рассмеялся: "Как не знать?" И тут же дал Шестову послужной список палестинского "шефа протокола", отпрыска хасидской семьи из Ковно и моего сотоварища по Гейдельбергу, учившегося театральному искусству у знаменитого берлинского режиссера Макса Рейнгардта и ставшего впоследствии, во время войны 1914-го года, директором еврейского театра в Нью-Йорке.

"Вот видите, – прервал меня заулыбавшийся Лев Исаакович, – опять театр. Без Плевицкой, очевидно, не обойдешься. Приятель ваш очень меня торопит и просит телеграфировать, да или нет. Опять лишний расход. Вы на моем месте, пожалуй, дали бы телеграмму, что за неимением смокинга не смогу приехать, а? А я вот, не знаю".

Лицо его стало серьезным, озабоченным. Я воспользовал-

ся стечением обстоятельств, чтобы высказаться до конца. В неосознанном стремлении подвести общий итог всего, чем был и стал для меня в течение двадцати лет Шестов, я сжал свой "совет" в формулы, извлеченные из шестовской же алгебры. Наконец-то я как будто постиг ее и уже не сомневался, что и я, в свою очередь, не буду понят превратно. И мне, и Льву Исааковичу было не до шуток. "Палестина для вас, как и для меня, – начал я слегка волнуясь, – Святая Земля". Он утвердительно кивнул головой. "Двадцать лет тому назад, – продолжал я, – вы чувствовали иначе. Тогда вам казалось, что, почитая домашних пенатов, вы заслужили право не считаться с назойливыми превратностями народной судьбы". Лев Исаакович никак не отозвался, лишь несколько брезгливо повел плечом. Я разошелся: "Вы добивались славы, сначала всероссийской, а затем и всемирной, под псевдонимом". – "Говорите, говорите", – торопил меня, приподняв плечи, Лев Исаакович. "Но псевдоним – есть, простите, синоним, – вставил я торопясь, – синоним предательства собственного имени. Вы за ценой не стояли и прославились даже здесь в Германии, став твердою ногою около Гете и Шиллера в веймарском архиве имени Ницше. И все это, скрывая иудея под покровом эллина".

"Ну, это положим... – прервал меня Лев Исаакович, и на коричневом от загара лице его появились багровые пятна, – всем было известно, что я..." – "Нет, нет, – не дал я ему договорить, – очень немногим. И чем больше ширилась слава Шестова, тем меньше становилось тех, для которых еврейское происхождение Льва Шестова не было секретом. Правда, эти посвященные были людьми большей частью недюжинными. Знал об этом Максим Горький, а от него Лев Толстой. Знал Бердяев, Брюсов, Иванов-Разумник, знали Мережковские, Ольга Форш, Алексей Ремизов. Но ведь они-то и разоблачали вас, простите, в собственном вашем сознании. Иудей! Иудей! – твердили они все как бы хором. Уважение к вам, а у многих из них и любовь от этого ничуть не убавлялись. А у кое-кого, у Бердяева, например, даже наоборот. Но для всех них присутствие "Черного человека" (Шварцмана) в Льве Шестове имело решающее значение в оценке вашего, Лев Исаакович, мировоззрения. Вот только Александр Блок, в разговоре со мною с глазу на глаз, огульно осуждая евреев в русской литературе, мимоходом задал мне недоброжелательный вопрос о вас лично, в связи с ва-

шим литературным псевдонимом:

– И почему они все стесняются и скрывают свое еврейство? Почему, например, Шестов, а не Шварцман?

А когда я в его же тоне спросил, почему же Горький, а не Пешков, или Белый, а не Бугаев, Блок покачал головой:

– Ну это совсем другое. Нечто похожее на Жорж Занд!"

Лев Исаакович в недоумении поднял оба плеча сразу, приподнял локти над ручками кресла и воскликнул с огорчением: "Ах, эти романтики, от их надзвездного эфира водкой пахнет. И притом какие нежности – Жорж Занд! Женщине можно, а еврею нельзя! Нет, так мы никогда не доедем до Палестины". – "Наоборот, именно так непременно и доедем! – сказал я твердо. – Дело не в Блоке и не в Бердяеве, а в том, что воображаемая парабола ваших странствий смыкается в замкнутый эллипс. Вы пустились в путь, чтобы не возвращаться, но путь ваш был предначертан, и вы чувствуете себя обманутым. После вашего путешествия в Иерусалим он станет вам столь же родным, как и Рим, и Афины. Эту нашу беседу я непременно хочу записать в назидание потомству, но опубликована она будет только после смерти, моей, разумеется. Потому-то я и разговариваю с вами так смело, даже, может быть, дерзко. В загробном мире все возрасты равнозначны. И я уверен, что вы на меня не сердитесь".

"Что вы, что вы!" – чуть ли не вскипел Лев Исаакович и, перегнувшись через чайный стол в мою сторону, схватил меня за плечо и сжал его с такой силой, что мне показалось, что что-то хрустнуло слегка.

Постучали в дверь. Горничная должна была доложить хозяйке, останется ли гость к обеду. "Найн, найн, – как-то засуетился, не совсем справляясь с немецким языком, Шестов, – вир бальд цу-ендэ" (скоро, мол, кончим). "Ихь аух шпетер комэ". Ему действительно хотелось выговориться до конца. Я замолчал.

"Поймите... Между прочим, я отказался за вас от обеда, чтобы все это не закончилось опять новым скетчем из театра миниатюр, хотя Надя Эйтингон могла бы дать вам и то, что вам можно есть. Ох уж эти мне специалисты по психоанализу! Помните, Смердяков у Достоевского говорит, что про неправду все написано... Даже сестра моя всегда требовала от меня, чтобы я разанализировался, разоблачился. Наверное, и вам ус-

пела сказать. Они все от меня ждут, чтобы я совершил нечто сверхчеловеческое. Сестре, например, хочется, чтобы я превзошел самого Зигмунда Фрейда, чтобы я сманил Господа Бога на нашу грешную землю. А я вот ни за что не хотел кончить, как Ницше, т.е. провозгласить себя "распятым" и засесть в доме для умалишенных. Да! Я против преклонения перед общей меркой и здравым смыслом, но во имя чего-то более глубокого, широкого и высокого, во имя, как говорится, Истины с большой буквы. Если удастся дожить, поставлю все точки над "i", и прежде всего над прописным "И", иже есть от Иерусалима... Так значит, по-вашему – ехать?" – "Конечно, ехать, во всяком случае, это вашему доброму имени не только не повредит, но со временем придаст ему больше весу. Лет десять тому назад я позволил себе сказать нечто подобное Акиму Львовичу Волынскому, настоящая фамилия которого, как вы знаете, Флексер. (Кстати, ему-то больше, чем кому бы то ни было, Блок не мог простить "княжеского" псевдонима)".

"Разумеется, – лукаво усмехнувшись, обронил сквозь зубы Лев Исаакович, – очень полезно иметь плацкарту на место в поезде дальнего, очень дальнего следования. Но это, между прочим, не столько против "циника" и крипто-иудея Волынского, сколько за "юдофоба" Блока. Это, конечно, тема особая и, может быть, еще удастся как-нибудь отдать отчет и об этом. Сейчас же мне надо спуститься к обеду, а у меня еще остался интересный ребус для вас".

Я встал, встал и Лев Исаакович. "Скажите, сколько я ни бьюсь, я никак не могу найти объяснения для вашего псевдонима". – "А, – воскликнул, неожиданно подмигнув, Лев Исаакович, – и не пытайтесь. Еще никому не удалось. А это – суффикс... С примесью каббалы... Знаете, юнош-еств-о, излиш-еств-о, монаш-еств-о, патриарш-еств-о, торгаш-еств-о и т.д. Представьте себе, что я выдумал это, когда еще был в гимназии. Как все тогда, я ненавидел "торгашество" (отец, знаете, был крупный торговец – торгаш). Если стану писателем, а я непременно хотел прославиться как писатель, я отделаюсь, решил я, от отцовской фамилии и оставлю в своем псевдониме одну лишь начальную букву "Ш". От отцовского же рода занятий отрублю голову – "торг", и останется одно свободное "шество", сродни шествию; шествовать, к тому же, в общем-то в обратном от отцовского направлении. И получите что? Шес-

тов, если переставите две последние буквы!" Мы оба рассмеялись, как ученики младших классов, а я невольно подумал: "Неужели и теперь все это одни лишь словесная докука и балагурство? Ребусы на каламбурах?" "Действительно, каббалистика", – сказал я вслух. "Погодите, – остановил меня Шестов, – каббала в моем двусложном псевдониме открылась мне значительно позже. Намекну на прощание: мой псевдоним как трехцветный флаг. Три языка в одном слове Ш-ест-ов. "Ш" – заглавная буква немецкого Шварцмана (черного человека). "Ест" – est – есть. А "ов" – кому как не вам лучше знать – древнееврейский патриарх, родоначальник. А шарада в целом: "Ш", т.е. Шварцман Второй, есть Патриарх!" – "Позвольте, – вскочил я в изумлении, – так ведь это слово в слово то, что сестра ваша мне наговорила о вас. Вы вздумали занять место отца, чтобы стать родоначальником, а вся ваша литературная работа под знаменем Шестова раскрыла перед вами ваше истинное призвание. Не так ли? Лев Исаакович, так значит, все они, на самом деле, правы, и Бердяев, и Разумник, и даже Блок".

"Об этом надо будет еще поговорить, – сказал Лев Исаакович, положив крепко руку мне на плечо, – сейчас я хочу только, чтобы до поры до времени шарада эта оставалась под замком. Пообещайте мне (он протянул мне руку, которую я крепко пожал), что никому не расскажете. После моей смерти пусть говорят и пишут, кому что угодно. Но ни за что не хочу прослыть сумасшедшим при жизни".

Это была моя последняя беседа с Шестовым с глазу на глаз. Не знаю, стала ли известной на каком-либо из языков, на которых по сей день читают Шестова и пишут о нем, тайна его литературного имени. Я сдержал слово и записываю это почти тридцать лет спустя после его кончины. В свое время мне многое хотелось проверить и лучше уяснить себе, но переворот в Германии и надвигавшаяся война создавали между мной и Шестовым непреодолимое расстояние. В середине 30-х годов я мельком видел Льва Исааковича и лишь на людях. В одну из этих мимолетных встреч на бульваре Сен-Жермен он остановился, высокий, сутулый, иссохший, и так, стоя у края тротуара, наскоро передал мне содержание разговора своего с Эдмундом Гуссерлем, к которому он за годы до того специально заехал во Фрейбург. Возможно, что я одним своим видом напоминал ему его посещение Риккерта, предшественника Гуссерля на

фрейбургской кафедре философии, когда затевалось немецко-русское сотрудничество в философии культуры под знаком античного "Логоса". Очевидно, эллипс жизненного круговращения Шестова действительно замыкался. Событиями в Германии он был взволнован до крайности и остановил меня на улице, точно привлекая к ответственности: "А я вам хочу сказать, – заговорил Шестов быстро-быстро, едва поздоровавшись, – что все это давно можно было предвидеть. Ваш Гейдельберг с его царем-бочкой или Фрейбург, откуда я к вам тогда заехал... Подумать только, какие шарады жизнь разрисовывает! Все вина – в одну бочку! И это называется "философия как строгая наука"! Я Гуссерлю эту его формулу никогда не прощу. Нарочно заехал, чтобы объясниться. Вот так же, как мы с вами объяснились перед моей поездкой в Палестину, помните? Я Гуссерлю так просто и отрезал: "что еврею здорово – немцу смерть", переделал нашу старую русскую поговорку. "Строгая наука"! Да пусть она, философия, будет наукой милосердной, да хоть бы и не наукой вовсе, а искусством, песней, псалмом... Так он, Гуссерль, мне и договорить не дал:

– Причем тут евреи? – строго (у него все строго) спросил он меня, грозно приподняв брови, – я не еврей, а немец, так же как и вы не еврей, а русский.

– Ну, знаете – я очень взволновался, херр профессор. Вы – не еврей?!

– О, – произнес он этак надменно, – что касается меня, то я уже давно вышел из еврейской общины.

А я ему в ответ, что касается меня, то как был русским евреем, так им и остался. На этом разговор и оборвался. Я почувствовал, что теряю к нему уважение. Как говорил отец: "Себе дороже стоит". Вы ведь правильно ответили Карсавину в наших "Верстах": "Больше ли русский еврей – еврей или русский, зависит от того, с какой стороны смотреть..." Ну, прощайте, однако. Я тороплюсь. Это хорошо, что нам удастся как-то заключить хотя бы одну нашу беседу. Сколько лет она у нас тянется?"

"Двадцать пять".

"Вот видите". Он покачал головой и крупными шагами направился к метро.

Эту многолетнюю беседу с Шестовым я действительно почти закончил, но ряд других подобных диалогов тянется и по

сей день, перекидываясь иногда и в ночные сны. Дарованное ему при рождении перо его подчинялось какому-то ему самому неведомому сверхличному руководству. С кем только он ни сближался!? Как пушкинское эхо, он внимал и ницшеанцам, "певшим за холмом" свои дифирамбы, и исконно российским "скифам", и ценителям гнутой венской мысли из школы Фрейда, и, наконец, евразийцам. Но все эти споспешествовавшие его приятию и признанию течения пробивались (ведь не по щучьему же велению), и каждое проявлялось как бы в предназначенном согласии с достигнутой им лично стадией развития. Евразийство конца 20-х годов пришлось особенно кстати, когда он осознал в себе эллинско-иудейское двуединство. Тогда именно я написал в ответ Льву Платоновичу Карсавину, одному из столпов евразийства, что евреи естественные евразийцы: европейцы в Азии, а в Европе – азиаты. Иными словами, волны времени влекли Шестова, независимо от его воли, к каким-то предначертанным берегам. К каким? Если бы это можно было разгадать, мы смогли бы, пожалуй, лучше разобраться в исторической карте нынешнего вселенского Эона. Две встречи в последние пятнадцать лет заставили меня еще раз проверить значение Льва Шестова. Одна с его последователем в Южной Америке, другая – в Швейцарии. Дадим же им заключительное слово.

В середине 1953-его года я оказался в Монтевидео. В гостиницу ко мне неожиданно зашел давно переселившийся в столицу Уругвая соотечественник и, пристально вглядываясь в меня, огорошил вопросом: "Вы лично встречали Ше́стова?!" Неправильное ударение на первом слоге фамилии помешало мне сначала сообразить, о ком шла речь, но посетитель мой тут же пояснил: "Ну, Лев Ше́стов! Великий русско-еврейский мыслитель. Верно это? Вам суждено было знать его лично?!" Не могло больше оставаться сомнений, что речь шла о Льве Исааковиче, и что передо мной его, заброшенный в этакую дикую даль, поклонник. Поклонник, – как скоро оказалось, – в самом буквальном смысле этого слова. Он не преклонялся перед покойным Шестовым, а просто поклонялся духу его так, как поклонялись древние греки античным божествам своим. Из книги Я.Бромберга "Россия и евреи", попавшей ему в руки случайно, он узнал о литературной связи между Шестовым и мною, и с появлением моим в Монтевидео осуществилась его давниш-

няя мечта увидеть воочию кого-либо из сподобившихся приобщиться к земному лику отошедшего Учителя. Вспоминая свой первый и последующие разговоры с уругвайским "апостолом" Льва Шестова, я не могу не воспроизвести дословно его странный способ выражаться. Я столкнулся с настоящим богословием, подражательным, но все же внушенным традиционными еврейскими и христианскими первоисточниками. Все писания Шестова стали для этого человека Писанием с прописной буквы и, в некотором смысле, даже Священным Писанием. Но в чем же дело? Почему? Помешавшийся? А хоть бы и так. Значит, не столь уж опрометчиво судила сестра Льва Исааковича, когда видела в нем задатки родоначальника возрожденной веры. Да и сам он разве не считал себя "патриархом" нового рода? Мне очень хотелось нащупать, в чем же именно открыл апостол Шестова его сокровенную правду. И когда апостольское доверие укрепилось, я поставил этот свой вопрос ребром.

"Как?! – удивился апостол. – Неужели, соприкасаясь с живым Шестовым, вам не бросилось в глаза самое главное! Шестову было дано откровение, что нет малых и великих людей, что перед ликом Господним все равны. Моисей этому учил. Иисус из Назарета воскресил это учение. Но только Шестов по-настоящему показал в наше извращенное время, что это значит, назло Спинозе, Марксу и Фрейду... Хотите прийти к нам на заседание кружка и услышать, как мы толкуем? У нас все по-испански, но если захотите, мы переведем. Имейте только в виду, что общество наше, пока не наступили времена и сроки, – тайное и закрытое. Мы ни за что не хотим погубить великое дело Учителя, объединение всего рода человеческого под знаком Боготворчества! не дай Господь! Ведь так легко это сделать. Мы не хотим прослыть сумасшедшими от рождения".

"Не хотим прослыть сумасшедшими", – слова эти врезались в сознание, как раскаленная игла. Где я их уже слышал? Ну, конечно! От самого Льва Исааковича в Берлине в двусторонней исповеди после случая с фригийской пастушкой. Как поразительно! Вместе с писаниями Шестова распространяются в мире его затаенные страхи и посягновения. Наперекор своему противоборству, одиночка – ни эллин, ни иудей, – становится где-то, за тридевять земель от родного своего Киева, основоположником какой-то новой русско-еврейской секты. Поистине, чудеса! Весь земной путь Шестова простирался как бы по на-

перед продуманному расписанию, и само расписание это стало одной из страничек объемистого путеводителя для трех или даже четырех поколений моих современников.

Естественно, что в таком настроении я предпочел не вводить "учеников" Шестова в соблазны, не говорить им о нем, как об одном из весьма своеобразных и замечательных, но все же типичных явлений нашего духовного безвременья и вообще не вмешиваться не в свое дело. Я уже знал, что Шестов более значителен как писатель и стилист, чем как мыслитель, и больше выдающийся человек, нежели стилист и писатель. Другая встреча, еще десять лет спустя, с представителем младшего поколения шестовианцев окончательно утвердила меня в итоге моих итогов.

Эта, другая, встреча состоялась в предгорье швейцарских Альп. Близким моим соседом по гостинице был молодой бельгиец с приятной улыбкой и несколько водянистыми глазами, которые он и за завтраком не спускал со страниц какого-то толстого тома. "Сосватал" нас Достоевский. Мой сосед заметил, что я в читальном зале погрузился в газетный обзор советской литературы о Карамазовых. Газета была немецкая. "Простите, – обратился ко мне молодой человек по-немецки, – можно вас попросить передать мне сегодняшний номер, когда вы его закончите читать. Я не успел дочитать статью о Достоевском". – "А вы им интересуетесь?" – невольно спросил я его. "Не Достоевским специально, но русской литературой вообще". Так сосед стал моим собеседником. В тот же вечер, коснувшись в беседе того и другого, я спросил его, как уже не раз спрашивал и соотечественников и иностранцев, кому он отдает предпочтение, Толстому или Достоевскому. Ответ его не мог не озадачить меня: "Из русских писателей я предпочитаю всем другим Леона Шестова. Я даже стал учить русский язык, чтобы читать его в оригинале".

После того, как в Южной Америке я столкнулся с шестовцами-богоискателями, я уж не слишком удивился тому, что в оценке молодого любителя русской литературы из Льежа "Леон" Шестов превзошел и "Леона" Толстого и вечного спутника его Достоевского. Но мне нужно было отдать себе отчет в том, чем определяются такие переоценки и в какой мере они предопределены самим литературным наследием самого покойного Льва Исааковича. Я слушал и учился.

Мой новый друг рад был меня поучать, а я в течение недели часами внимал ему. Когда он разгорался, в глазах его появлялся влажный блеск, и казалось, что вот-вот они нальются слезами: "Да поймите же, – чуть не кричал он в парке перед гостиницей, – мы, молодые, не можем простить вам, пережившим наяву все, что случилось, не можем примириться с тем, что вы все такие сонные, заспанные, не проснувшиеся, как будто вам все нипочем! Все мы мечемся, ищем, спотыкаемся, авось набредем. Мне всего двадцать шесть, но как много я уже успел испробовать. Церковь – это с детства, потом социализм, даже коммунизм, и психоанализ, и антропософия, и морфинизм, и любовь между людьми одного и того же пола, и уголовщина, и покушение на свою жизнь, и... да что говорить! Один Бог ведает, что было бы еще, если бы не Шестов!"

Я вздрогнул и стал слушать с напряженным вниманием. Совсем как у Разумника Васильевича: спящие и бодрствующие. Неужели драматический смысл встречи с Шестовым сейчас разъяснится в неожиданной развязке?

"Да поймите же, – снова заговорил после минутного молчания мой молодой друг, – если бы я не считал богохульством выражаться по-церковному, я бы сказал, что Леон Шестов – мой Спаситель!"

"Что это значит?" – прервал я его, чтобы наскоро противопоставить этого мученика-одиночку, жизнерадостным "сектантам" из Уругвая. "Очень просто. Мне случайно попала в руки книга неизвестного мне автора, Леона Шестова, с год тому назад. В это время я страшно себя ненавидел и страшно презирал людей вообще. Я раскрыл книгу наугад. Бросились в глаза имена Достоевского, Ницше. И произошло нечто совершенно небывалое. Фразы были простые, мысли тоже несложные, все как будто даже скучновато, и вдруг мне захотелось плакать. Стало бесконечно жаль себя и всех людей, и все мироздание, и я вдруг понял, что нельзя никого осуждать, даже самого себя, как бы я ни был развратен и виноват. Этого, конечно, не было в тексте, но как-то исходило из него, как заклинание между строками. Я слышал голос наяву, доносившийся со страниц книги: а ты проснись, а ты не спи, а ты и во сне бодрствуй!.. Я не мог удержаться и расплакался. С тех пор я с Шестовым. И я могу жить, и могу верить, и могу надеяться... Вот только любить я еще не могу. Но с Шестовым и этому научусь!"

Наши продолжительные беседы в последующие дни убедили меня, что дело в данном случае шло не о случайном совпадении "катарсиса" блуждающей души, подготовлявшегося, повидимому, постепенно, с чтением французского перевода какого-то неизвестного русского автора, а что он сам, этот автор, призван был действовать "очистительно" на запутанный ум и запятнанную совесть. Невозможно отметить на полях книг Шестова красным карандашом, какие именно афоризмы или изречения его заряжены такой взрывчатой духовностью; не отчеркнуть ногтем ни одной такой фразы, ни одного эпитета! Но глаза при чтении его книг непроизвольно соскальзывают в узенькую белую полоску между строк, и там-то, сквозь строчки, и открывается прищуренному глазу просвет в иной мир. Поколение, предшествовавшее Шестову, не могло этого видеть; не видели этого ни его ровесники, ни шедшее за ними поколение, к которому принадлежал и я. Но в нас уже что-то было задето, и мы не могли пройти мимо него равнодушно. Когда около пятидесяти лет тому назад мне пришлось в Петрограде, ставшем под властью палача-опричника Петерса на время снова "Петерс-бургом", писать для литературного сборника статью "О развитии и разложении в современном искусстве", я причислял Шестова к глашатаям и проповедникам "разложения". Уже тогда, однако, я посмел выразить надежду, что разложение, дошедкрайности, обратится в свою противоположность и откроет просторы для нового изначального синтеза. Случайная встреча со случайным восприемником шестовской очистительной вести, перед грядою снежных вершин, отозвалась во мне внезапным возрождением собственной юношеской мечтательности.

"Значит, — думал я, сидя в самолете, уносившем меня из Швейцарии, — и это возможно. Шестов — явление безвременья и продукт разложения, но он же и предвестник, и предтеча того, что грядет за веком всечеловеческого кризиса. И идущие на смену нам поколения это чувствуют. Если бы вся его писательская деятельность имела лишь одно это последствие — исцеление одной единственной души, ставшей невинной жертвой всемирного кризиса, — как не признать, что этим одним погашены все недочеты в произведениях и все житейские долги Льва Исааковича. Так, как он пришел с того света на помощь своему правнуку из Бельгии, так мог прийти на помощь лишь сын человеческий, облеченный призванием во Имя!"

Пока я жив, я продолжаю свои беседы с Львом Исааковичем. Содержание их, однако, не задевает того основного, на чем зиждется жизнь человеческая. В этом отношении господствует полное согласие. И если бы я был вызван на Страшный суд по делу Льва Шестова и его сочинений, все мои показания были бы в его пользу и против Князя Обвинителя. Не могу судить, пригодится ли мой набросок портрета с натуры для приобщения к "делу", но я писал его, не только подражая живописцам, но и как откровенное послание многолетнему спутнику.

Лондон 1968–69 гг.

Жорж Нива

СПЯЩИЕ И БОДРСТВУЮЩИЕ

Лев Шестов приводит в начале "Дерзновений и покорности" слова Шекспира из "Короля Лира": "Мне кажется, что мир спит". Лев Шестов, один из героев книги Аарона Штейнберга, не просто бодрствовал, но для того только и писал, чтобы помешать спать своим братьям-смертным. "Из бодрствующих – бодрствующий", – пишет о нем Штейнберг, приводя слова Иванова-Разумника: "В гефсиманской ночи нашего мира Шестов кричал и вопиял против "спящих", против всех, кто отдавался ложному миражу разума. И не только Шестов: Андрей Белый, Александр Блок, Василий Васильевич Розанов, все то поколение тревожно вопияло и предвещало "апокалипсис нашего времени", как писал Розанов, – скорый конец "представления".

Аарон Штейнберг был ценным свидетелем и активным участником "представления" на сцене русской культуры и истории до того момента, как опустился занавес. Это был тогда очень молодой и очень обаятельный человек, одаренный философ, стремящийся познакомиться со всеми "бодрствующими" умами русского символизма и русского "нового религиозного сознания".

Судя по его мемуарам, которые мы публикуем, он чрезвычайно быстро привлекал внимание своих собеседников и располагал их к себе своим блистательным умом и неким интеллектуальным восторгом, некой восторженной свежестью ума. У него был "неприлично молодой вид".

Аарон Штейнберг сам удивлялся своей способности быстро сходиться и устанавливать глубокое и всесторонне богатое интеллектуальное общение с протагонистами русского "серебряного века". Тем более, что многое отделяло его – молодого еврея – от русских богоискателей, от философов и поэтов Ренессанса начала XX века.

"Чем и как объяснить, – спрашивал он Карсавина, – что всю свою жизнь я дружу не с евреями, а главным образом с русскими? Мне приходит в голову, что известная поговорка – браки заключаются на небесах – простирается также на дружбу". На что Карсавин отвечал, что связывает его, Аарона Штейнберга, с русским духом и русским православием некое "добротолюбие". И на самом деле вся книга Штейнберга дышит "добротолюбием", и в этом, может быть, первая ее заслуга и тайна ее очарования.

Аарон Штейнберг родился в 1891 г. в еврейской семье в городе Двинске. Отец его был довольно состоятельным купцом, он поселился в Москве. Однако пребывание евреев в Москве подвергалось строгим ограничениям. Хотя отец, по-видимому, получил разрешение жить в Москве, дети его имели право жительства в столице лишь до замужества (для дочерей) и до совершеннолетия (для сыновей). Аарон хотел учиться философии, но философия давно была в запрете в российских университетах. Поэтому он поехал в Германию и поступил на два факультета в Гейдельбергском университете: на философский и на юридический (второй факультет давал ему возможность нотифицировать диплом, вернувшись на родину). Война застала его в Германии. Он остался в "гражданском плену" и вернулся в Россию лишь после Февральской революции.

Одна встреча была тогда решающей для его "дружбы с русскими интеллигентами двадцатых годов" – встреча с Ивановым-Разумником. Разумник Васильевич Иванов (псевдоним: Иванов-Разумник) собрал тогда вокруг себя и вокруг альманахов "Скифы" поэтов и писателей, связанных идеей "духовной революции".

Аарон Штейнберг был уже небезызвестным автором статей о философии и о филологии права. Знаменитый журнал "Русская мысль" опубликовал в 1911-12 г.г. несколько его обзорных статей о немецкой философии. Две статьи появились в "Журнале Министерства Юстиции", редактором которого был

либерал Ф.Ф.Дерюжинский. Аарон Штейнберг также опубликовал статью в русском издании "международного журнала по философии" "Логос" (русское издание выходило под маркой "Мусагета" с 1910 по 1914 г.). Итак, несмотря на молодые годы и молодой вид, Аарон Штейнберг был уже известен в философских кругах, когда вернулся в Россию в 1917 г. Иванов-Разумник привлек его в свой круг. Старший брат Штейнберга, Исаак Нахман, был активным политическим деятелем в партии эсеров (он даже стал кратковременно комиссаром в правительстве Ленина). Вся группа Иванова-Разумника сочувствовала эсерам как носителям "стихийности" революции и "скифства". Они печатались в эсеровской газете "Знамя труда", той самой, где Блок опубликовал "Двенадцать".

Аарон Штейнберг вошел в маленькую группу основателей "Вольной Философской Ассоциации", вместе с Блоком, Эрбергом, Ивановым-Разумником и Андреем Белым, ставшим немедленно председателем. Первый публичный вечер этой новой академии (однако Луначарский не позволил ей назваться академией, она стала "ассоциацией") был посвящен докладу Блока "Крушение гуманизма". Голос Блока звучал как глухой набат. "Свежий человек, попавший в среду XIX века, мог бы сойти с ума". Публика в Петрограде стала называть "вольфильцев" – "крушителями".

Политический анализ Иванова-Разумника и его друзей был парадоксален. Для них "большевизм не удался", он заключил союз с чернью и с черносотенцами (ту же идею находим в "Несвоевременных мыслях" Горького), он изменил "духовной революции" и тому "духу революции", который Блок в "Крушении гуманизма" противопоставляет мертвой цивилизации. Большевики, по их убеждениям, продали духовную революцию "за чечевичную похлебку материализма". "Скифовцы" искали возобновления духовной революции в народнической и персоналистской философии Герцена и Лаврова. Они считали себя "новыми декабристами". Аарон Штейнберг составляет антологию текстов Лаврова и публикует ее в издательстве "Скифы", берлинском филиале "Вольфилы".

"Социализм есть нравственная задача, – пишет Штейнберг в своем предисловии, – такова центральная точка зрения народничества и его основоположника Лаврова". Другими словами, "вольфильцы" возобновляли старую полемику между народни-

ками ("субъективистами") и марксистами ("объективистами"). Однако теперь марксисты были у власти. Короленко в своих письмах Луначарскому негодовал и протестовал. Насилие из инструмента разума превратилось в исторический факт. Не массы, не исторический разум, не диалектика в центре философии этих неонародников, а человек "познающий, творящий и живущий". У Лаврова они заимствуют "антропологическую точку зрения". Иванов-Разумник разовьет эту идею в грандиозную "антроподицею", а Андрей Белый в "историю становления самосознания". Оба текста до сих пор не изданы.

Штейнберг читает курс философии в Петроградском философском институте и активно участвует в организации публичных лекций и закрытых семинаров "Вольной Философской Ассоциации". Среди самых удачных и многолюдных вольфильских вечеров следует упомянуть вечера, посвященные утопистам и "Городу солнца" Кампанеллы, Герцену, Лаврову, декабристам, Толстому и Достоевскому, философии Соловьева, Ницше. Сам Штейнберг читал доклад о "системе свободы Ф.М.Достоевского" (доклад опубликован в 1922 г.). Все доклады воспринимались публикой как зашифрованные ответы на главную проблему современности: на чьей стороне стоять? Большинство публики и почти все докладчики были настроены оппозиционно. Один Мейерхольд был коммунистом среди них (сам он говорил, что взял "желтый билет"), а такие организаторы Вольфилы, как художник Петров-Водкин, относились к большевикам с яростной непримиримостью. Однако антибольшевизм часто связывался с антисемитизмом: считалось, что режимом комиссаров управляют евреи. Штейнберг приводит острые антисемитские выпады Петрова-Водкина и даже самого Иванова-Разумника. По словам Штейнберга, это не мешало ему ощущать братскую солидарность всех в общем чувстве и пафосе спасения "духовной революции". В некотором смысле они все были "внутренними эмигрантами". Вечер, посвященный взглядам Герцена "С того берега", привлек несколько тысяч слушателей и стал событием. "Не было никакого сомнения, – пишет Штейнберг, – что мы и аудитория сомкнулись с потоком народной энергии в едином порыве осветить происходящие события".

Огромным событием для всей группы была смерть Блока. "Осмыслить русскую революцию" было целью Вольфилы.

Смерть Блока истолковывалась как важная ступень в духовной катастрофе. В своей речи на вечере памяти Блока Штейнберг рассказал о ночи, проведенной им совместно с Блоком в помещении Петроградской Чека. Ночной разговор больного поэта и молодого философа на одной койке в большой тюремной камере потряс аудиторию, как потрясает и нас при чтении мемуаров Штейнберга. Они, по словам Блока, провели ночь "как Кирилов и Шатов". На этом поминальном вечере Блок предстал национальным поэтом России, задушенным лжереволюцией.

Скоро Белый, вслед за Горьким, эмигрировал в Берлин. Сам Аарон Штейнберг эмигрировал в 1924 г. Он поселился в Берлине, где и оставался до прихода к власти Гитлера. В Берлине Штейнберг продолжал дело "Скифов", виделся с Белым, читал доклады по-русски и по-немецки. Но тесная связь с русскими символистами и идеалистами уже не занимала его всего. Он познакомился с Семеном Дубновым, автором монументальной "Истории еврейского народа", которую он начал переводить на немецкий язык. Одновременно он редактировал сокращенную версию этого огромного труда – для студентов и рядового читателя. Начиналась вторая интеллектуальная карьера Штейнберга.

Эта вторая карьера уводила его от чисто русской культуры, и он все больше углублялся в дело защиты еврейской культуры в ее двух ипостасях: на идише и на иврите. На фоне возрастающего фашизма его все больше увлекала тайна исторической судьбы еврейского народа, т.е. его загадочного выживания, как осколка античности в современности и осколка "Азии" в Европе... Ощущение всемирного кризиса, которое родилось еще среди русских символистов, становилось все более напряженным и острым. Не в очередной вспышке традиционного антисемитизма было дело, а в углублении духовного кризиса, в полном отрицании монотеизма и универсальных ценностей, укорененных в иудаизме.

В конце двадцатых годов Штейнберг посвящает два этюда проблеме "Достоевский и евреи" и вступает в полемику со своим другом, богословом Л.Карсавиным. Как и Михаил Гершензон (умерший в 1923 г.), Штейнберг был ярким примером "обрусения" части русских евреев. Он не только жил русской культурой, но, как и Гершензон, стал чутким знатоком рус-

ских славянофилов. Гершензон издал Киреевского и Чаадаева, Штейнберг стал знатоком русской религиозной мысли и вел глубокий, волнующий диалог с русским православием. После революции Гершензон "открыл" Библию. Штейнберг же всегда был и оставался верующим евреем, но после революции он стал болезненнее ощущать внутренние противоречия русской православной мысли, например, у Достоевского. Как же связать философию свободы Достоевского с его явным юдофобством? Штейнберг отличает антисемитизм Достоевского от обыкновенного антисемитизма. Для него Достоевский ревнует еврейский народ к Богу; его русский мессианизм – подражание еврейскому избранничеству. А сама идея мессианства происходит от от веры Достоевского в "идеи". "Сознание жизни выше жизни", – объявляет Достоевский. Все страдания человека, все его восторги и все его соблазны идут от "усиленного сознания". По Штейнбергу, проблема "самосознания" и "диалектики свободы" объемлет и объясняет антисемитизм Достоевского. "История – это свобода в становлении".

Много элементов этой историософской концепции было заимствовано у Андрея Белого. В 1919 и 1920 годах Белый читал цикл о "становлении самосознания". Русский путь к истинной соборности и к истинному самосознанию шел к Абсолюту не через человеческую диалектику, а через русское смирение, которое Достоевский раскрыл и предложил нам помимо и поверх всех его исступленных противоречий...

В 1929 году евразийский журнал "Версты", издававшийся Сергеем Эфроном, опубликовал текст философа-богослова Льва Карсавина о евреях. Карсавин дал читать свою рукопись Штейнбергу и предложил ему написать ответ. Этот ответ был опубликован в 3-м номере "Верст" за 1928 год. Карсавин и Штейнберг согласились в одном: "еврейская проблема", в конечном счете, есть религиозная проблема. Она затрагивает самое сокровенное в религиозной вере. Карсавин защищал терпимость, был адвокатом еврейской эмансипации, но это было для него лишь временное решение – до воссоединения русских евреев в лоне христианской веры. Штейнберг отвергает концепцию и логику Карсавина: еврейское обращение к Христу было бы изменой в отношении к Отцу. И этого не может хотеть христианин. При "втором пришествии" Мессии, которое для евреев будет первым, "уже не будут учить друг друга, брат

— брата и говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут знать меня, от малого до большого". (Иеремия, 31-34). Христианин должен осознать, что путь еврея к крещению содержит грех. Легче еврею любить христианина, чем христианину еврея именно потому, что христианин в своей "любви к противнику" желает ему согрешить и забывает о завете Иеремии. Карсавину, мечтающему о некой "еврейской православной церкви", Штейнберг возражает, что "еврейская культура" и "еврейская религия" – одно и то же. Без одной не будет другой.

Штейнберг выдвигает еще один аргумент в своей полемике с Карсавиным. Карсавин, как и многие христиане, обращался главным образом к религиозному, верующему еврею, а на еврея-агностика смотрел как на "ассимилированного" еврея. Штейнберг опровергает этот взгляд. Для него еврей-социалист-агностик движим именно своим "еврейством". По Карсавину, вера – кость, а еврейский социализм – шелуха. По Штейнбергу, еврей-просветитель, еврей-социалист внутренне движимы верой, действующей наподобие радиоактивности...

Третий пункт этой знаменательной полемики относится к чувству принадлежности русского еврея к России. Штейнберг считает, что в самой России еврей себя чувствует нерусским, а вне России он себя чувствует русским. Русский еврей признателен судьбе за то, что он был приведен именно в Россию, т.е. в европейскую христианскую страну, которая не требует от него полной ассимиляции...

В 1934 г. Аарон Штейнберг поселился в Лондоне и стал работать для Всемирного еврейского конгресса. Во время войны он учредил исследовательский центр по проблемам геноцида, репараций и лиц без гражданства. В 1941 г. он стал во главе Культурного Отдела В.Е.К.

В Германии Штейнберг опубликовал несколько работ об истории и судьбах еврейской культуры, в частности, эссе о марбургском философе Германе Когене и книгу о еврейском мессианстве. Его работы, как изданные, так и неизданные, были им самим собраны в книге, вышедшей посмертно под заглавием "History as Experience. Aspects of Historical Thought" (New York, 1983). Одна из самых интересных глав этой книги ставит вопрос: "Зачем оставаться евреем?" Вопрос сам по себе неприемлем и скандален для ортодоксального еврея. Неверующий, секуляризованный еврей – просто грешник, но все еще еврей.

Штейнберг отвергает мысль, что еврейский национализм может заменить еврейскую веру в быстро набирающем силу не-Божьем царстве. Итак, Штейнберг закончил свой интеллектуальный путь как просвещенный еврейский традиционалист. С одной стороны, "только вера" может определить еврея; с другой стороны, "только свобода" дает возможность вере развиваться и продолжать Божье дело творения мира. Человек – со-творец истории до конца исторических времен, до пришествия Мессии.

----- ------- -------

Весь интеллектуальный путь Аарона Штейнберга, как мне кажется, помогает нам понять, почему его диалог с "русскими интеллигентами" нового религиозного сознания был так плодотворен. Их тесно связывало ощущение "духовной революции", т.е. становления нового духовного этапа в истории человеческой. Не политически, а религиозно и пророчески смотрели они на рождение нового мира. Их связывало чувство органической принадлежности к "царству Божьему". Лики и маски мессианства, святые и порочные аспекты революции волновали их, и они были убеждены в том, что без религиозной точки опоры невозможно понять ход истории.

Главным собеседником, старшим и обожаемым собеседником Штейнберга был Андрей Белый. Его портрет в мемуарах Штейнберга не просто тонкий и прелестный, он добавляет много новых деталей и штрихов к тому, что мы уже знали и читали.

"В мировоззрении Бориса Николаевича /Белого/, – пишет Штейнберг, – было нечто магическое, но он не был чужд естественным наукам". Описание семинаров Белого, упражнений в "самосознании" обогащает тот многогранный полифонический портрет Белого и его "лекционных плясок", которые оставили нам Марина Цветаева, Александр Бахрах, Нина Берберова, Дмитрий Максимов, Федор Степун, Николай Оцуп и, в особенности, тогда еще молоденькая и без памяти влюбленная в Андрея Белого слушательница "Вольфилы" Нина Гаген-Торн. Вот что она пишет о своих первых впечатлениях от Андрея Белого на заседаниях "Вольфилы":

"Как передать наружность Андрея Белого? Впечатление движения очень стройного тела в темной одежде. Движения го-

ворят так же выразительно, как слова. Они полны ритма. Аудитория, позабыв себя, слушает ворожбу. Мир – огранен, как кристалл. Белый вертит его в руках, и кристалл переливается разноцветным пламенем. А вертящий – то покажется толстоносым, с раскосыми глазами, худощавым профессором, то вдруг – разрастутся глаза так, что ничего, кроме глаз не останется. Все плавится в их синем свете.

Руки, легкие, властные, жестом вздувают все кверху. Он почти танцует, передавая движение мыслей.

Постарайтесь увидеть, как видели мы. Из земли перед вами вырвался гейзер. Взлетает горячим туманом и пеной. Следите, как высок будет взлет. Какой ветер в лицо... Брызги, то выше, то ниже... Запутается в них солнечный луч и станет радугой. Они то прозрачны, то белы от силы кипенья. Может быть гейзер разнесет все кругом?.. Что потом? – Неизвестно. Но радостно: блеск и сила вздымает. Веришь: сама уж лечу! Погоню сейчас, ухвачу сейчас гейзер! Знаю: в брызгах искрится то, что знала всегда, не умея сказать! Вот оно как! А мы и не ведали, что могут раскрыться смыслы, что обещаются новые открывания: исконно знакомого где-то, когда-то, в глуби неизвестного..."

Этот "гейзер" прекрасно передан и в описаниях Штейнберга. Возвращается Белый с прогулки вдоль Невы со вздутой щекой: "Борис Николаевич, что с Вами? – У меня кривые были мысли о докторе Штейнере, так вот и рожа сделалась кривой". Шаманствовал Белый не только над другими – над самим собой...

Штейнберг пишет о его "экстрасенсорных перцепциях" и показывает нам его длинный взъерошенный силуэт "борзого"...

Особенно интересен и нов весь рассказ о попытке бегства Белого за границу через Финляндию.

Портреты, нарисованные Штейнбергом, тонкие, ироничные, но не злые (он спрашивает: почему мы говорим "злословить", но никогда "добрословить"). Например, портрет английского философа Бертрана Рассела, опасливого попутчика, боящегося выступить в Ассоциации не вполне революционной, – а тем не менее Луначарский смотрит на него как на человека "как-то неблагожелательно относящегося к советской России". Сам Луначарский под надзором "безмолвного молодого человека в военном кителе выглядит как сановный пленник в собственном дворце.

"А вы думаете, что Ваше правительство против свободы мысли?", – подозрительно спрашивает Рассел. Ответ "вольфильцев" резок: "Как же не думать, если людей казнят за инакомыслие!" Один из них, Петров-Водкин, выражался еще резче: "Я лучше обращусь в басурманы, чем пойду на празднование этой поганой Октябрьской революции". Мейерхольд шутил над своим "желтым билетом". Про художника Пунина, вступившего в партию, говорили "обрезался". Блок грустно говорил о "новом самодержавии" и о "свите" Троцкого. Всем вольфильцам было ясно, что революция подменена. "Власть, которая не умеет смеяться над собой", осуждена.

Особенно живы и интересны портреты Иванова-Разумника и Ольги Форш. Иванов-Разумник, "поп-расстрига" этой духовной революции был главным организатором Вольфилы. Его преклонение перед Белым доходило до исступленного восторга. Ему и Блоку он посвятил несколько этюдов: главный из них назван "Вершины". Он был философом-проповедником "скифства", которое он определяет в предисловии к сборнику "Пути революции" (своего рода продолжению первых двух сборников "Скифы") как "вечную революционность". Для него в "эллине" всегда была доля "скифа" и в "скифе" – доля "эллина". Скифство было ипостасью вечно мятущегося духа. Штейнберг его рисует крайним аскетом, щепетильным, гордо сдержанным, скрывающим личные раны.

Ольга Форш оставила нам зашифрованный роман о Петербурге начала двадцатых годов – "Сумасшедший корабль". Там она рассказывает о Доме Искусств, о Вольфиле, о Белом ("Инопланетном Гастролере"). Штейнберг видел ее не только в Петербурге, но и в Берлине, до ее поездки к Горькому, которого она задумала обратить в свою странную "веру", матриархат. "Я еду на Капри, – сообщает она Штейнбергу, – чтобы сказать Горькому, что хоть я моложе его, но приехала к нему как родная мать". И в одном письме к ней Горький подписывается: "Ребенок Алексей Пешков", т.е. он принял ее духовное материнство.

Среди многочисленных портретов один из самых неожиданных – портрет Гумилева. Его вызывающее поведение в столовой Дома Искусств, его почти истерически-болезненные крики против большевиков подтверждают все, что мы уже знали от таких свидетелей, как Ирина Одоевцева. И это особенно цен-

но сейчас, когда хотят вернуть Гумилева в пантеон советской литературы и всеми силами пытаются смягчить его контур, понизить его голос...

Горький выглядит у Штейнберга сложным, противоречивым: гордым сановником и странным циником. В своей раскошной квартире автор "Песни о соколе" одобряет смертные приговоры... Но в другой раз спасает старшего брата Штейнберга и говорит про большевиков у власти: "ведь они все там сумасшедшие"... Штейнберг видит в Горьком "душу, проникнутую идеями эпохи Просвещения восемнадцатого века". Сидя в тюрьме, куда он вторично попал в 1922 году по делу эсеров, Аарон Штейнберг читает в газете: "Заседание Петроградского Совета с участием Максима Горького: смерть предателям" – и дает себе зарок больше никогда не подавать руки этому человеку...

Один из самых поразительных эпизодов в книге Штейнберга – это, несомненно, его посещение Розанова. Он попадает в семью Розанова сразу же после скандальнейших выступлений Василия Васильевича по делу Бейлиса. Вся сцена разыгрывается в каких-то парадоксально слащавых тонах, прямо как продолжение некоторых сцен из Достоевского. У Розанова Штейнберг знакомится с известным выкрестом-антисемитом Ефроном, автором пьесы "Контрабандисты". Больной "друг" Розанова в кресле (про свою жену Розанов говорит "он"), обе его дочери, весь домашний круг – все воссоздает интимную атмосферу семьи Розанова. "Все лгали" в деле Бейлиса, – писал Розанов в статье "Нового времени", – все, кроме профессора Бартольда – знаменитого востоковеда – и молодого сотрудника "Русской мысли" Штейнберга: один был убежден в виновности Бейлиса, другой в обратном... Из уст Василия Васильевича, прямо скажем, – редкая дань уважения!

7-го ноября 1920 года Вольная Философская Ассоциация, секретарем которой являлся молодой Аарон Штейнберг, захотела по-своему отметить третью годовщину Октябрьской революции. Они решили в тот же день отпраздновать день рождения Платона, как это делала ежегодно в XIV-XV в.в. Флорентийская Академия. Штейнберг приводит заключительные слова Карсавина, который читал доклад:

"К сожалению, я чувствую себя как дома во Флоренции времен Ренессанса, чего не могу утверждать о Петербурге наше-

го времени. Поэтому и не могу определенно сказать, достойна ли ваша Ассоциация считать себя продолжательницей Флорентийской Академии. Впечатление же у меня такое, что воздух насыщен теми же идеями".

Аудитория понимала без труда, что тот дух ренессанса и внутреннего сопротивления, который помогал флорентийцам бороться со своим деспотом Медичи, теперь нужен и русским. В течение ста лет, с 1334 по 1430 г.г., Флоренция мало-помалу теряла свою вольность, свою libertas. Вольфила пыталась осмыслить пример Флоренции и боролась за духовное возрождение "русской Флоренции".

Сам Аарон Штейнберг принадлежит русскому "серебряному веку". Он принадлежал ему, по-видимому, до конца жизни, когда он стал диктовать текст своих воспоминаний о "бодрствующих" русских интеллигентах 20-х г.г. "Серебряный век" был, в его убеждении, "сосуд энергии", энергии религиозной, художественной, исторической. Воспоминания Аарона Штейнберга нам передают часть этой чудотворной энергии. "Духовно алкать и значит философствовать", пишет он в "Системе свободы Достоевского' . В этом утверждении содержится некая опасность или искус некий. Искус антилогики, и "только верой"... Но Штейнберг в этом – верный сын русского символизма, сын не одного, а двух мессианств.

"Я начинаю не-верить", – шептал умирающий Блок Иванову-Разумнику. И на самом деле то духовное "бодрствование", о котором пишет Штейнберг, объединяло верующих и неверующих, однако все верили в "духовную революцию". Когда она погасла, они разошлись...

Приложение 1
Проект положения о Вольной Философской академии, подготовленный К.Эрбергом в начале 1919 г.

Мы воспроизводим этот проект по первому изданию "Дневника" Блока ("Дневник Ал. Блока". Изд. Писателей в Ленинграде. Под редакцией П.Н.Медведева. 1928). Вся запись Блока от 16-ого января 1918 г. исчезла в последующих изданиях (см. А.Блок. Собрание сочинений, том VII, под ред. Вл.Орлова, 1963).

16 января

Из "Проекта положения о Вольной философской академии" (взял у Эрберга).

I. Назначение В. Ф. А. §1. В. Ф. А. учреждается с целью исследования и разработки в духе социализма и философии вопросов культурного творчества, а также с целью распространения в широких народных массах социалистического и философски углубленного отношения к этим вопросам.

§2. Сообразно с этой двойной целью деятельность Вольной философской академии подразделяется на: 1) научно-академическую и 2) учебно-просветительскую.

II. Научно-академическая деятельность Вольной философской академии. §3. Для осуществления своих научно-академических задач В.Ф.А. способствует объединению деятелей в области научного, социального и художественного творчества на почве их общего стремления философски осмыслить свою работу, дает им возможность постоянно находиться в тесном общении друг с другом и содействует таким образом выяснению общих основ культурного творчества человека.

§ 4. С этой целью В.Ф.А.: а) устраивает для своих сочленов доклады, собеседования и диспуты; б) оказывает им материальное содействие в их научной работе; в) обеспечивает их необходимыми для этой работы литературными и научными пособиями; г) командирует их за границу; д) приглашает для докладов и собеседований заграничных деятелей и е) вступает в связь с другими учреждениями, задачи которых совпадают или соприкасаются с задачами В.Ф.А.

III. Учебно-просветительская деятельность В. Ф. А. § 5. Для осуществления своих учебно-просветительных задач В.Ф.А. а) устраивает при академии постоянные циклы лекций, а также отдельные лекции, публичные доклады, собеседования и диспуты по всем вопросам культурного творчества; б) организует семинарские занятия; устраивает публичные собрания по специальным вопросам науки и искусства; в) публикует труды своих членов и другие оригинальные или переводные сочинения; г) издает при академии специальный печатный орган; д) учреждает библиотеки и читальни.

IV. Личный состав В. Ф. А. §6. Личный состав академии

распадается на: а) действительных членов; б) членов-сотрудников и в) слушателей.

А. Действительные члены. §7. Действительными членами В.Ф.А. являются, кроме членов-учредителей, все лица, признанные общим собранием академии (§ 23) достойными этого звания и согласившиеся его принять. § 8. В выборе действительных членов общее собрание академии ничем, кроме заботы о дальнейшем преуспевании академии, не связано. § 9. Действительные члены академии ежегодно представляют совету академии доклады о своих работах, направленных на разрешение задач академии, будь то научного или же учебно-просветительного характера. §10. Действительные члены академии подлежат переизбранию через каждые три года. Переизбранию подлежат также и члены-учредители академии по истечении 3-х лет со дня ее основания. § 11. Действительные члены академии могут быть ее общим собранием исключены из ее состава за их позорящие академию поступки (§ 22). § 12. Действительные члены академии пользуются правом свободной преподавательской деятельности при академии в соответствии с ее основными задачами.

Б. Члены-сотрудники. § 13. Членами-сотрудниками В.Ф.А. являются все лица, признанные ее общим собранием достойными этого звания и выразившие согласие его принять. § 14. В члены-сотрудники академии могут быть избраны лица, зарекомендовавшие себя в какой-либо области культурного творчества и могущие принести академии ту или иную пользу в ее начинаниях. На них распространяются постановления §§ 10 и 11 настоящего положения.

В. Слушатели. §15. Слушателем академии может быть всякое лицо, выразившее формальное согласие посещать устраиваемые академией лекции, участвовать в семинарских занятиях и вообще работать под руководством ее действительных членов или в ее учреждениях. § 16. Слушатели академии освобождены, как таковые, от всякой платы и пользуются правом бесплатного посещения всех, устраиваемых академией, публичных собраний, выставок, театральных представлений и т.п. § 17. Слушатели академии, признанные ее советом достойными особого поощрения, могут получать от академии материальную помощь. § 18. Трехлетняя работа академии дает слушателям право на получение от совета академии свидетельства об успешности их занятий.

V. Организация и средства академии. А. Общее собрание академии (§ § 19-24); Б. Совет академии (§ § 25-30); В. Совет и общее собрание слушателей академии (§ § 31-33); Г. Секретариат академии (§ § 34-35); Д. Средства академии (§ § 36-37).

Приложение 2
Объявление о создании "Вольфилы" (журнал "Жизнь", 1922, №1).

Вольфила – Вольная Философская Ассоциация, избравшая себе это наименование, возникла в первые послереволюционные годы в Петрограде; она образовалась из постепенно расширившегося кружка собравшегося вокруг четырех зачинателей – учредителей Вольфилы (они

же составили ее совет). То были Андрей Белый (председатель), историк литературы Иванов-Разумник, теоретик искусства Эрберг и петроградский философ Штейнберг. Вольфила – это не программа, даже не мировоззрение; наоборот: предполагает она взаимное противоположение, пересечение и борьбу мировоззрений. Она – импульс: к углублению совершившейся (и все еще совершающейся) революции воззрения духа: к духовной революции, которая приведет к освобождению человека на всех путях его духовного творчества и к новому воплощению достижений этого освобожденного творчества – к новой культуре. В этом смысле Вольфила стоит под знаком всеобъемлющего кризиса современной культуры и чаяний культуры новой: культуры свободы.

"Философская" она, ибо стремится охватить и осознать все многообразие устремлений современной культуры к грядущему. "Вольная" ибо вмещает в свой кругозор ф-ю не только ученого трактата, но и ф-ию афоризма, стихотворения, исповеди – всю ту, часто невысказанную, философию культуры, которая заложена в каждом акте конкретного культурного осуществления. Наконец, "Ассоциация" она (не "ученое общество"), ибо ее задания: организационное сплочение всех тех, кто ищет такой "вольной" философской работы и общения, снимающего грань между лектором и аудиторией.

Недавно отделение Вольфилы организовалось и в Москве. В совет моск. отделения вошли: Андрей Белый (председатель), Г.Шпет, С.Мстиславский, М.Столяров. Уже состоялся ряд открытых заседаний; на них как введение к беседе были прочитаны следующие доклады: Андрея Белого – "Достоевский и кризис сознания", М.Столярова – "Солнце Каны (Идея приятия мира у Достоевского)", Я.Головоскера – "Секрет черта (Достоевский и антиномии Канта)", С.Соловьева – "Идея Искупления у Достоевского", С.Мстиславского – "Россия и бесы", М.Сизова – "Материализм и человек", Н.Машковцева – "Жизнь человека (проблемы биографии)", Я.Головаскера – "Житие и откровение Заратустры", А.Солоновича – "Анархизм религии", Н.Полянского – "Апофеоз механизма".

Следующими намечены доклады: М.Кагана – "Личность в социологии", М.Столярова – "Перводвигатель истории", К.Локса – "Поэзия и творческое сознание", И.Дегтяревского – "Внутренний пейзаж творчества Гоголя" и т.д.

Намечен также ряд литературных вечеров: вечер пролетарских поэтов-космистов, вечер немецкого поэта Хр.Моргенштерна, вечер поэта Ю.Анисимова и вечера, посвященные памяти Короленко, Э.Т.А.Гофмана, Флобера, Э.По.

ПРИМЕЧАНИЯ

стр.

11 Вряд ли название сборника "Вехи" (1909) восходит к этому стихотворению В.Брюсова. Авторы сборника приглашали "сменить вехи", т.е. пересмотреть основы традиционного мышления русской интеллигенции.

13 О Тарасевичах (Льве Александровиче и его жене, певице, Анне Васильевне, урожденной Стенбок-Фермор) см. Андрей Белый "Начало века" (1933) passim и "Между двух революций (1934) с. 52-53 и 221. Белый также пишет о Доме Песни, основанной бароном Д'Альгеймом и его женой М.А.Олениной.

13 Письмо П.Б.Струве Брюсову, упомянутое Штейнбергом, опубликовано в сборнике "Архив литературный". Том 5. Москва-Ленинград, 1960.

18 А.Штейнберг имеет в виду статью Вл.Соловьева "Русские символисты" (1895), но значительно упрощает взаимоотношения Блока, Белого и Брюсова.

20 Белый в ту пору не был вне церкви и отрицательно к ней не относился. Его антропософские увлечения сочетались с признанием церкви.

21 О "Союзе земств и городов" см. George Katkov: Russia 1917. The February Revolution. London 1967. "Земгусарами" называли активистов этого Союза земств и городов.

24 В очерке "Белый коридор" Влад. Ходасевич дает остро иронический портрет Ольги Давыдовны Каменевой, возглавлявшей Т.Е.О. Его суждения во многом совпадают с впечатлениями Штейнберга.

24 Эрберг (Сюннерберг), Константин Александрович – автор книги "Цель искусства", Москва, 1913, и символистских стихов. О нем см. в дневниках и переписке Ал.Блока.

26 Архив "Вольфилы" находится в Пушкинском Доме в Ленинграде. Сохранилась первая афиша, повествующая о создании Вольфилы (фонд № 79, опись 5, № 1). На ней заглавие: "Народный комиссариат по просвещению. Театральный отдел. Научно-теоретическая секция. Вольная Философская Академия. Высшее ученое и учебное учреждение": И текст: "Русская революция открывает перед Россией и перед всем миром новые широкие и всеобъемлющие перспективы культурного творчества. Впервые из единого Человечества делаются практические выводы. Мечта о соборном строительстве единого здания мировой культуры может наконец осуществиться в действительности и должна принять характер конкретной, организационной попытки. Этому делу хочет посвятить себя Вольная Философская Академия. Она связывает себя со словом Академия, в память о первых источниках европейской культуры, когда науки, искусства и общественность еще были связаны цельностью и законченностью античного мировоззрения.

Академия, видящая в свободе общения и преподавания ту естественную атмосферу всякого творчества, в которой только и могут зарождаться и развиваться существенные культурные начинания.

Академия, относящаяся к философии, как к той хранительни-

цс заветов единства, без которого нет ни Единого Человечества, ни единого Общечеловеческого Идеала.

Именно в этом смысле вся работа Академии должна протекать в духе философии и социализма. На этой почве Вольфила, Философская Академия, должна объединить деятелей разных областей культурного творчества и связать их с народными массами через посредство, по возможности, общедоступных лекций, семинарий, диспутов, выставок, театральных представлений, литературных собраний и т.п.

Важным пунктом в жизни Академии должен явиться тот строй отношений между членами Академии и ее слушателями, который преподавание превращает в сотрудничество между учителями и учениками, и при котором станет возможным, чтобы и учителя учились у учеников.

Открывается отдел Философии Культуры и искусств. Участие в ближайших работах будут принимать: Арс. Авраамов, Александр Блок, Андрей Белый. Р.Иванов-Разумник, Б.Кушнер, А.Луначарский, Е.Лундберг, Артур Лурье, Всев. Мейерхольд, К.Петров-Водкин, А.Штейнберг, К.Эрберг". (Блоковский сборник II. Тарту, 1982.

27 Радлов, Эрнест Львович (1854-1931), – русский философ, переводчик Платона, автор книги о Владимире Соловьеве и редактор сочинений и переписки Вл.Соловьева. Составитель разных философских пособий.

27 Иванов-Разумник (псевд. Иванова, Разумника Васильевича) (1878-1946) – автор знаменитой "Истории русской общественной мысли" (1907), друг Белого, Блока, Есенина, редактор сборников "Скифы" (1917-1918), сотрудник эсеровских газет, организатор издательства "Скифы" в Берлине, редактор первого Собрания сочинений Ал.Блока (1933). В период с 1921 по 1941 г. многократно арестовывался. В 1941 году вывезен немцами в Германию в лагерь Кониц (Пруссия). Там написал два тома мемуаров: "Тюрьмы и ссылки" (Нью-Йорк, 1953) и "Писательские судьбы" (Нью-Йорк, 1951).

31 "Наш путь" – журнал, выходивший под редакцией Иванова-Разумника в 1918-19 г.г. В нем Андрей Белый опубликовал "Весенние мысли", "Дневник чудака" и "Христос воскрес" (1918 - II). Иванов-Разумник пишет, что "Наш путь" и "Знамя труда" (эсеровская газета, литературный отдел которой он возглавлял) – были центром "скифского" движения, на которое одни смотрели как на политическую партию, а другие – как на собрание "прихвостней правительства".

31 Авраамов, Арсений Михайлович (1886-1944) – музыковед, фольклорист и композитор – один из организаторов "Пролеткульта".

32 Лурье Артур Сергеевич – композитор и музыковед. Эмигрировал сначала в Париж, потом в Америку. Одно из его сочинений – "Заклинания" – на текст "Поэмы без героя" Анны Ахматовой. См. журнал "Воздушные пути" 1961, 1963, 1965 и 1967 г.г.

36 В Записной книжке №60 Ал.Блок пишет: "16 февраля. Допрос у следователя Лемешова около 11-ти утра. Около 12-ти перевели в верхнюю камеру. День в камере. Ночь на одной койке с Штейн-

бергом". (Ал.Блок. "Записные книжки. 1901-1920". Москва, 1965, с. 414.).

37 См. Ал.Блок "Последние дни старого режима", "Былое" (1919) и "Последние дни императорской власти". Петербург. Алконост. 1921.

43 Иванов, Евгений Платонович (1884-1967) – археолог, драматург, сотрудник издательства Academia. В 1936 была опубликована его переписка с Блоком под редакцией И.Вольпе. В 1937 г. вышла его книга "Русский народный лубок". В 1982 г. посмертно вышла его книга "Красное крылатое слово". См. "Наше наследие", № 5, 1988 (статья и публикация З.Милютиной).

44 Алянский Самуил Миронович – владелец издательства "Алконост", автор воспоминаний о Блоке. См. С.Алянский. Встречи с Александром Блоком. Москва, 1969.

48 Кайзерлинг, Герман (1880-1946) – автор знаменитой книги "Дневник философа" (1928). Об этой книге см. дальше с. 77.

49 О "Челе Века", по Андрею Белому. См. "Котик Летаев" (1917) и "Записки чудака" (1922). "Я есмь Чело Века, – вот имя невиданной эпопеи, которую я мог бы создать". ("Дневник Писателя", "Записки Мечтателей", II-III, 1921).

52 В ту пору Белый пишет разные версии своей "Эпопеи", неосуществленного третьего тома трилогии "Запад и Восток", но главное – "Крещеный китаец", своего рода вариант "Котика Летаева" и "Дневник писателя".

52 См. Николай Бердяев: "Кризис искусства". Изд. Лемана и Сахарова. Москва, 1918.

54 См. "Памяти Александра Блока. Андрей Белый, Иванов-Разумник, А.З. Штейнберг". "Вольная философская Ассоциация", Петербург, 1922. /перепечатано в 1972 г. в Англии издательством Prideaux Press/.

55 Об истории записки Ал.Блока "Двенадцати" см. Жорж Нива: "Забытая заметка Блока". "Континент", №32, 1982. Записка была опубликована посмертно в "Путях революции" (Берлин, 1923).

58 Карсавин, Лев Платонович (1882-1952). См. Сергей Хоружий: "Лев Платонович Карсавин. "Литературная газета", 22 февраля 1989 г. Монография Карсавина "Джиордано Бруно" появилась в 1923 г. в Берлине (изд. Обелиск").

62 О "живой церкви" см. Анатолий Краснов-Левитин и Вадим Шавров, "Очерки по истории русской церковной смуты". Швейцария, 1978. 3 тома.

О Вениамине, митрополите Петроградском и его расстреле в 1922 г. см. Dimitry Pospielowsky. The Russian Church. New York. 1984.

65 См. А.Долинин, "Испове, Ставрогина". "Литературная Мысль", вып. 1, Москва, 1922.

69 О "сомнительности" Бертрана Рассела и Альберта Эйнштейна см. Максим Горький, "Гуманистам" в кн.: "Будем на страже". Москва, 1931.

70 Гордон в "Докторе Живаго" рассуждает о еврейском народе и его покорности идее "народа".

78 В 1929 г. Штейнберг опубликовал в петроградском издательстве "Колос" "Начало и конец истории в учении П.Л.Лаврова". В 1923 г. в Берлине он опубликовал "Систематическую антологию" Лаврова (изд. "Скифы").

81 Петров-Водкин, Козьма Сергеевич, (1878-1939). В 1915 г. журнал "Аполлон" посвятил ему отдельный номер (№3). В 1932 г. вышли его мемуары "Пространство Эвклида".

81 Имеются в виду два этюда Белого в сборнике "Символизм" (1910): "Опыт характеристики русского четырехстопного ямба" и "Сравнительная морфология ритма русских лириков в ямбическом диметре".

88 Дорнах – городок под Базелем, где Рудольф Штейнер основал в 1914 г. свой Johannistempel. О постройке храма и о жизни колонии учеников Штейнера в Дорнахе см. Андрей Белый, "Записки чудака", Берлин, 1922 и "Воспоминания о Штейнере", Париж, 1982.

91 См. Эйхенбаум, Борис, "Путь Пушкина к прозе" в кн. "Пушкинский сборник памяти профессора С.А.Венгерова. Пушкинист 4". Москва-Петроград, 1923. Статья вошла в книгу Эйхенбаума "Литература", Ленинград, 1926.

94 Лосский, Николай Онуфриевич, (1870-1965). Русский философ. В 1922 г. вышла его книга "Интуитивная философия Бергсона". Петроград, 1922.

95 "Быть Петербургу пусту" – слова царицы Авдотьи, первой жены Петра, насильственно постриженной в монахини. Уезжая, она прокляла город Петербург. Мережковский использует эту легенду в романе: "Петр и Алексей".

96 Мстиславский, Сергей Дмитриевич, (настоящая фамилия Масловский), 1876-1943. Этнолог, участник научных экспедиций в Средней Азии. Член партии С-Р. Автор нескольких романов, среди которых – "Крыша мира" (1925).

99 Тургенева, Анна Алексеевна (1890-1966) – "Ася" в мемуарах Андрея Белого. Художник, гравер, автор книги "Erinnerungen an Rudolf Steiner und die Arbeit am ersten Goetheanum." Stuttgart, 1972.

103 В неизданном дневнике Андрея Белого (Рукописный отдел Государственной библиотеки им. Ленина) записано: "1920. В Вольфиле состою членом совета и председателем Ассоциации. Здесь читаю лекции "Философия культуры", "Лев Толстой и йога", "Ветхий и Новый Завет". Прочитываю два курса лекций: "Культура мысли", "Антропософия, как путь самопознания". Читаю лекции в Дворце Искусств: 1) Антропология 2) Свет и тьма 3) Антропософия 4) Рудольф Штейнер 5) Иоанново Здание.

1921. Осенью умирает Блок. Читаю о Блоке в трех заседаниях (открытых) В.Ф.А. В 1-ом "Поэзия Блока", в двух других "Воспоминания" (стенограмма в Записках Мечтателей). Начинаю писать "Воспоминания о Блоке". Уезжаю в Москву хлопотать об отъезде. Здесь среди предотъездных хлопот принимаю участие в организации Московского Отдела В.Ф.А. (выбран его председателем,

как председатель "Вольфилы"). Читаю лекции при открытии подотдела: "Достоевский". Участвую в публичных заседаниях "Скифы" о Блоке. (Штейнберг, Иванов-Разумник, Мстиславский и др.) См. также John Malmstad. Andrej Belyj at home and abroad (1917-1923). Materials for a biography. «Europa Orientalis», 8, (1989).

109 Горнфельд, Аркадий Георгиевич (1867-1941) – знаменитый критик "Русского богатства", автор "Путей творчества" (1922) и "Боевых откликов на мирные темы" (1924). О его книге "Муки слова" (1927) см. стр. 140.

117 Евгений Замятин выехал за границу в 1932 г., умер в Париже в 1937 г.

117 Среди многих свидетельств о жизни Белого в Берлине см. Марина Цветаева, "Пленный дух" (1934), Нина Берберова, "Курсив мой" (1972), Александр Бахрах, "По памяти, по записям" (1980).

121 Кусиков, Александр Борисович (1896-1975) – поэт-имажинист, автор поэм "Коевангелиеран" (1920) и "Аль-Барак" (1922). С 20-ых г.г. жил в Париже. Публиковался в издательстве "Скифы" в Берлине.

123 Среди произведений Андрея Белого нет таких заглавий, как "Наваждение" или "Дурной сон". Однако есть много "наваждений" в творчестве Белого, и в особенности в трилогии "Москва", над которой он в ту пору уже начал работать.

133 Штейнберг, Исаак Захарович, – брат Аарона Штейнберга, автор книги "От февраля по октябрь 1917 г.". (Изд. "Скифы", Берлин, 122) и статьи "Дантоново и Робеспьерово начало в революции" (Сборник "Пути революции". Скифы. Берлин, 1923).

135 Эльяшев Израиль (Исидор), псевдоним: Баал-Махшовес. (1873-1924) – врач, популярный и влиятельный литературный критик на языке идиш и русском. Родился и умер в Ковно. Последние годы жизни жил в Германии. О его полемике с Горьким в 1916 г. см. Максим Горький "Из литературного наследия. Горький и еврейский вопрос" под ред. Михаила Агурского и Маргариты Шкловской. Изд. Еврейского университета в Иерусалиме. 1986, стр.230 и след.

144 Статья Штейнберга "О еврейском национальном характере" написана в 1922 г. Английский перевод включен в сборник: Aaron Steinberg. «History as Experience». New York, 1983. Статья «Das Individuum im alten und neuen Russland» опубликована в сб. «Die Biologie der Person.» Vol. IV, 1928, Berlin.

145 Статья Белого "Штемпелеванная калоша" появилась в "Весах" в 1909 г. (№ 9). Она вызвала много откликов. Среди них: О.Норвежский (псевд. Оскара Моисеевича Картожинского), "Андрей Белый без маски. Первый погром в литературе". "Раннее утро", 1909, 26 ноября. В этой статье Белый защищает "самобытность" русской культуры и считает, что "культуры Запада уже отравлены фабрикацией од"ой, всеобщей, прогрессивно-коммерческой культуры". "Проштемпелеванный интернационализм с пафосом провозглашается последним словом искусства морально шаткой и оторванной от почвы критикой". Этот "культуртрегерский эсперанто" порождает эклектизм. В музыке Мейербер заменяет Бетховена, в литературе Гоголь заменяется Шоломом Ашем... Идет

"юдаизация" культуры, а мы терроризированы этим "штемпелем" из-за страха быть опозоренным критикой. Надо с одной стороны дать евреям полное правовое равенство, с другой стороны "подчеркнуть", что они народ иной, чуждый задачам русской культуры". Статья подписана не Андреем Белым, а Борисом Бугаевым.

147 "Заветы". 1912-1914. Вышло восемь номеров.

149 Кони, Анатолий Федорович (1844-1927), – автор пятитомных мемуаров: "На жизненном пути". Тома 1-4. Ревель-Берлин, 1922-1923. Том 5, Ленинград, 1929.

155 Речь идет о статье Штейнберга "Искусство старое и новое" в сб. "Развитие и разложение в современном искусстве". Изд. "Алконост". Петербург, 1922.

158-160 О последних годах Гумилева и о его участии в монархическом заговоре адмирала Таганцева см. Вл. Ходасевич, "Некрополь". Брюссель, 1939; Георгий Иванов. "Петербургские зимы". 2-ое изд. Нью-Йорк, 1952; Ник. Оцуп, "Современники", Париж, 1961; Ирина Одоевцева. "На берегах Невы"; Вашингтон, б.д. и Москва, 1988. Сергей Маковский. "На Парнасе серебряного века", Мюнхен, 1962.

161 Речь идет о пьесе "Блоха" и о романе "Мы".

163 В ту пору Розанов написал книгу: "Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови" (1914).

166 Литвин С.К. (С.Е.Ефрон) – известный драматург и прозаик, выкрест, перешедший на позиции антисемитизма. Его пьеса "Сыны Израиля", написанная в соавторстве с В.Крыловым, была опубликована в 1899 г. в "Историческом Вестнике" и была представлена под новым заглавием – "Контрабандисты" в Малом Театре Суворина в Петербурге в 1900 г. Ефрон также известен своим сборником рассказов "Среди евреев" (1897).

173 См. П.Б.Струве. "Patriotica, политика, культура, религия, социализм". Петербург, 1911. Статья была первоначально опубликована в "Русской мысли", 1910, №11 под заглавием: "В.В.Розанов – большой писатель с органическим пороком". Как видно, Штейнберг путает даты, статья была написана задолго до дела Бейлиса.

183 Гершензон, Михаил Осипович (1869-1925) – историк литературы и культуры, автор "Грибоедовской Москвы" (1914), "Жизни В.С.Печерина" (1910), один из авторов сб. "Вехи" (1909), издатель Чаадаева, Киреевского и т.д.

185 Речь идет о романе Ольги Форш "Современники" (1926).

192 См. "Горький и советские писатели. Неизданная переписка". "Литературное наследство". Том 70, Москва, 1963.

197 "Добротолюбие" – перевод греческого слова "филокалия". Этот термин означает любовь к Божьей красоте и к красоте Божьего творчества. В 1782 г. в Венеции была опубликована антология текстов мистиков. В 1792 г. в Петербурге был опубликован старославянский перевод "Добротолюбия". Автор перевода – отец Паисий Величковский.

198 Речь идет о книге Карсавина "О началах". Изд. "Обелиск", Берлин, 1925. В июне 1925 г. Карсавин подарил только что вышедшую эту книгу Аарону Штейнбергу со следующей надписью: "До-

рогому Аарону Захаровичу в память о философических беседах в Берлине от искренно преданного автора. 1925.VI.4."

198 Ильин, Иван Александрович (1882-1954) – русский религиозный философ. Выслан из СССР в 1922 г. вместе с Бердяевым, Франком и др. Главные труды – "Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека" (1918) и "Аксиома религиозного опыта" (1953).

201 О "евразийстве" см. Georges Nivat: La «fenêtre sur l'Asie» ou les paradoxes de l'«affirmation eurasienne»». Россия/Russia, Vol. 6, Venezia, 1988.

206 ИМКА, «Young Men Christian Association» – американская протестантская организация. В 20-х г.г. она стала помогать русской эмиграции и в особенности Христианскому Православному Студенческому Движению.

208 Уна Санкта, «Una Sancta». Журнал, издававшийся в Шарлотенбурге с 1925 по 1927 г.

209 Книга Штейнберга "Система свободы Ф.М.Достоевского" вышла в 1927 г. в изд. "Скифы" в Берлине.

210 "Прикажут – завтра же буду акушером". Слова принадлежат драматургу Кукольнику. См. Салтыков-Щедрин "Господа ташкентцы". Введение.

213 Сувчинский, Петр Петрович (1892-1985), – музыковед, друг Стравинского, одно время "евразиец", автор многочисленных статей в разных евразийских публикациях. Редактор сборника "Musique russe; études réunies par Pierre Souvtchinsky», Vol. 1-2, Paris, 1953. Среди его евразийских статей заслуживают упоминания "Идеи и методы" ("Евразийский Временник", IV, Берлин, 1925), "Поворот к Востоку" ("Исход к Востоку", София, 1921 "Типы творчества. (Памяти Блока)" (сб. "На путях", Берлин, 1922); "Страсти и опасность" (сб. "Россия и латинство", Берлин, 1923).

213 См. Лев Карсавин, "Поэма о смерти", Каунас, 1932.

218 См. Иванов-Разумник. "О смысле жизни". (1910).

233 Terror antiquus – название знаменитой картины Л.Бакста. См. Вячеслав Иванов, "Древний ужас". "Золотое руно", 1909, IV.

236 "Красочки" – главка из книги Ремизова "Посолонь" (1907).

238 Ловцкий Герман Леопольдович (1871-1957). О Ловцких см. Н.Баранова-Шестова. "Жизнь Льва Шестова". 2 тома. Париж, 1983.

244 "Шекспир и его критик Брандес" – первая книга Шестова (1898). "Киркегаард и экзистенциальная философия" вышел в 1939 г.

249 "Афоризмы" Шестова вошли во вторую часть его книги "На весах Иова", а раньше публиковались в "Современных записках" (Париж, 1922) и в "Окне" (Париж, 1923). Часть их перепечатана в журнале "Наше наследие", №5, 1988 (публикация Евг. Барабанова).

259 "Ответ Л.П.Карсавину" Штейнберга был опубликован в журнале "Версты", №3, 1928.

260 См. Я.А.Бромберг, "Запад, Россия и еврейство. Опыт пересмотра еврейского вопроса". Прага. Изд. Евразийцев. 1931.

ОГЛАВЛЕНИЕ